



В.Я.Шишков

РАССКАЗЫ

В.Я. Шшков



РАССКАЗЫ



В.Я.Шишков



РАССКАЗЫ



Иллюстрации Н. Юдина

Москва «Советская Россия» 1982

Тексты печатаются по изданию: Вячеслав Шишков. Собрание сочинений в 8-ми томах. Т. 1, 2. М., Гослитиздат, 1960.

Оформление Б. Диодорова

Шишков В. Я.

Ш65 Рассказы/Сост., вступ. статья, примеч. В. Чалмаева; Ил. Н. Юдина.— М.: Сов. Россия, 1982.— 320 с.— (Сельская б-ка Нечерноземья).

Книгу известного советского писателя Вячеслава Яковлевича Шишкова (1873—1945), автора романов «Угрюм-река», «Емельян Пугачев», составили избранные рассказы начального периода его творчества, когда писателем был создан своеобразный цикл произведений о дореволюционной Сибири, а также некоторые «шутейные рассказы» писателя (первая половина 20-х гг.), в которых нашли отражение сложные социальные процессы, происходившие в стране в первые годы Советской власти.

Ш $\frac{4702010200-164}{M-105(03)82}$ 107—82

Р2

ДОСТОИНСТВО РАССКАЗА

Уж и как же ты, даль, на Руси далека!
Уж не будет ли жизнь для меня коротка!

С. Городецкий «Ярь» (1907)

...На одном из оживленнейших перекрестков знаменитого Чуйского тракта на Алтае, там, где капризная красавица Катунь нетерпеливо раздвинула горы, «перемолов» в россыпи камней-голышей левый, некогда скалистый берег, высится памятник одному из устроителей этого тракта (и многих других водных и шоссейных путей Сибири), замечательному русскому писателю Вячеславу Яковлевичу Шишкову (1873—1945).

В ряду головокружительных поворотов и подъемов этого тракта, выводящего Россию в глубины Азии, к плоским степям Монголии, к пескам Гоби, этот памятник возникает, особенно ночью, в свете фар неожиданно. И вместе с тем как-то естественно! Для шоферов, сутками находящихся в пути, цепенеющих за рулем, остановка у «Шишкова», — он работал здесь в 1913—1914 годы, — желанное место отдыха, кратких встреч, обмена информацией о каверзных перевалах, наледях, оползнях и обвалах. Памятник для них — нечто вроде пролога, гранитной «увертюры» к биографии и книгам любимого писателя.

Человек не всегда бывает похож на себя, он не всегда, как говорят, бывает «в фокусе». Я помню величавый памятник Шишкову на его родине в парке Бежецка: бронзовый мыслитель, сидящий в кресле, театрально подперев рукой вскинутую голову, одетый почти в профессорскую мантию, «стекающую» складками с плеч к ногам...

Но здесь на Чуйском тракте, среди гула машин, то и дело «распихивающих» на полотне дороги стада коров, пропыленных монгольских овец, длиннохвостых яков, в прибое жизни, бьющей в подножие памятника, Вячеслав Шишков, инженер-землепроходец и художник, удивительно естествен и похож на себя. Похож и на

чеховского земского врача, и на скромного русского инженера, одного из тех, кто в пять лет, без особого шума,— с 1891 по 1896 год,— построили «великую Сибирскую дорогу» длиной в 8 тысяч километров. Кажется, что на миг прервав резкий деловой разговор с рабочими — а в его партиях были каторжники и сахалинцы, кряжистые сибиряки-кержаки и алтайцы,— он, «инженер Томского округа путей сообщения», взглянул не восторженно, а чуть отрезанно на врезавшееся в горный массив полотно дороги... Взглянул и припомнил другие реки, дороги, морозы и полчища таежного гнуса. Резкие, глубокие борозды на суровом лице, опаленном дыханием якутских льдов, поземкой тундры, бронза сделала еще глубже. Но нечто теплое — благодарность ли Сибири, второй родине писателя, «подарившей» ему богатырские просторы, а может быть, инженерская гордость сделанным? — мелькнуло, застыло в глазах.

Похожим на самого себя делает «этого Шишкова» и необычайно синяя Катунь, что не просто течет, а словно фантастическая «угрюм-река» чешет гриву о скалы, кипит на «шиверах» — плоских подводных грядах, лишь прикрытых водой, страшных для сплавщиков. Творит образ Шишкова и Алтай, грозный «Хан-Алтай», чьи хребты, покрытые дремучими кедровниками, не пугая, а, скорее, завораживая воображение, бегут, причудливо громясь друг на друга, к Телецкому озеру, к Бийску, к негромкому селу Сростки, родине другого большого писателя В. М. Шукшина.

Здесь, среди склонов гор любимого Алтая, на которых весной всныхивают розовые букеты маральника и синие огоньки ириса, среди вснышек радуги в голубоватой водяной пыли Катунь, Шишков, создатель целой галереи ярких человеческих портретов, никогда не бывает одинок...

* * *

История появления в Сибири, на могучих ее реках, неторопливого, крепко скроенного тверича — Вячеслав Шишков родился в 1873 году в Бежецке — и начало его творческого пути как новеллиста действительно необычны.

Отец писателя Яков Дмитриевич Шишков, владелец лавки с «красным» товаром, зять бежецкого купца, страстный любитель оперного пения, по прихоти, а еще более из-за неудач своих на поприще торговли пустил любимого «Вестеньку» (так звали Вячеслава Шишкова в семье) не по торговой, а по инженерной части. В 1888 году Вячеслав поступил в Вышневолоцкое училище кондукторов путей сообщения. Окончив его, он обрел редкую специ-

альность — устроителя водных путей, грунтовых и шоссейных дорог. И в девятнадцать лет покинул родное гнездо. Несколько лет работал в Новгородской (на реке Мсте) и Вологодской губерниях, где строил плотины, составлял карты водных путей.

Пинега, Вычегда, Северная Двина, Сухона, каналы на Шексне и в Вышнем Волочке, знавшие еще державную руку великого Петра, — таковы первые маршруты плаваний молодого Шишкова. И это был немалый простор, освоенный в те времена довольно слабо. Краем непуганых птиц назвал Карелию начала XX века М. М. Пришвин.

И вот даже этого простора, этих далей юноше Шишкову показалось мало! Какой-то душевный вихрь подхватил его, вырвал из европейской «тесноты» и бросил на «бегучие воды» Сибири, как называли реки землепроходцы.

Такие решения небанальны, «яблочко» тут слишком далеко откатывается от родительской «яблони», и родные проводили Вестеньку из Бежецка в путь со слезами и недоумением. А истоки этого неожиданного решения — и в сказках бабушки Елизаветы Даниловны из села Шишкова Дубрава, населившей мир детской души ожиданиями встреч с «некоторыми царствами и государствами», и с тем, «что за тридевять земель», «за горами, за долами»... И уж, конечно, в песнях, которые так любил петь, вслед за отцом, и собирать — особенно песни старинные, проголосные! — будущий писатель. Он не любил лишь «сорочью пестроту» частушек... «Еще доселе загадка — этот необъяснимый разгул, который слышится в наших песнях, несется куды-то мимо жизни и самой песни, как бы сгораемый желанием лучшей отчизны, по которой тоскует со дня создания своего человек» — эти строки Н. В. Гоголя, удивительно прозорливые, звучат как самая точная характеристика очень существенной стороны жизнеощущений и самого Шишкова, человека и художника, и его героев, прежде всего героев новелл.

«Куды-то мимо жизни», к лучшей отчизне, к «колдовскому цветку» и к сказочным «алым сугробам» Алтая, к волшебнице-шаманке Сливильге, как Прохор Громов, будут, забывая о смертельных опасностях труда на реках и в тайге, в тундре и в горах, стремиться его герои. И не скоро удастся насытить впечатлениями эту «метафизическую» жажду, это жадное око! Вероятно, эти особые состояния — источник их в характере писателя — обусловили и невероятный в писательских биографиях факт: только проработав в Сибири 17 лет — с 1894 по 1911 год — Вячеслав Шишков, буквально «переполненный» впечатлениями, сюжетами судеб, решился, наконец, создать первые новеллы...

Перенесемся мысленно в последний декабрьский вечер 1911 го-

да в бревенчатый двухэтажный дом по улице Акимовской старого Томска, в дом, кажется, застывший в сугробах. Здесь как будто забыли о встрече Нового года. Высокий человек в валенках с обветренным и буквально обожженным морозами лицом, с темной короткой мужицкой бородой, «сходящейся» на щеках с густыми усами, в непривычном волнении дописывает письмо за столом, отодвинув в сторону какие-то рукописи. Он не торопится поставить точку, то и дело подолгу задумывается, что-то припоминая, многое, видимо, взвешивая...

Он исследовал пороги Оби и Енисея, ездил в Якутию, чтобы изучить и укрепить берега могучей Лены, объехал, изучая их «характер», Бию и Чулым. Совсем недавно, в сентябре 1911 года, экспедиция его, Шишкова, на Лене и Нижней Тунгуске едва не закончилась гибелью всех изыскателей в ледовом плену тундры за тысячу верст от жилья! Сотни человеческих характеров он узнал в таких ситуациях, которые раскрывали в психологическом плане, кажется, «последнее уловимое» в человеке.

И все же, вкладывая в конверт рукописи двух рассказов, не решаясь еще изменить привычному делу, тридцативосьмилетний инженер с трепетом и надеждой пишет далекому и лично неизвестному «Алексею Максимовичу»: «Ежели признаете за ними некоторые положительные качества,—помогите мне всплыть на божий свет. Лет семь я пишу, но держу написанное у себя—все думаю, что еще не выросли крылья... Много шатался по тайге, сталкивался с народом. Нонче в экспедиции на р. Нижнюю Тунгуску едва не погиб. Написал бы подробно, но не смею утруждать...»

* * *

Обращение Вячеслава Шишкова к Горькому было, конечно, не случайным.

В Горьком — романтике, художнике, провозгласившем, что «Человек — это великолепно! Это звучит гордо!», Шишкова привлекал призыв к преодолению тусклой, тяжелой и жестокой действительности силой мечты, дерзостью вызова. Дар мечты — дар непокорства. И способность увлечь мечтой, высоким уровнем ожидания для Шишкова — истинное человеколюбие.

Следует сказать, что Шишков всегда смущался, когда его хвалили за мастерство бытописателя, за знание быта.

Вячеслав Шишков не был, в сущности, бытописателем — при всем глубочайшем знании всех сторон быта, редком даре слышать разговоры жизни, звучащие именно в быту. Величайшее свое творение «Угрюм-реку» он назовет «романом страстей, положенных на

бумагу». И не случайно всю жизнь его увлекали, например, трагедии Шекспира. Вероятно, именно преодолением быта, тем, что бурные страсти, драматичнейшие конфликты, вихри мучительных сомнений и тревог, в которые ввергнуты и Гамлет, и король Лир, и Отелло, сконцентрировались, а «не растеклись» в шекспировских трагедиях, как выражался Шишков, «мокрым пятном повседневного быта». И о рассказах-новеллах его можно сказать, что это новеллы страстей, положенных на бумагу, страстей, преодолевающих, часто разбивающих оковы обстоятельств, застойного быта, условностей.

...Среди тех двух рассказов, что в этот декабрьский вечер 1911 года Вячеслав Шишков послал А. М. Горькому, был замечательный рассказ «Ванька Хлюст», раскрывающий муки и протест простого человека в буржуазном мире, пропитанном вирусом бездушия и фальши. «Или всех грызи — или лежи в грязи», — говорил горьковский Яков Маякин («Фома Гордеев»), воспитывая в Фоме Гордееве «должную» — необходимую для дела — агрессивность, волчью хватку. Этому же — скорейшему усвоению морали хищника — учит шишковского героя окружающая его действительность. Но Ванька Хлюст не может усвоить эту мораль, в его душу словно «положен» некий волшебный состав труженической морали, возвращающий его к человечности, доброте. Что-то особое «дано» всем шишковским бродягам, «таежным волкам». Они ждут, надеются, мечтают о счастье, об идеально построенной жизни, и это сообщает высоту их нравственным запросам, выводит их к вечным думам о добре и зле, честности и бесчестии. И никакие соблазны легкого успеха, счастья хищника не могут истребить эту высшую духовную материю, испепелить мечту, жажду найти райское «Беловодье», вольную страну, на поиски которой двинулись в другом шишковском рассказе «Алые сугробы» два крестьянина.

Все истинно, все законно, казалось бы, для такого «последыша» судьбы, оборванца-калеки, как ямщик Ванька Хлюст, фактически ограбленного и людьми и богом. Но он ищет все-таки на земле жизнь на свой лад честную, совестливую, пристойную! И плачет Ванька Хлюст, срыгается в слезах благодарности, встретив первое теплое слово, даже просто выдуманное сочувствие к себе. Почему же, доискивается он, добро столь сиротливо, беззащитно в мире? Неужели весь мир — за исключением этой займки деда Григория — во зле лежит?

Ванька Хлюст с повышенной остротой, не утихающим протестом не терпит этой внезапно возникшей, как ему кажется, бессовестности жизни. Он готов разувериться в самом боге, если тот допустит такой строй жизни как нормальный. Как будто блоков-

ский вопрос на своем языке повторяет он у дымного таежного костра:

...Разве дом этот — дом в самом деле?
Разве так повелось меж людьми?

С каким-то жутким упоением сочинил он свой рассказ о якобы им, Ванькой, подстроенной гибели Дуняшки, любимой им девушки. Сочинил так искусно, что в слезы вогнал выдавшего виды собеседника, деда Григория.

Но дед все-таки верит в чистоту Ванькиной души, он понимает, что бродяга казнит себя, грязнит себя, чтобы сделаться нравственно мельче, т. е. стать хотя бы внешне похожим на остальной мир. Тогда и ему, «огрязненному», легче принять неправду мира.

«Дед кряхтит, ворочается с боку на бок:

— Ты... не убивец, Ванька... Я чую это... И пошто ты, например, таку неправду на себя примал?

Ванька Хлюст точно тьму рубит:

— Душа требует».

Для Вячеслава Шишкова новелла — малый отрывок пути, кусочек спирали в вихревом движении человеческой жизни, ситуация, в которой оказываются сконцентрированными самые искренние и главные стремления человека. Такими мгновениями — и об этом догадывался Шишков — вероятно, не измерить жизнь в длину, «по горизонтали». Но быструю эволюцию сознания, его пики высоты, незримые часто душевные движения они освещают порой с поразительной четкостью.

Рассказ «Краля» — первоначально он назывался «Авдокея Ивановна» — поражает сжатостью, «перевитостью» нитей нескольких человеческих жизней. Здесь «играется» шекспировская драма «на аршине пространства» (Достоевский). Как будто несколько музыкальных тем ожили, пробудились из хаоса и дисгармонии жизни и зазвучали в стенах заурядной земской избы, где остановились на ночлег доктор Шер, купец Аршинин, урядник, где царствует, даже будучи униженной, оскорбленной, солдатка Авдокея Ивановна, «краля».

Купец Аршинин — один из первых в галерее портретов сибирского купечества, предшественник Громовых в «Угрюм-реке» — детина с масляными глазами, «с большебородым ликом», способен лишь к «гастрономическому» обожанию красоты. «Ох, наваждение, — восклицает он при виде Авдокеи Ивановны. — Она-те оплетет, как пить даст... А умная, стерва: где пообедает, туда и ужинать идет». Красота как духовная сторона материи, как своеобразное преодоление глухоты и безгласности быта, как не-

беспное начало среди суетных «детей ничтожных мира» ему неведома.

Красота Дуни сродни демонической силе тайги, рек, всей природы в повеллах Вячеслава Шишкова. Красота, как и «тайга», «пурга» (названия повестей писателя), — нечто всевластное, роковое, неподсудное человеку, бессильному существу единого дня. В любви нет равенства для шишковских героев. Они не знают любви «доброй» — она всегда мучительна для одной стороны, а часто и для обеих. Красота, чаще всего «разбойная краса» (Блок), не боится этой мучительной борьбы, поединков, но она... вянет, столкнувшись с бесхарактерностью, душевной мелкостью, уклончивостью! Нет, не удалось Дуне победить людское малодушие силой страстного чувства. Слишком маленькие, слишком серые людишки с «коротенькими» влечениями ходят рядом с Красотой, они, в сущности, боятся ее пламени, ее неземного величия. И это о тоске Дуни говорит открывающая рассказ картина осени. Журавли улетают в страны, где «солнце еще не состарилось», их провожает тоскующий человеческий взгляд:

«И загрустит человек, что нет у него крыльев».

Грустят, ропщут, грозят безликой стихии бездушия, стяжательства и Ванька Хлюст, и Дуня, и Николка в «Золотой беде». Но все чаще, правда, ненадолго, они приходят к мысли: чтобы уцелеть в этом жестоком мире, неестественном, чуждом природе и ее законам, человек должен поставить себя в какие-то незыблемые рамки. Что-то надо подавить в себе, что-то спрятать, от чего-то, особенно тревожного, отойти подальше, скажем, в сердцевину тайги, к озерам «горных духов».

В сущности, так и поступает герой рассказа «Таежный волк» Бакланов, кажущийся самому автору «одухотворенной скалой». Он верует в «таежную правду», которая превышает всех небес. Эта вера неотделима от суеверий, от предчувствий, от особой, не обидной покорности природе. «Нет, дружок, тайга все планы человечьи может перепутать, с толку сбить. Идешь в тайгу — помалкивай в тряпочку; только звериный нюх имей да сам зверем притворись, забудь, что ты есть человек, а зверь и зверь, только по-лесному умный, в сто раз умнее человека», — говорит Бакланов своему собеседнику. У человека в тайге еще не нарушено равновесие душевных сил, здесь даже мрак и тишина не пугают его. Реальная жизнь, буржуазный мир, который действует на темные инстинкты, кипящие в человеческих душах, инстинкты соперничества, стяжательства, честолюбия, здесь как бы отступает перед врачующим простором лесов, величием рек, мудрой жизнью зверей.

Возвышенный строй души Якова Бакланова, особую идеаль-

ность его дум и жизнеощущений Вяч. Шишков показывает как результат его долгих исканий, итог многих жизненных испытаний. Найти реальный путь для изгнания из мира неправды, подлости, угнетения такие люди часто не могут. Но и принять буржуазный мир как единственно возможный они не хотят. И вот рождается в их сознании эта своя — естественно, очень наивная, доморощенная — «правда». «Таежный волк» Бакланов повторяет с пылом философа: «Умишком жить — носом по земле елозить, хвостом звериным к правде. Умом жить — на корячки встать, мордой человеческой к правде... Людская правда — круг на оси крутится, как колесо. Идет колесо — хватай! А через сто лет другую правду схватишь; а та правда, старая, уж кривдой будет... Все на свете крутится, все на свете повторяется: из жизни смерть, из смерти жизнь. А настоящая-то, не межеумочная, не сегодняшняя правда не на колесе скользящем, а на оси незыблемой».

Конечно, эта программа «таежных людей», их стихийная натурфилософия не могли объяснить слишком многого в мире. Но они бежали от «межеумочной» правды, т. е. правды буржуазного, мещанского мира, они искали незыблемую ось, истину, в полной мере соответствующую их нравственному богатству! И это было предчувствием, вернее, жаждой социальных перемен. Тот же Бакланов, Ванька Хлюст, герой рассказа «Колдовской цветок» протестуют против того, чтобы ценность людей определялась условными и временными критериями, деньгами или минутным преклономением лакеев.

* * *

Позднее в своей «Автобиографии» Вячеслав Шишков скажет о призвании писателя:

«Писатель обязан... указывать народу на вершины человеческой жизни или давать жизнь для контраста в отрицательных ее чертах, в провалищах, ограждая бездну горящими маяками».

Такими «провалищами», безднами, где сгорала, умирала человечность, в его рассказах был мир торгашества, купеческой суеты. ...А «горящими маяками», ограждавшими бездны, были чаще всего величественные миры тайги, алтайских гор, скрывавших сказочную страну Беловодье.

Истоки этого деления жизни на «полюсы» добра и зла любопытны... Рассказы «Таежный волк», «Чуйские были», «Колдовской цветок», как и самый ранний — аллегорический рассказ «Кедр», посвященный патриоту Сибири Г. Н. Потанину, бесспорно, отразили

в своем художественном строе, в пафосе обожествления природы, ее тайн и загадок некоторые идеи ближайшего, «томского» окружения писателя¹.

В сибирских газетах тех лет подобная идеализация таежной Сибири как оазиса безбуржуазных, «естественных» отношений была нередкой и часто куда более прямой. На все лады звучали «объяснения» основ «сибирского характера», связанного якобы только с природой, с ее стихийной жизнью, управляемой какими-то роковыми, загадочными силами.

Замечательной победой реализма Вячеслава Шишкова явилось преодоление мелкобуржуазных иллюзий особого пути Сибири, соблазнов идеализации «сибирского характера» на областнический лад.

В 1912—1914 годы, к моменту создания первых рассказов, очерков, сказок Вячеслава Шишкова в русском обществе вновь воцарилось ожидание огромных свершений, казалось, уже нависших над империей, ожидание сдвигов, равных великому обновлению всей жизни. Вновь приходили в движение силы и воля пролетариата, вновь мечты о земле оживали в сознании крестьянства. «Слышу ваш топот чугунный...» — говорил об этих силах Брюсов. Повседневность, быт неуклонно наполнялись гулом близких и неотвратимых перемен, музыкой новой революции.

Подобно очеркам Горького, составившим знаменитый цикл «По Руси», ранние рассказы Вяч. Шишкова, включая повесть «Тайга», как бы образуют особый цикл — «По Сибири»... И поистине горьковское богатство и колоритность человеческой панорамы составляет душу этой серии новелл. Тут и каторжник Иван Безродных («Каторжник»), ушедший в тайгу от людей, и «самоходы» Афоня и Степан, отыскивающие богатые земли для своей деревни («Алые сугробы»), и тунгус Сенкича, носящий в бездорожной тайге «тайное чутье путей в самом себе» («Холодный край»), и окрещенный алтаец шаман Чалбак, вернувшийся к языческой вере («Страшный кам»).

Величественные характеры будущей «Угрюм-реки» словно

¹ В этом окружении огромную роль играли, кроме писателя-этнографа Г. Н. Потанина, также социолог Н. М. Ядринцев, автор монументальной книги «Сибирь как колония» (1882), своеобразного манифеста сибирского областничества, исследователь и поэт П. Л. Драверт, поэты и прозаики Г. А. Вяткин, Г. Д. Гребенщиков. Не отрицая классового расслоения, социальных язв сибирской деревни, видя Сибирь страной резких контрастов, теоретики областничества одновременно писали о «солидарности интересов всего населения Сибири» (Н. М. Ядринцев), нередко идеализировали крестьянскую общину. Они не одобряли... даже строительства Транссибирской магистрали, закрепляющей якобы за Сибирью роль придатка Центральной России! Программу и тактику областничества сформулировал еще в 1861 году А. П. Шапов: «Пора провинциям вставать, / Окопы, цепи вековые / Централизации свергать, / Сзывать советы областные...»

(История Сибири с древнейших времен до наших дней. В 5-ти т. Т. III. Сибирь в эпоху капитализма. Л., Наука, 1968, с. 137, 169).

предвещали и угрюмоватый бродяга Оглашенный, вдохновенно играющий роль судьи перед ошеломленными тунгусами («Суд скорый»), и обманщик-купчина Неправедный, о котором говорят, что «он крест сбросил, а совесть-то пяткой придавил» («Чуйские были»). С глубокой симпатией рисует Вячеслав Шишков и образы якутов, тунгусов, наивных еще пленников природы, брошенных в жернова торгашеских отношений, «золотой беды».

Все это богатство характеров живет у Вячеслава Шишкова в «оболочке» удивительно самобытного стиля.

Лирико-романтическая окрыленность, изобилующая вспышками мимолетных настроений, спадами и взлетами, бытовой фон, необычно сочный и яркий, в сущности равноправный с героями, с сюжетом, расширение образа «тайги» или «пурги» до роли символа, до выражения некоего смерча, стихии, бушующей в мире, — все это есть в прозе Шишкова. «Далеко стегнула по Алтаю Чуя, священная река!.. Бурлит по крутому склону, вся седая, вся косматая, яро камни точит, грозит своим гневом человеку. Стой, Чуя, стой!.. Гляди — восход стал розовым... День идет, день идет, ночь кончилась... Еще немного — и твои волны запоют иные песни и будут сказывать новые были, светлые и радостные» — таков характерный образец словесной живописи Вяч. Шишкова (рассказ «Чуйские были»).

И примечательно: прозы Вячеслава Шишкова, неизменно предметной, полной естественных тревог и радостей, не коснулась мода тех лет на декадентское «распыление» действительности, превращение явлений в призраки, проецирование любого явления на некий неосязаемый «экран» запредельного, условного бытия. Одухотворена, неоднородна его Бия («На Бие»), она в крутом ущелье «бросилась на каменную грудь и, ударившись, рассыпалась белой пеной, захохотала, заискрилась под лучами солнца»... Но это не условность, не обессиленный призрак реки, как и утес, что «улыбается добродушно многочисленными очами пещер и вымоин», — это частица мира, как будто пробующего «заговорить» с человеком на своем сложном языке.

И не только заговорить. В рассказах и повестях Вячеслава Шишкова мы видим, как стихийные силы природы или человеческой души, «вихри», изменяют судьбы героев, властно вмешиваются в сюжет, в общий эмоциональный или идейный пафос произведений.

Вот два крестьянина, Афоня, мечтатель, поэт, и Степан Недокрытов, охотник, снаряженные малоземельным «обществом» для поисков сказочного, богатого даровой землей Беловодья, попадают на Алтай («Алые сугробы»). Этот край — царство такой красоты, что все конечные практические цели их похода уходят вдаль,

уступают место жизни возвышенной, думам, предельно поэтичным. Они видят водопад, «падучую воду», которая «дробилась» в облачную пыль, пыль взлетала туманными крыльями. Здесь птицы, как крылатые призраки: «вот один, вот другой крылатый призрак отделяются, тихо плывут под легким ветром, протягивают к путникам седые ласковые руки»... «Призраки», «руки», «крылья», «белоснежные видения» — как свободно и плавно Шишков выводит помыслы героев из мира земных забот в мир сказки, поэзии! Кажется, что все муки в горах, в алтайских «белках», голод, лишения на каменистых тропах эта лапотная Русь претерпевает ради красоты, ради какой-то великой мечты! Словно какая-то сила все время вырывает их из привычного мира, изгоняет старый быт и заставляет жить «чистой» поэзией, силой товарищества, возвышенной любви. Степан Недокрытов в начале похода раздражен практической немощью дружка. Афоня же, певческая натура, увидев «белки», восхищенно смотрит на эти алые снега, как на свою ожившую во плоти мечту, вознесенную к облакам: «Все гуще алели снежные вершины, все голубей становились сугробы на обрывах и кручах, в ребристых же гранях снег до боли глаз блестел расплавленным стеклом.

Афоня сложил молитвенно руки и шептал, умиляясь:

— Господи, господи, снег-то какой... красный... Так бы и погулял там.

— Может, там смерть наша сидит, — сурово сказал Степан, разжигая костер.

Следует отметить, что с приближением революции это бушевание вихрей, смерчей в повестях и рассказах приобретает все более точный социальный смысл. Вяч. Шишков, с упоением рисуя мятущуюся душу народа, все активнее выступает против идеализации патриархальщины. Да, зеленая тьма тайги то укрывает «таежных волков» от бездушного, лежащего в зле мира, то расступается под напором капитализма. Но сколько преступного, злого раскрывается и в этом идиллическом якобы царстве! Как искажены прекрасные души трудовых людей таежным же изуверством и темнотой! Нет, вовсе не идиллический «сибиряк» — как пробовали уверить Вяч. Шишкова публицисты народнического плана — является из недр тайги, а часто целая масса людей, зараженная вирусом ожесточения в какой-то наивной, но не менее страшной форме.

Повесть «Тайга» (1916) передает это напряженное, полное изумления и негодования отношение Шишкова к миру патриархальной деревни. В повести исследованы сложные социальные контрасты эпохи, раскрыт крах идеалистических взглядов на врачующую, якобы исцеляющую от всякого раздражения силу природы, силу молитвы, силу проповеди смирения,

Таежная деревушка Кедровка окружена глухими лесами, она вся живет на иждивении у природы, прикована к ее взыскательной опеке. Голод, бескормица взрывают прежде тихую жизнь, толкают мужиков на неожиданно жестокие поступки. «Из тайги, из болот, падей, вместе с туманом неслышно, по-змеиному, ползет зло, туманит головы, ложится псом у порогов. И от двора к двору натягивались тогда какие-то невидимые дьявольские нити».

Нити, зло, ползущее по-змеиному... Мысль Шишкова о жизни, о ее скрытых и явных драмах всегда облечена в сложную поэтическую форму. Без сказки правды в мире не бывает, без символа нет конкретности, без лирического домысла суха и неполна правда любого документа — этот художественный принцип надо постоянно учитывать, вникая в строй чувств и мыслей писателя.

В этой повести, завершившей «томский период» творческого пути Шишкова, уже видны черты будущего замечательного романиста. В ней есть более глубокое раскрытие социальной сути тех «смерчей», что толкают людей и на разгул и на мрачные преступления. Писатель как бы отыскивает четкий социологический эквивалент разного рода темным силам. Преступление, грех, кара, совесть — все наполняется реальным конкретно-историческим содержанием.

* * *

В 1915 году Вячеслав Шишков простился с Томском и переехал на работу в Петербург. Он «открывает» для себя величественный «град Петров», его дворцы и площади, Царское Село и Петергоф, — они оживут впоследствии в историческом романе «Емельян Пугачев» (1936—1945). Среди литературных друзей Вячеслава Шишкова этих — и последующих — лет петербургской жизни — М. М. Пришвин, А. М. Ремизов, Е. Н. Замятин, А. Н. Толстой и, конечно, А. М. Горький. Началась полоса интереснейшего духовного развития, совершенствования мастерства, всестороннего познания эпохи.

Уже в письме к Г. Н. Потанину в июле 1915 года Шишков с горечью пишет о том духовном тупике, в который завели Россию царизм и идеалистические песнопения «квасных» патриотов: «Обидно за Россию, стыдно. Но мы, к сожалению, и возмущаться как следует не умеем, не научены негодовать открыто, смело, нет у нас в руках молота, которым можно дробить и созидать...»

Мечты о рождении энергии, о социальной и патриотической активности, преобразующей мир, звучат и в письмах к В. И. Анучину, к А. М. Горькому и, наконец, в книге «Подножие башни»,

отражающей всю радость писателя в связи с падением царизма. «Достойный взять камень и положить его на крепком цементе в основание — бери и клади! Нерадивый, не мешай строить!» — писал в это время Шишков.

Творить, строить, дерзать... Октябрьская революция, открывшая перспективу исторического творчества масс, сыграла огромную роль в творческом развитии писателя. «Я почувствовал и осознал себя полнокровным членом и работником нового, молодого советского общества, — писал Шишков в «Автобиографии» (1943). — С большим волнением всматриваясь в небывалые события народной жизни, я работал с особым рвением». Вяч. Шишков пристально следил в 1918—1928 годы за социальным поведением крестьянства, и именно он одним из первых увидел, как грандиозны задачи Октября, как велик подвиг ленинской партии, взявшей на свои плечи дело преобразования былой мужицкой России.

В повестях «Ватага» (1923), «Пейпус-озеро» (1924), в большом цикле так называемых «шутейных рассказов» Вяч. Шишков отразил колебания, приливы и отливы этого «море-окияна» народной жизни в его стихийном бурлении и шуме. Многие силы, действовавшие на арене истории, определявшие ход событий, остались ему недостаточно ясными, хотя в ряде произведений вроде «Свежего ветра» (1922) он показывает и колоритные фигуры большевиков. Главная ценность книг Вяч. Шишкова 1918—1928 годов — в развенчивании идей патриархальщины и анархии (повесть «Ватага»), идей лжепатриотизма (повесть «Пейпус-озеро»).

В повести «Пейпус-озеро» Вячеслав Шишков одним из первых обращается к трагедии людей, в силу исторического заблуждения, слепоты оторванных от родины. Вместе с армией Юденича в Эстонию оказались заброшенными различные люди — и милые русские мешаночки, разлученные с теплым уютом родных среднерусских городков, и отчаявшийся поручик Баранов, похожий на лермонтовского Печорина, и откровенный подлец Белявский, и толпы крестьян в солдатских шинелях... Чем вооружены духовно даже лучшие представители этой пестрой массы? Самый талантливый из офицеров наставник главного героя Николая Реброва, поручик Баранов, живет среди фальшивых декораций, не замечая, что их давно распатало, отбросило время. С одной стороны, он надеется, что не приживется новое в России. Но, с другой стороны, именно он, Баранов, советует Николаю бежать через лед Пейпус-озера в Советскую Россию. Сам он, не найдя согласия с новым миром, пишет в предсмертном письме своему юному другу: «...я вижу: введение в историю закончилось, хаос людских взаимоотношений сгущается в два неравных противоборствующих ядра, человечество обмакнуло перо в кровавые чернила и караку-

лями начинает писать первые слова новой своей истории. Пройдет положенное время, наука и людская совесть по-настоящему расправят свои крылья, каракули выровняются, встанут четкими рядами...».

Вячеслав Шишков часто ездит в 20-е годы в родные места, путешествует по деревням Костромской, Новгородской губерний. «Из хаоса, тумана постепенно рождаются радующие сердце факты нового строительства, внутреннего и внешнего», — пишет Шишков А. М. Горькому 17 ноября 1925 года. Об этом он рассказал в книге очерков «С котомкой» (1922), одной из первых книг оперативной публицистики в советской прозе. В эти годы словно «открылся» в писателе еще один животворный источник, «воды» которого влились и в будущие эпические полотна Вяч. Шишкова. Сила, нежность, романтическая любовь к природе, удаль, суровая справедливость, смыкающаяся с аскетизмом, — все есть в русской душе героев Вяч. Шишкова. Но эти сокровища выглядели бы как алмазы в пещере, в колодезном полумраке, таинственно и смутно, если бы их не освещал в произведениях Шишкова «звонкий» свет юмора, улыбки. Юмор у Шишкова — это всегда или некий «фонарик», или «искра», освещающая смысл и красоту слова, любого психологического состояния. Его смех можно назвать «освобождающим», он рожден жизнерадостным состоянием человека. Это смеется сама жизнь! Смешны и мерзавцы, и трагические герои, и богатыри, и даже красавицы вроде Анфисы в «Угрюм-реке». В 1925 году, в самый разгар создания «шутейных рассказов», Шишков писал Горькому: «Вообще же — тем литературных и житейского мяса у меня много в запасе, писать бы да писать, но мешает русская леница. А все-таки пишу. И смешное, и соленое. Тянет на смешное, чтоб весело было читать, и чтоб в душе получался осадок».

Смысл огромного количества «шутейных» рассказов, созданных в 1923—1926 годы, таких, как «Шерлок Холмс — Иван Пушков», «Бабка», «Развод», «Крестики», «Валтасар», «Ефekt», как раз можно определить этими словами «и смешное, и соленое»... Именно эти стороны, как и М. М. Зощенко, он выделял в быту, в обиходе нэповской деревни, города, раскрывая комический конфликт патриархальной косности и нового, не заслоняя, конечно, главного пафоса исторических сдвигов.

Все оттенки, все сверканье народного юмора Вяч. Шишкова передает, например, рассказ «Спектакль в селе Огрызове». Писатель использует один прием: он сталкивает деревенскую «коспость», дремучесть тех лет и смелые, но тоже пока «косноязычные» по форме порывы к культуре нового человека деревни — бывшего красноармейца Павла Мохова.

Спектакль в селе Огрызове с сердцещипательным страданием пролетарки Аннушки с дитем, брошенной буржуем (бабы из зала простодушно советуют «актрисе» с куклой покормить ребенка, «не томить» его), усердие Павла, придающего всему видимость полного театра,— все это под пером мастера предстает как стихия подлинной народной жизни, стихия смеха, незлобивых страстей. Дядя Павла, Федотыч, использованный им в роли суфлера, в самый разгар торжества, когда все «чтут» Павла, вдруг ударяет племянника по затылку: «Я те дам, как дядю за грудки брать!» И это совершенно в духе всех «шутейных» рассказов Вяч. Шишкова: все, что было грубым, страшным в былой мужицкой жизни, в этих рассказах стало, как под пером волшебника, «теплым», домашним, смешным, незлобивым. Писатель не изобличает, он с помощью юмора «расшивает» единый ковер жизни. Смех помогает высветить «колодезную» глубину народного сердца.

Шишков почувствовал, что и в данном случае надо было остаться новеллистом. Смешное, дисгармоничное, противоречивое сочетание старого и нового как раз лучше всего передавал именно «шутейный» рассказ. Он «сценичен», в нем много жестов, дела и поступки людей непоследовательны, прерывисты, но в этой-то гибкости и послушности рассказа воле художника, воле жизни и состоит его неназойливое достоинство.

* * *

С Ленинградом связаны были многие годы жизни и творческого труда Вячеслава Шишкова. Здесь создана была «Угрюм-река» (1932), начата работа над историческим романом «Емельян Пугачев». Отсюда он совершил важные для него поездки на Север, в Кандалакшу (вместе с А. Толстым), в Москву на I съезд писателей СССР, где в последний раз встретился с А. М. Горьким. В Пушкине за письменным столом, на котором лежала рукопись второго тома «Пугачева», застала его Великая Отечественная война.

В осажденном Ленинграде Вячеслав Шишков — ему было около 70 лет — выступал с патриотическими статьями и рассказами в газете «На страже Родины», читал их по радио и в воинских частях. Непреклонной верой в победу исполнены такие рассказы, как «Гордая фамилия», «Дед Андрей», «Буря», очерки «Сусанины советской земли», «Прокормим!», созданные отчасти в блокадном Ленинграде, отчасти в Москве, куда в апреле 1942 года вынужден был выехать больной уже писатель.

...В июле 1943 года семидесятилетний В. Я. Шишков (он умер в Москве в 1945 году) писал в частном письме с грустью и до-

стоинством: «А дух бодр, и творчество бушует, ходит по жилам. Удивляюсь на самого себя! Лишь бы кончить «Пугачева», а там и на отдых можно, в гроб, в землю. Кончу, с народом буду в расчете, все, к чему был призван,—посильно завершено. Пусть люди и поскучают, и поулыбаются, и поучатся жизни на моих страницах».

Вячеслав Шишков оставил богатейшее художественное наследие, еще далеко не полностью изученное, сложное по составу идей, философских проблем, одухотворявших его творчество. Все бури народной жизни — и нравственные, и исторические — бушуют в его художественных творениях. Эти творения по мучительной напряженности раздумий, трагической полноте страстей — сущий «огонь в одежде слова», говоря словами Т. Г. Шевченко. И этот огонь вечно будет гореть в сокровищнице русской художественной мысли.

Виктор Чалмаев



РАССКАЗЫ



Посвящаю Сенкиче, Гирманче — проводникам моим и многим, многим тунгусам, встречавшимся на пути моих скитаний. Светлую память о них я всегда ношу в своем сердце.

ХОЛОДНЫЙ КРАЙ

(Из дневника скитаний 1911 года)

I. ЛЕБЕДИ

Раннее утро. До восхода солнца еще добрый час. В дощатой каюте шитика¹ — сажень в длину, сажень в ширину — нас четверо, спим, как в берлоге, тесно.

Закуриваю трубку. Темно, но сквозь щели в потолке и стенах прокрадывается рассвет. Холодно. Неохота подыматься из согретого телом гнезда. Тихо. Лишь похрапывают товарищи, да на палубе кто-то из рабочих ворочается и стонет.

Лежу с открытыми глазами, думаю. Думы мои мрачны. Слышу:

— Степан, вставать пора.

— Рано.

— Я заколел. Надо костер разжечь.

— Спи.

Молчание.

Мы одни среди этого безлюдья и надвигающегося приполярного холода.

От последнего жилого места мы отплыли почти на тысячу верст. Нервы наши напряжены, душа истомлена. А плыть вперед, до Енисея, где есть люди и откуда мы можем выбраться на божий свет, по крайней мере месяц. Но мы б добрались. Мы привыкли к опасностям, закалены в борьбе. И вдруг этот ранний, в первых числах сентября, мороз и снег... Если обмерзнем здесь, никто не узнает о том — кругом ни души, — никто не придет к нам на помощь. Ну что ж! Судьба...

Опять говорят вверху, на крыше лодки:

— Степан.

— Ну?

¹ Шитик — крытая большая лодка.

— А ведь подохнем мы. Не доплыть.

— Доплы-ы-ве-оом...

— Где доплыть... Замерзнем посередке. До Туруханска полторы тыщи верст осталось, сказывают. А сухарей мало. Пропадём с голоду...

Тяжелый вздох и вздох:

— Доплы-ы-ве-ом...

И уже нет в голосе уверенности: дрогнуло что-то, сорвалось.

Молчу. В душе растёт тревога, вопрос за вопросом мелькает в голове, один черней другого. Бессильно вздыхаю, жду ответа. Ответа нет.

Прислушиваюсь: чей-то говор, нежный и радостный, едва звучит надо мною. Все четче, четче: теперь ясно слышу — это в выси проносятся на юг, нам навстречу, гуси.

Выхожу на воздух, бодро вздрагиваю, умываюсь ледяной водой.

Тайга спит. Река дремотно катит свои воды, шурша стеклом новорожденных льдин. Наш шитик стоит возле огромных песков. Все пески покрыты ранним снегом. Нетоптаная пороша голубеет в утренней полумгле.

Стеклянная застывшая тишина, неподвижность. Иду вдоль косы. На пороше замечаю следы. Всматриваюсь: сохатый шел, лось, с сохатенком, а рядком — оленьи следы. Значит, близко стойбище тунгусов. Это хорошо, это очень хорошо. Живые люди! Я бесконечно рад.

Иду дальше. Восток все светлеет. Вижу четкие отпечатки лебединых следов: птицы шли табуном от реки к зеленеющему берегу, где спелый горошек.

Останавливаюсь. А, вот и они. Вскидываю вверх голову, ищу в выси белый, розовеющий под зарею бисер: раз, два, три, четыре — много. И смотрю им вслед тоскующими глазами, смотрю на юг, в ту сторону, где ждут меня друзья, такие далекие по расстоянию, но родные сердцу. Придется ли свидеться?

И я кричу, сняв шляпу:

— Эй, лебеди! Несите мой низкий поклон! Я не погиб еще. Я приду.

Но кто-то зло смеется во мне:

«Придешь? Ха-ха». И сердце вдруг обливается черной кровью.

Скрылись.

— Лебеди! Вольная стая. Счастливый вам путь!

Слышу — чьи-то шаги. Оглядываюсь — тунгус. Стоит возле меня, глядит жалеющими глазами, удивленно говорит:

— Как попал? Пошто? Откуда?

Стараюсь приветливо улыбнуться, спрашиваю:

— Ну, как, бойе, до Туруханска доберемся мы, не замерзнем?

— Какой Турухан. Сдурел ты. Поздна... Борони бог! Зима... худой твоё дело. Сдохнешь!

Сердце вдруг покрывается льдом, обмирает. Вот встало солнце, а я его не вижу: темно кругом и тоскливо.

Я через силу улыбаюсь, еле сдерживая боль, хлопаю тунгуса по плечу и дрожащим голосом говорю:

— Пойдем, бойе, чай пить.

— Пойдем. Чай так чай... Можно...

Он весь в мехах: чикульманы, пёрка, рукавицы. По лбу красная повязка, из-под нее торчат, словно у индейца, черные космы жестких волос. За плечами тугой лук, в руках острая рогатина — пальмá, за поясом болтается десяток убитых белок.

Добродушными, доверчивыми глазами он смотрит на меня и говорит:

— Оставайся, бойе. Зверя промыслять будем, тайга гулять будем. Э!

Я молчу. Мне не до гулянья.

На шитике проснулись. От костра струится голубой дымок и розовеет снег на вершинах гор.

II. БЕЛКА

Вот третью неделю живем в глухой тайге, в избушке зверолова, поджидаем тунгусов: они поведут нас на юг, к Ангаре. Путь будет труден, мы это знаем: по тайге, без дорог, без теплого угла, через снега, буран, морозы. Мы также знаем, что еще долго будут нас ждать в родном краю, и когда пройдут все сроки, нас станут оплакивать горько. Но что же делать? Надо мириться, иного выхода нет.

После встречи с тунгусом, когда наш скудный флот — два шитика и три лодки обледенели, мы решили, пробивая шестами тонкий лед, плыть дальше, наугад, в надежде повстречать жилье. Мы плыли день и ночь. На быстрых местах шитики неслись сломя голову, то и дело ударяясь о невидимые в ночной тьме камни. Мы прекрасно знаем, что от иного внезапного удара шитик может перевернуться. Если спасемся сами, погибнет остаток сухарей. Так и так — смерть. Однако раздумывать некогда, плывем. И вот подул ураганный встречный ветер. Наши лодки почти остановились. Мы бросили весла, шли на шестах. Но шесты один за другим ломались, за целый день мы едва проходили версту. А нам нужно лететь стрелой, чтоб не погибнуть. Ветер дул це-

лую неделю. Мы коченели от холода, лица опухли, руки разбиты в кровь. Мы теряем последнее мужество. И одно на душе: «скорей бы конец».

Вдруг, совершенно неожиданно, как молния в ясный день — избушка зверолова. В ней люди. Итак, мы третью неделю живем в этой родной, дорожке каменных палат избушке.

— В лесу сегодня тепло, — сказал товарищ.

Выглядываю в окно. Белеет земля, белеет крыша балагана, и на фоне сизого неба желтыми призраками вытянулись вверх задумчивые в своей дреме лиственницы. Редко, редко падают неторопливые снежинки.

Беру палку и спешу в глубь тайги, подальше от жилья, туда, где слышен рокот грозного порога.

Как тихо, как хорошо в тайге. Солнца нет, снеговыми облаками укрыто небо, и сквозь колючие узоры леса виднеется долина Нижней Тунгуски. А за рекой угрюмо дремлет хребет Унекан, траурно-черный с белыми пятнами снега.

Тише, человек, тише. Взгляни, какую землю попирает твоя нога. Только взгляни, человек...

Слышу тайным слухом: шепчут мне хвои, весь воздух: «Не бойся смерти, человек. Смерть — сон. Уснешь, чтобы проснуться, как и эта тайга весной. Не будешь верить — умрешь, человек, и не проснешься. Верь».

Вот вижу: сквозь белую пушистую скатерть, только что вытканную мудрейшим ткачом из узорчатых блесков снега, проглядывает куст голубики. Ее спелые ягоды, голубые с беловатым пушком, так удивительно красиво проступают из белизны пороши. Срываю и пробую. Поддеваю в пригоршни снег и нюхаю долго, долго. Какой удивительный аромат: пахнет облаками, небом, вечностью.

Иду по мшистой шубе тайги. Оглядываюсь назад. По моим следам расцветают в снегу розы: то безглазая пята топчет подснежную бруснику, из брусники алая брызжет кровь.

Блеснуло на минуту солнце, позолотило стволы деревьев, зарумянило свежий ковер на полянках, поиграло зайчиками на хвое, скрылось.

Белка.

Становлюсь под дерево и, притаившись, жадно слежу за ней. Она распушила хвост, долго всматривается в мое лицо, испытующе хоркочет и, как пружина, упруго прыгает вверх по высокой прямой сосне. Приостанавливается, вновь выглядывает на меня. Я замер, не шелохнусь, и это успокаивает ее.

Ах плутовка! Она будто не замечает моего присутствия.

Я для нее — пень, ничто. Нет, притворяется. Я прекрасно

понимаю, что за мной неотрывно следят ее глаза. Шевельнись только, и — прощай игра.

Скачет вдоль большого раскидистого отростка, садится на самый его конец, игриво поджимает передние лапки к белой груди. Бисерные глаза ее еще раз вскользь задевают меня, она грозит в мою сторону лапкой и, взметнув хвостом, несется сначала по суку, потом вниз головой по стволу к земле. Упруго скачет сразу четырьмя лапами почти до самых корней — не к моим ли ногам сейчас прыгнет, шельма, не сядет ли она на мое плечо, чтоб шепнуть колдовское зверючье слово? Нет. Вдруг круто повернулась в воздухе, и голова ее вновь вверху, а хвост стелется по стволу сосны, скок-скок-скок.

Опять бросает лукавый взгляд и, приняв беспечную дразнящую позу — лови! — она без боязни спускается вниз, на широкий столетний пенёк. Вот привстала на дыбочках, вновь с любопытством разглядывает меня, пришельца, презрительно грозит лапкой, ждет.

— Ужо-ко я ее. Ужо-ко! Где у меня ружье?! — улыбаясь, шепчу я, плененный игрой, как ребенок.

Не слышит и словно не видит, но знает, что нет ружья.

Хоркает, искоса смотрит на меня, трет лапками плутовскую мордочку, смеется.

— Ага, ты так?! — не утерпел, схватил палку, замахнулся.

Она стремглав на самую вершину и, раскинув кивером хвост, швыряет в меня шишкой.

Я ухаю, стучу по стволу палкой, как баран прыгаю возле корневища:

— Ух ты! Ух! Вот я тебя.

Она с вершины на вершину скачет где-то там, под облаками, и, смеясь, задорно кричит:

— Что, взял? Ха-ха... Лови!

III. «ВЕРА ТАКОЙ»

От устья Илимпей мы идем через непроходимую тайгу, снегами. Снег тихий, обильный, пушистый, настойчиво падал, падал без конца. Недавно был покров, а в иных местах сугробы в два аршина. Верховые наши олени выбиваются из сил. Впереди всех идет вожак, тунгус Сенкича. Он по грудь вязнет в снегу, в его руках пальмá, он с маху ссекает тонкие деревья, чтоб проложить путь каравану. Мороз, а он весь мокрый, от непокрытой головы струится пар. Сенкича — тунгус отменный, да, впрочем, и все они таковы. Завяжи ему глаза, кружи целый день тайгою, проспится, встанет утром и без ошибки пойдет куда надо. Ему

не нужно солнце, он носит тайное чутье путей в самом себе.

За Сенкичей идет гуськом, нос в хвост, связка оленей — ольгоун. Верхом на переднем олене — баба Сенкичи с пеугасимой в зубах трубкой и с ружьем за плечами. Через седло идущего за ней оленя перекинут берестяной кузовок с ее годовалым сынишкой. Он орет и час и два диким надрывистым криком. Я подъезжаю к ней, говорю:

— Уйми. Остановись, покорми его.

— Пускай гаркат, — отвечает она равнодушно, — пускай греется.

Когда я начинаю приводить резоны, стыдить ее, она в ответ бросает:

— У нас вера такой.

Эта фраза у тунгусов всегда на языке.

Задайте Сенкиче ряд вопросов: почему тунгусы сроду не моятся? почему боятся мертвецов? почему мужчины носят косы? — один ответ:

— Вера такой...

За ольгоуном — еще и еще ольгоун, в каждом по восемь вьючных оленей. Когда передняя связка выбьется из сил, ее ведут назад, в хвост каравана. А мы и человек пять тунгусов — верхами.

Однажды в солнечный день я остановил оленя и залюбовался нашим караваном. Я стоял на берегу небольшой речушки. Караван, растянувшись чуть не на версту, ходко спускался в долину. Снег был голубой, мириады блесток играли огоньками. Изжелта-белые пушистые олени шли четкой ступью. Они гордо несли свои густодревые рога. Вот сгрудились на извороте — целый лес рогов.

— Модо! Модо! Ко! Ко! Ко! — погоняют тунгусы оленей.

В сумерках кончаем путь. Вот уже полыхает огромный костер. Это расторопный Сенкича зажег сразу три рухнувших сосны. Разгребают снег, ставят конусообразный чум, на землю накидывают хвою, в середине разводят небольшой костер. Говорливый, пересыпанный хохотом обед из сохатины с сухарями и крепкий сон.

Утром выхожу с географической картой издания генерального штаба. Тот путь, по которому мы идем, на карте — пустое место. Человеческая нога здесь не бывала никогда. Я шаг за шагом, поскольку позволяют обстоятельства, произвожу на всем пути съемку, ориентируясь буссолью и часами.

— Сенкича! Где мы вчера ночевали? Покажи мне направление.

Он смотрит на меня удивленно и так же удивленно, с хитринкой, задает вопрос:

— Разве не знаешь?

В десятый раз начинаю объяснять ему, что мы здесь впервые, а тайга так однообразна, что, отведи любого из нас за сто сажен, и мы заблудимся. Да и все небо в тучах, солнца нет.

Он косится на меня сверху вниз, с непередаваемым чувством превосходства и снисходительно говорит.

— Ладно.

Я его научил вешить линию. Он берет две пальмы-рогатины, втыкает в снег сажен на десять одну от другой, отходит в сторону, прищуривает глаз, приседает, разводит руками, что-то шепчет, соображая, вот перенес переднюю рогатину на аршин вправо, присмотрелся, перенес на вершок влево, еще.

— Вот так. Иди, смотри. Там были... Э!..

Я прикладываю по линии буссоль, отсчитываю румб, заглядываю в книжку на вчерашнюю запись и поражаюсь: градус в градус.

Он следит за выражением моего лица и торжествующе спрашивает:

— Верна?

— Молодец! Я тебе подарю ружье. Теперь укажи, в какую сторону мы пойдем и где будем ночевать. Только чтоб верно было.

Сенкича сияет. Ружье для него — целое богатство. Он быстро переставляет рогатину, как колдун опять что-то шепчет, разводит руками, еще раз переставляет и говорит:

— Во, смотри!

Беру румб, записываю. Я вполне уверен, что завтра утром, на следующем стойбище, он точно укажет мне, за двадцать пять верст, это самое место, где сейчас стоим. Я знаю, что обратный румб будет верен, как и в предшествующие дни.

Чем это объяснить? Ведь это же — чудо! Я б всякого назвал лжецом, если б не проверил самолично эту удивительную способность тунгуса чувствовать пространство.

Я показал ему карту. Глаза Сенкичи загорелись. Долго, пристально смотрел, расспрашивал:

— Это что?

— Нижняя Тунгуска.

— Это?

— Катанга.

Он разбросил карту на снегу, припал на локти.

— А это Лемпо? — спросил он, проводя ногтем по черте.

— Да, — подтвердил я, вновь поражаясь быстроте его соображенья. Человек впервые видит карту. Возьмите любого нашего

мужика, он процарапает насквозь голову, а не поймет эту китайскую грамоту.

— А это Бирьякан? — задает вопрос Сенкича.

— Да.

— А это Туру?

— Нет, вот Туру. Это Пульваненга, — возражаю я.

Тогда Сенкича швыряет прочь карту, быстро выпрямляется и с сарказмом говорит:

— Какой дурак писал расписка? Врал! Туру вот где, Пульваненга — вот!

— Эту карту писали в Питере, ученые, — раздражаюсь я.

— Дурак писал, — настаивает Сенкича.

Он берет сучок и чертит на снегу весь наш предстоящий путь вплоть до Анनावары. Чертеж его схематичен, в прямых линиях. Но почти все впоследствии подтвердилось.

— Да как ты это, Сенкича, знаешь?

— Вера такой.

IV. ТРОЕ

Ночью по деревьям стучит мороз. В верхнее отверстие чума видны золотые россыпи звезд. В чуме страшный холод. Костер потух. Я лежу в одном белье под шубой. Надо бы разжечь костер, но встать нет мочи. Темно. Вот кто-то вскочил, зябко сделал — брр, — лякнул зубами, опять упал, пробормотав:

— Язви тебя, вот холод...

Наш русский.

Потом вылезла из оленьего теплого мешка тунгуска Анна. Мешок у них двойной, семейный, спит в нем с Сенкичей, а сынишка — в берестяном кузовочке у костра. Не замерз ли? Однако нет — заплакал. Анна высекла искру, стала разводить костер.

— Замерзла, Анна? — спрашиваю.

— Взопрела, — посмеиваясь, отвечает она.

Анна поднялась во весь рост, потянулась, сняла рубаху, вывернула ее и распялила над пламенем. Рубаха надулась от жаркого воздуха колоколом и стала плавно кружиться в раскинутых над костром руках Анны, как карусель.

— Омко, — поглядывая на меня, наставительно говорит Анна.

Я знаю, что такое «омко»; омко — значит вши.

Анна молода, очень красива, от ее бронзового крепкого тела веяло какой-то внутренней чистотой. Но эти окаянные «омко». Закрываю глаза и сердито кутаюсь с головой в шубу.

— Ньюльга сегодня будет большая, — заявляет за чаем Сенкича. Глаза его узенькие, заплывшие от сна и таежной стужи.

За чумом голос Анны и бряканье бубенцов. Она собирает оленей. Это не так-то легко: они разбрелись по тайге, надо ловить арканом.

В путь двинулись около полудня. Солнечный, тихий день. На полянах снег слепит глаза. Тишина полная. Иногда с сосны слетит иней: это белка прыгнула на другой сучок. Белок попадается много. Но промышлять их нет времени. Однако Анне невтерпёж. Иногда останавливает она оленя и, приложившись к малопульке, метко срезает с вершины белку.

— А ловко ты бьешь! — кто-то бросает Анне похвалу.

— Вера такой, — скромно отвечает она, попыхивая трубкой.

Мы шли густыми зарослями. Здесь снегу было меньше. Сосны стройно возносились к небу, пушистые кроны их сливались вверху в одну.

Вдруг вдали раздался выстрел.

— Э! Наш промышляет, — сказал Сенкича и выстрелил в воздух.

Караван остановился.

— Это глухой Отыркон, старик, — сказал Сенкича.

— Геть, геть! — закричал старик на своих псов и подошел к нам.

— Здравствуй, Отыркон, — сняли мы шапки, с любопытством разглядывая его.

Тунгусы стояли молча. У них нет обычая здороваться. Старик смотрел на нас разинув рот. Собаки пофыркивали, дрожали.

Вид старика жалкий. меховая парка вытерта, оборвана донельзя, ноги обмотаны в какую-то рвань. седая голова не покрыта, кисти рук голы, красны, он отогревает их дыханием. скуластое голое лицо с приплюснутым носом обтянуто желто-серой морщинистой кожей. узенькие глаза слезятся, щурятся. мал ростом, но прям и быстр.

Сенкича обнял его за плечи и закричал ему по-тунгусски в самое ухо. Тот отрицательно помотал головой.

Обращаясь к нам, Сенкича сказал:

— Совсем глушился. Кудой его дела. Тфу! — и дал Отыркону свою трубку.

В руках старика дрянное ружьишко. Самодельная ложка кой-как стянута топором. Старик подпоясан веревкой. Под веревку подоткнуты убитые белки, а к концу веревки привязана собака. Она сидела у ног хозяина, крутила по снегу хвостом и, высунув язык, весело посматривала на нас.

Старик еще выкурил трубку и заговорил довольно правильно по-русски. Голос его был слаб и тонок, как у скопца.

— Вот я старый, четыре раз по двадцать. Никого у меня нет. Совсем глухой. Оленей нет, ничего нет, смерть уехала куда-то, прощай. Как жить? Вот живем, я да две собаки. Кормимся. Смерть придет, сдохну, куда они без меня? Мало-мало пропадут совсем. Чисто беда совсем...

— Неужели у него нет никого родных?— спросил я Сенкичу.

Да. Сенкича знает старика давно, он действительно одинок, но тунгусы не оставили бы его, кормили бы, да и сам Сенкича сколько раз звал его к себе. Неидет. Хочет жить своим трудом.

Сенкича помнит, как одно стойбище тунгусов взяло его к себе насильно, держало чуть не взаперти, ухаживало за ним — очень хороший старик, мудрый — нет, ушел.

Отыркон почувал, о чем мы говорим, и, усаживаясь прямо в снег, сказал:

— Нога шагал, глаз смотрел, работай. Пошто мешать людям? Людям и так совсем худо есть. Каждому свой камень есть. Не надо. Грех.

Он вздохнул, протер глаза снегом и, сделав руку козырьком, взглянул в лицо Сенкичи:

— Сенкича! Я буду околеть весной, в вершине Бирьякана.

— Откуда знаешь?— крикнул Сенкича.

— Будешь там кочевать, возьми ружье.

— Откуда знаешь?!— опять прокричал Сенкича и замаячил руками.

— Каменный Спас сказал.

— Кежма есть, село. Там каменная церковь, Спас,— пояснил мне Сенкича.

А старик продолжал:

— Вот лег спать. Вот слышу: Спас приехал в изголовень мне, сказал: ты старый, ты совсем дрянь, время твоё поседело, ухо заросло землей. Этой весной станет тебя душить шайтан. Сдохнешь голодом. Наплевать, не бойся...

По лицу Отыркона текли слезы. Подбородок дрожал. Он поднял голову к небу и перекрестился.

Я с печалью и жалостью смотрел на него. Он нищ, убог, но какой-то внутренний свет исходил от него, и чувствовалась несокрушимая сила в его душе. Так хотелось помочь ему. Но как помочь? Несчастный, погибающий старик.

— Шибко хороший Каменный Спас,— сквозь слезы шептал он,— борони бог, какой добрый Каменный Спас, обиды нет от него... Ну, я пошел.

Он быстро поднялся и, как бы спохватившись, громко спросил Сенкичу:

— Куда, бойе, нюльгиришь?

Сенкича всячески изощрялся, чтоб объяснить глухому: схватил меня за рукав, махал руками к югу, указывал на оленей, подгибал по очереди пальцы, чертил пальмой по снегу.

Но вдруг вдали взлаял черный пес Отыркона. Пестренькая сучка, привязанная к опояске старика, взвилась стрелой и бросилась на лай. Веревка взмыла, свалив Отыркона с ног.

— Куто! Геть! Геть! Куто!!— крикнул он, быстро вскочив и убегая за тянувшей его что есть силы собакой.

Тунгусы смеялись. Вскоре раздался вдали слабый хлопок ружья.

Я долго смотрел в ту сторону, куда скрылся лесной старик. Мне было грустно. Я думал о его недолгих днях, о последней его земной минуте. Холод, мрак, тяжкое одиночество. Когда сердце его устанет и по жилам едва-едва будет струиться холодеющая кровь, он покорно ляжет у потухшего костра и станет безмолвно ждать.

Когда я все это представил себе до четкой ясности и вдумался в слова старика — «умирать шибко сладко», — какое-то чувство зависти вдруг охватило меня всего. Не странно ли, что мы, люди иного уклада жизни, так боимся своей последней роковой черты, а он, этот немощный, первобытный старец, ждет смерти с радостной надеждой. Благо ему!

Мы двинулись дальше. Сенкича шагал со мной рядом, говорил:

— Белку без собаки доспеть трудно. Ясный глаз надо. Отыркон глаз — тьфу! Вот собака туда-сюда нюхтит. Далеко уедет, мало-мало совсем не видно. Отыркон наовся закружится, все на восход лезет, на восход, а другой собак кэ-эк дернет его, прямо назад, старик вверх ногами, бряк! Однако притащит к белке, — бей, значит. Э! Так трое и жрут беду. Э!..

КРАЛЯ

I

Стоял октябрь. Погода направилась свежая, тихая.

Солнце так же ярко светило, но уже не было в лучах его прежней ласки. Бодрящим, трезвым оком созерцало оно слегка застывшую землю. Поседали травы. Подернулись лужи и болота тонким стеклом молодого ледка. Опал лист на кустах и деревьях. Рассветы стали туманны, задумчивы утра, тревожно-чутки дни, угрюмы ночи.

А вверху, по поднебесью, лишь выглядывает солнце, тянулись к югу длинными колеблющимися углами запоздавшие журавли, торопясь от грядущих бурь и непогод в теплые страны, туда, где солнце еще не состарилось, где сверкают тихие реки да зеленеют мягкие бархатистые луга. Летят, курлыкают тоскующими голосами... Скорей, скорей...

Грустят ли, покидая север, радуются ли, стремясь в неведомые страны,— как угадать?

Лишь человек, прикованный неволей к земле, провожает их благословляющим взором; только щемящая тоска вдруг схватит его за сердце, а глаза нет-нет да и заволокутся слезой.

И загрустит человек, что нет у него крыльев.

Темным вечером, по шершавой, с глубокими застывшими колеями дороге ехали купец Аршинин да еще доктор Шер.

Торопились скорей добраться до города, опасаясь, как бы не вспыхнуло вновь в небе солнце и не растопило подстывшую грязь.

Сибирские дороги длинные — едешь сутки, едешь другие, третьи, а конца пути все не видать.

Купец был тучный, рассудительный, выдавший виды, с большебородым ликом и веселыми, чуть-чуть наглыми глазами. Док-

тор — худощавый, подвижной и нервный, с растерянным взглядом больших черных глаз, безбородый.

— Скоро? — рявкнул купец.

Ямщик пощупал глазами тьму и хрипло ответил:

— Кажись, надо быть скоро... Быдто недалече...

И, быстро вскинув вверх руку, он браво зыкнул:

— Дела-а-й!..

Лошаденки боязливо покосились на кнут, проворней засеменили, и тарантас заскакал по замерзшим комьям грязи.

Темень висела кругом; но вот мигнул и опять потас огонек. а за ним мигнул другой, мигнул третий...

— Деревня?..

— Она самая...

Всем вдруг стало весело.

Доктор закурил папиросу, а купец сказал:

— Жарь на земскую...

Когда лошади поплелись тише, ямщик обернулся к седокам:

— Ох, там и краля есть... Солдаточка...

Доктор торопливо затянулся папироской, улыбнулся самому себе и переспросил:

— Краля?

— И-и-и... прямо мед...

Купец икнул на ухабе и сказал чуть-чуть насмешливо, обращаясь к доктору:

— Вот бы вам, Федор Федорыч, в экономочки кралю-то подсортовать. А?.. Хе-хе-хе... Вы вот все ищете подходящего резону, да на путную натакаться не можете.

Доктор не ответил.

— Ведь жениться на барышне не думаешь? — спросил купец, переходя вдруг на «ты»: с ним случалось это часто. — Ну вот. Да оно и лучше. Возьми-ка, брат, крестьяночку. На подходящую натакаешься — как собака привяжется. Чего тебе — кровь здоровая, щеки румяные... Хе-хе-хе... Слышите? — И деловито добавил: — Только надо поприглядеться — как бы не тово... не этово...

Опять не ответил доктор.

— А звать ее Авдокея Ивановна, — сказал ямщик, видимо прислушиваясь одним ухом к разговору, и, ошпарив тройку, вновь гикнул не своим голосом: — Де-е-лай!..

Лошади птицами взлетели на пригорок, спустились, опять взлетели и, врезавшись в улицу села, понеслись по гладкой, словно выстланной дороге. У церкви сиротливо мерцал одинокий фонарь да еще здание школы светилось огнями. Было часов восемь вечера.

— А вот и земская...

К подъехавшей тройке подбежал дежурный десятский с фонарем и, сняв шапку, спросил:

— Лошадок прикажете али как?..

Фонарь бросал дрожащие снопы света на перекосившееся крыльцо земской, на кутившихся паром лошадей. Подошли два-три мужика да собачонка.

— Вноси в избу всю стремлюндию,— сказал купец.— Куда в этакую пору ехать?..

— Куды тут,— радостно, все враз, заговорили мужики,— ишь кака темень... Ха!.. Ты ушутил?..

И весело засуетились возле тройки.

II

В земской тепло, пахло кислой капустой, печеным хлебом и сыростью от не домытого еще пола. Пламя сального огарка, стоявшего на лавке, всколыхнулось, когда Аршинин хлопнул дверью, и заиграло мутным колеблющимся светом по оголенным до колен ногам ползавших на четвереньках двух женщин, по их розовым рубашам и мокрым юбкам, по сваленным в кучу половикам, столам, стульям и стоявшим на полу цветам герани.

Женщины поднялись с полу, бросили мочалки и одернули торопливо подолы.

Купец размашисто перекрестился на образа.

— Ну, здравствуйте-ка...

— Здрасте, здрасте...— враз ответили обе.

А та, что постатней да попроворней, приветливо метнула карими глазами и молвила певучим, серебристым голосом, от звука которого чуть дрогнуло сердце доктора, а пламя свечи насмешливо ухмыльнулось.

— Вот пожалуйста в ту половину, там прибрано.

И стояла молча, играя глазами.

Купец пошел как-то боком, на цыпочках, неся в руках чемодан, а доктор стоял столбом и мерил с ног до головы женщину.

— Вы не Евдокия Ивановна?— спросил он.

— Да... Она самая. А вы откуда знаете?

Купец высунул из двери бороду:

— Тебя-то? Авдокею-то Ивановну не знать?.. Да про тебя в Москве в лапти звонят... Ха-х ты, милая моя...

— Милая, да не твоя...

— Ну, ладно. Давай-ка, Дунюшка, самоварчик. Сваргань, брат, душеньку чайком ополоснуть...

— Чичас.

И пошла, ступая твердо и игриво, к двери.

Босая, с еле прикрытою грудью, с двумя большими черными косами, смуглая и зардевшаяся,— вся она, вся свежая и радостная, казалось, опьяняла избу тревожным желанием, зажигала кровь и дурманила сердца.

Купец посмотрел ей вслед плотоядными, масляными глазами.

— Ох, наваждение! Ишь толстопятая, вся ходуном ходит...

И пошел к чемодану, бубня себе в бороду:

— Ох, и я-а-ад баба... Яд!

Доктора бросило в жар.

Толстая, вся заплывшая жиром баба летала проворно по избе, расставляя столы и стулья.

— Подь в ту комнату, я половики раскину.

Доктор очнулся и пошел на улицу вслед за Дупей, а тетка полезла на печку.

Купец, утратив на время благочестивый облик, подполз к ней сзади и, ради первого знакомства, хлопнул по широкой спине ладонью.

Зарделась баба, улыбнулась и, погрозив кулаком, сказала, скаля белые, как сахар, зубы:

— А ты проворен, бог с тобой... Ерзок на руку-то.

Купец хихикнул, тряхнул бородой и, почесав за ухом, сокрушенно ответил:

— Есть тот грех, кума... Есть!

Он крадучись щипнул ее за ногу и, прищелкнув языком, прошептал:

— Кума, эй, кума... Слышь-ка.

— Ну, что надо?— сбрасывая половики, задорно спросила баба.

— Слышь-ка, что шепну тебе.

Она неуклюже повернулась к нему, свесив голову. Он обнял ее за шею и шепнул.

Вырвалась, плюнула, захохотала.

— Чтоб тебе борода отсохла!.. Тьфу!

— Вот те и борода... Стой-ка ужо...

Вошел доктор, весь радостный. Купец отскочил быстро прочь, степенно прошелся по комнате, взглянул украдкой на иконы и тяжело вздохнул. Лицо опять сделалось постным, набожным.

А баба слезла с печи и пошла, почесывая за пазухой, к двери, брюзжа на ходу притворно строгим голосом:

— Ишь долгобородый, оха-а-льник какой... право.

Доктор быстро взад-вперед бегал по комнате, улыбался, выхватывал из жилета часы, открывал крышку, бесцельно скользил по ним взглядом, совал в карман, чтобы через минуту вы-

тащить вновь. И никак не мог сообразить, который теперь час.

Купец, сидя под образами, в углу, наблюдал доктора, а потом плутовато подмигнул ему и, раскатившись чуть слышным смешком, долго грозил скрюченным пальцем.

— Доктор, а доктор, знаешь что?

— Ну?

Купец еще плутоватей подмигнул.

— А ведь у тебя на лице-то... хе-хе... выражение...

— Вот это мне нравится... Ну, а дальше?

И опять забегал, то и дело выхватывая из жилета часы и улыбаясь тайным сладостным мечтам.

III

Когда на столе появился большой самовар, миска меду и шаньги, купец с доктором уселись пить чай. Оба они частенько прикладывались к бутылке с коньяком.

Отворилась дверь, и легкой поступью, поскрипывая новыми полусапожками, вошла Дуня.

— Дунюшка-а-а... родименькая-а-а... иди-ка, выпей чайку с лимончиком,— обрадовался купец.

— Кушайте. Куды нам с лимоном: мы и морщиться-то путем не умеем.

И прошла в маленькую комнатку, где лежали вещи проезжающих.

В комнатке был полумрак. Дуня что-то передвигала там с места на место, лазила в шкаф, брэнчала посудой.

Купец шепнул, хлопая доктора по плечу:

— Иди-ка, иди. Потолкуй.

И опять подмигнул смеющимся глазом.

Тот улыбнулся и пошел в комнату, где Дуня звякнула замком сундука.

Купец пил рюмку за рюмкой, заедая шаньгами и солеными огурцами. До слуха его долетали обрывки фраз.

— Евдокия Ивановна...— говорил доктор, и голос его дрожал.— Вы не цените красоту свою. Ваши глаза... брови...

— А какой толк в них?

— Вы любите мужа, солдата?

— А где он? Нет, не шибко люблю. Не скучаю.

А потом раздался тихий вздох, за ним другой и тихий-тихий шепот...

— Пусти... так нехорошо... не на-а-до, не надо...

— Дуня, милая...

Купец выразительно крикнул и прохрипел пьяным голосом:

— Хи-хи... Легче на поворотах!

Доктор вышел, весь встревоженный, опустился возле купца и сидел молча, закрыв лицо руками.

— Вот что, господа проезжающие,— сказала вдруг появившаяся Дуня и, поправляя волосы, добавила:

— Вы, тово... лучше бы выбрались из той горинцы вот сюда. Кажись, ноне урядник должен прибыть со старшиной.

— Урядник? Ха-ха... Эка невидаль! Урядник. Подумаешь...— брюзжал купец и, подавая рюмку, сказал: — Ну-ка, красавица, вышей. Окати сердечушко. Садись-ка вот так. Вот чайку пожалуйте...

Жеманясь, выпила она вино и утерла губы краем голубой свободной кофточки, из-под которой блеснула свежая рубаха. А потом села и заиграла глазами.

Доктор, овладев собою, тихо спросил:

— Так поедешь, Дуня?

У нее чуть дрогнула тонкая левая бровь.

— Пустое вы все толкуете. Разве вы можете нас, мужичек, полюбить?

Она сложила малиновые губы в насмешливую гримасу и молчала.

— Овдотья, эй, Овдотья! Иди, слышь, в баню, што ль,— прокришел из сеней старушечий голос.

— Иду, бабушка, иду,— торопливо ответила Дуня.

И, обратясь к доктору, сказала тихо, словно песню запела:

— И поехала бы к тебе, и полюбила бы, да боюсь бросишь.

Купец ответил за доктора:

— Мы не из таких, чтобы... Наше слово — слово... Обману нет.

— И верной бы была тебе по гроб, да вижу — смеешься ты. Доктор потянулся к Дуне с лаской:

— Милая ты моя, чистая...

— Не трог... не твоя еще,— вскочила Дуня, сверкнув задором своих лучистых карих глаз.

Купец уставился удивленно в чуть насмешливое лицо ее, силясь понять, что у нее в сердце.

Дуня пошла легкой поступью к двери, а доктор — видимо, хмель в голове заходил — нахмурил вдруг брови и тяжело оперся о край стола:

— Постой!.. Слушай, Дуня! А любовник есть? Любишь кого? Та вздрогнула, гневно повернулась:

— А тебе какое дело! Ты кто мне — муж?

И вышла, хлопнув дверь. Через мгновенье чуть приоткрыла дверь и голосом мягким, с оттенком грусти, сказала:

— Кабы был кто у меня, неужели стала бы языком трепать? Ни сном ни духом не виновата.

IV

Когда купец был совершенно пьян, а доктор в полугаре, в комнату быстро вкатилась толстая баба.

— Урядник!— Она влетела в соседнюю каморку и стала выносить вещи путников.— Уж вы здесь, уж здесь, господа проезжающие. Я вот тут постелю. Уж извините...

Купец, ничего не понимая, молчал, а доктор рассеянно поглядывал на носившуюся из комнаты в комнату как угорелую бабу.

Распахнулись сени, сначала вбежал без шапки рыжий мужичонка с испуганным лицом и бляхой на сером зипуне, за ним ввалилось какое-то чудовище необъятных размеров, с пьяным, одутловатым, лохматым лицом, с мутными, косыми, навывкате, глазами.

Впереди суетился десятский:

— Ваше благородие, вот сюда...

За ним осанистый чернобородый крестьянин со строгим, хмурым лицом.

— Ннда... нда-а-а... Ха-ха! Тоже птицы, ничего себе... Урядник...— заплетающимся языком бормотал купец.— Эй, ты, доктор, повимаешь? Урядник... можешь ты своей башкой понять? А?

Урядник, услышав купца, появился в дверях своей комнаты и, держась за косяки, обиженно сказал:

— У меня, господа, дело, примите к сведению: убийство в волости, надо допрос снимать... так... что... маленькую комнату мне. Покорнейше прошу...

У купца, когда он выпивал лишнее, голос становился пискливым, а временами срывался на низкие ноты. Исподлобья посматривая на урядника и теребя свою бороду, он задирчиво сказал:

— Бери-бери-бери!.. Получай на здоровье... свою комнату с периной... с двуспальной... Хе-хе! Нн-да-а! Ты человек козырный. А мы что? Мы — людишки маленькие, тварь проезжающая разная. Докторишка какой-то да купчишка паршивый, соборный староста, например, с позволения сказать. Хе-хе... Эка невидаль!

— Что-с?

— Я тебе дам — что-с!— стукнул купец кулаком в стол и, грузно шевельнувшись, как куль шлепнулся на пол.

— Вот так раз... Хы... Сверзился...— бормотал он, барахтаясь

меж столом и лавкой.— Господин доктор, врач! Эй, где ты? Подсоби-ка... А на Дуньку плюнь. Плюнь, не подходяще. Чи-и-стая... Солдатка-то, Дунька-то? Она те оплетет, как пить даст. Дур-рак!

Урядник крякнул, свирепо взглянул на доктора и с треском захлопнул дверь.

Купец дополз до брошенного в угол постельника, а доктор забегал — руки в карман — по комнате и, остановившись возле пластом лежащего купца, шипел:

— Я вам не дурак! Вы пьяны! О Дуне же прошу так не выражаться. Слышите?— и опять забегал.

А купец, приоткрыв один глаз, засыпая, мямлил:

— Дур-рак! Семь разов дурак.

V

Купец спал, задрав вверх бороду и посвистывая носом.

В переднем углу, на полке, стоял большой медный крест, два медных старинных складня и медная, в виде кадила, посуда для ладана. На гвоздике висели ременные лестовки-четки.

«Народ набожный,— подумал, рассматривая, доктор, и ему было приятно, что Дуня живет в такой строгой, религиозной семье.— Должно быть, кержаки».

По комнате то и дело проходили к уряднику и обратно какие-то фигуры не то мужиков, не то баб,— доктор не обращал внимания,— а из полуоткрытых дверей доносилось:

— Он к-э-эк его тарарахнет. Да кэк наддаст..

— Трезвый?

— Како тверезый! Кабы тверезый был, нешто садапул бы ножом в бок.

Затем слышался старческий кашель и глубокий вздох:

— Ох, грех-грех...

Доктор взглянул в зеркало и не узнал себя: лицо красное, возбужденное, а мускул над правым глазом подергивался, что бывало каждый раз, когда доктор волновался.

— Ты у меня не финти, сукин сын!— вдруг за дверями заревел урядник.

— Ваше благородие, господи! Да неужто ж я смел бы?.. Что ты, что ты... Пожалей старика... Ба-а-тю-ю-шка-а...

— Я тебя пожалею. Вот я тебя пожалею!

Шел суд и расправа, а купец храпел на всю избу и охал, да тоскливо попискивал самовар.

Доктор надел пальто и вышел на улицу. В висках его стучало. На душе ползало что-то, похожее на тревогу, и кралась к сердцу грусть.

Вот он тут сядет и подождет Дуню. Он скажет ей много хороших слов, ласковых и сердечных. Может, поймет его, может, даст ему счастье, надежду на хорошую, радостную жизнь.

Он сел на приступках покосившегося крыльца и, обхватив колени, вглядывался в тьму звездной ночи.

Ночь была тихая, ядреная.

На горе, за селом, колыхалось пожарище. Видно было, как клубились космы изжелта-серого дыма, а искры вились и уносились к темным небесам.

Где-то далеко-далеко заревели коровы да прогрохотала по мерзлой дороге телега. И опять тишина.

За воротами слышался чей-то разговор.

Доктор вышел на улицу. Три мужика.

— Что, пожар?

— Да,— ответили все вдруг,— рига у крестьянина горит.

— Не опасно?

— Нет... далече... так что за селом. А окромя того, тихо.

Еще что-то говорили, спрашивали его. Он отвечал и сам как будто спрашивал. Но все это — и разговоры, и зарево пожара — плыло мимо его сознания.

Он пошел во двор и снова опустился на приступки крыльца. Тоскливо стало.

— А что, Евдокия Ивановна не вернулась из бани?

— Поди нет еще. А тебе пошто?

Доктор не знал, что ответить старухе.

— Да я так, собственно... хотел самоварчик попросить.

— Ну-к, я чичас.

Он курил папиросу за папиросой, думал:

Черт знает. Как это так сразу? Стра-а-нно. Это водка... все водка наделала. Пьян!

«Водка?— прозвучало в ушах.— Водка ли?»

Вдруг выплыли из тьмы чьи-то родные, ласковые глаза, поманили, усмехнулись, прильнули вплотную, смотрят.

«Что, любишь?»

Отмахнулся рукой. Замолкло, спряталось, притаилось.

Волна за волной шли мысли, то робкие и расплывчатые, то дерзкие и неотразимо влекущие.

Вот возьмет Дуню — красавицу, каких нет в городе. Привяжет ее к себе лаской, умом. Привьет ей любовь к знанию и заживет тихой-тихой, здоровой жизнью. Может быть, уйдет в деревню. Что ж, разве таких okazji не бывает?

— Да, да, в деревню,— думал он вслух...— Понесу туда свет, знание, помощь... А если... А вдруг?

Он не кончил, не хотел кончать: боялся.

Пожар на горе затихал.

— Дуня, дорогая моя...

Вот скатилась с неба звезда и, вспыхнув, исчезла в синем мраке неба.

— Сорвалась звездочка... А я пьян. И не идет Дуня... Краля? Ты говоришь — краля? Допустим... — бормотал, потягиваясь, доктор.

Подошла собака, поласкалась, лизнула в лицо, ушла.

Выплывали откуда-то звуки гармошки и песня. Прислушался доктор.

— Должно быть, рекруты...

Голос выводил, а ему, разрывая визг гармошки, подгавкивали другие:

Как во нашем во бору,
Там горит лампадка.
Не полюбит ли меня
Здесьняя солдатка.

Залаяли собаки, набрасываясь с остервенением. Хлопнули ворота. Раздались ругань, крик. А затем большой камень, очевидно пущенный в собаку, ударил в заплот. И опять ругань. И опять пьяная песня да лай собак.

— Что пригорюнился? Спать пора...

— Дуня!.. — Доктор вздрогнул и жадно обнял ее, теплую, пахнущую свежим веником.

— Сядь, посидим.

— Да некогда... право... Пусти...

— Сядь, поговорим.

— Нет, пусти... Непременно.

Однако села, склонив голову к его плечу, и заглянула в глаза.

— Вот я хотел сказать тебе, — начал доктор, чувствуя, как дрожь овладела им и как стучат от волнения зубы. — Хотел сказать, что полюбил тебя горячо...

— Горячо-о-о? Не обожги смотри.

Она засмеялась тихим, хитроватым смехом.

— Хочешь ли, я возьму тебя с собою? Ты будешь моей подругой. Я покажу тебе хорошую жизнь... Хочешь?

— Ох, мутишь ты меня, барин. И зачем тебя нелегкая принесла сюда?

— Я тебя люблю... Приворожила, что ль, ты меня?

— В куфарки зовешь али как? Поди жена али зазноба есть?

— Нету, Дуня, нету. Никогда, никто...

— Ах, бедный ты мой, бедный! Дай пожалею. — Она высвободила руку из-под накинутой на плечи шубы и стала нежно гладить его волосы, лицо.



— Один, как сыч. Столько лет без любви, без ласки. Ах, как тяжело...

А Дуня ласково, нараспев, говорила, обнимая доктора:

— Милый ты мо-о-й... робенок мо-о-й. Да-кась поцелую тебя.

Вот скрипнула в сенцах дверь: кто-то поставил на пол ведра и стал шарить по стене.

Дуня шмыгнула на улицу и притаилась, припав к стене крыльца.

Доктор сидел молча, не двигаясь, словно боясь спугнуть сладостный сон.

Опять скрипнула дверь: закричал кто-то, икнул, завозился, и вдруг из темноты сеней раздался старушечий шепелявый окрик:

— Ай! Кто тут? Ты штой-то хваташь?!

— Да это я... Саквояж ищу. Чемодан...

Дуня прыснула, узнав голос купца, и плотней запахнулась в шубу.

— Чиквая-а-н? Я те такой чикваян покажу. Язви те! Ишь облапал...

— Это ты, бабушка?— хрипел купец.

— А тебе ково? Грехо-во-о-дник...

Дуня давилась от смеха. Купец пошел к выходу, а старуха все еще шепелявила ему вдогонку:

— Чиквадан... Ишь ты, чего захотел. Какой-такой тут чиквадан про тебя доспелся... Тьфу!

Купец наткнулся на доктора:

— Ах, это ты? Мечтаниям предаетесь? Ну, ладно, мечтай, мечтай... О чистой... хе-хе.

И он полез по ступенькам, держась за поручни.

Дуня скользнула в сени, но доктор настиг ее, распахнул ей шубу и жарко целовал шею, губы, грудь.

— Пусти,— молила его,— пусти!

— Не могу...

— Пусти... ну, пусти.

А уходя, бросила:

— Я приду к тебе.

— Дуня-я-я!

— Родной мой... желанный.

VI

Самовар опять попыхивал на столе, и поставленный на конфорку чайник задорно стучал крышкой.

Было часов десять вечера. Допрос все еще продолжался:

— Попервоначально он его в зубы съездил, а опосля того вза-шей, значит... в лен.

— В лен?

— В лен, в лен.

— Та-а-к...

Купец лежа на полу, что-то бредил, стонал, ругался.

По избе ходила толстая баба, вся красная, лазила на печь, заглядывала в шкаф.

Купец вдруг быстро-быстро заработал во сне ногами, точно стараясь от кого убежать, потом подпрыгнул на постельнике всем телом, открыл глаза и гаркнул:

— Караул! Ксы!

Баба кинулась к нему и, припав на колени, прошипела:

— Тшшш... Чтоб тебя притка задавила. Это кот. Брысь!

— Тоись как кот?

— А я почем знаю как. Кот, да и кот... Спи-ка знай.

— Боднул кто-то...

Купец сейчас же захрапел, обхватив руками голову.

Доктор, опьяненный вином и Дуней, целый час бродил по деревне. Наконец ему захотелось спать, и глаза его, утомленные, стали слипаться. Придя в земскую, он сел к столу и налил черного, как деготь, чаю. Вскоре явилась и Дуня.

Она несмело подошла к полуотворенной двери и спросила:

— Вам, господин урядник, чайку не прикажете?

— Убирайся! Некогда!— слышался злой, грубый окрик.

Дуня с омерзением взглянула на жирный, ползущий на воротник загривок, торчащие из одутловатых щек усы и оттопыренные уши.

— Леший... каторжник,— сдвинув брови, обиженно прошипела она — и к выходу.

— Евдокия Ивановна!— ласково позвал доктор.

— Ну, что?

Он придвинул табуретку.

— Сядь.

Дуня улыбнулась, смахнула слезы, выпрямилась вся и, не подходя к столу, издали переговаривалась тихо с доктором.

Он раз и другой пытался подойти к Дуне, но она испуганно грозила ему пальцем, кивая глазами в сторону урядника.

— Почему, Дуня?— удивленно шепчет доктор.

— Ох, боюсь я его, окаянного,— ее лицо скорбно опечалилось, а меж крутых бровей легла морщина.— Зверь! Прямо зверь.

— Но почему?— еще удивленней шепчет доктор.

Дуня мнется, хрустит пальцами рук, взглядывает смущенно на доктора и говорит, волнуясь и проглатывая слова:

— Ох, не спрашивай ты меня, Христа ради. Услышит — убьет...

Доктор порывисто выпил водки. А Дуня шептала:

— Прямо Ирод, а не человек. Всех заездил... Всех слопал... Жену, варнак, в гроб вогнал, робят из дому выгнал. Охти-мнешеньки... Змеей подколодной к мужикам присосался, кровушку-то из нас всю, как пиявица, выпил. А куда пойдешь, кому скажешь — неизвестно... Ох, беда-беда!

Доктор подозрительно смотрит на Дуню, хмурится.

Но та, как солнце из-за облака, вдруг засияла улыбкой, сверкнула радостно глазами, подбоченилась и, тряхнув бусами, гордо откинула голову:

— Вот бери, коли любя! Не гляди, что криво повязана: полюблю — в глазах потемнеет!..

Счастливый, взволнованный доктор все забыл; манит к себе Дуню, говорит:

— Вот завтра, любочка моя... вот уедем завтра...

— А не погубишь? — Она стоит улыбается, того гляди смехом радостным прыснет. — Ну, смотри, барин! — задорно погрозила она пальцем, а в карих глазах лукавые забежали огоньки.

Незаметно уходило время, а Дуня все еще говорила с доктором. Давно погас самовар, кончился допрос, затихла деревня вместе с собаками, песней, пожарищем, только тут двое любовно беседовали да строчил протоколы урядник...

— Подожди денечек... Ну, подожди, — вся в счастье, в радости просит Дуня.

— Что ж ждать-то?

— Надо, соколик мой, надо. Потерпи! Навеки твоя буду, — влагая в слова певучую нежность, шепчет она. И вдруг, с тревогой:

— Ты крепко спишь?

— А что?

Лицо ее сделалось серьезным, в глазах мелькнул страх, но через мгновение все прошло.

Еще нежнее и радостнее, издали целуя его, едва слышно скавала:

— Приду... на зорьке... милый.

— Что? — как камень в воду, бухнул внезапно появившийся урядник.

— Что?!

Дуня побелела.

Он посмотрел тупым, раскосым взглядом сначала на Дуню, потом на доктора.

— Вы огурчиков приказывали?— растерянно спросила Дуня доктора.— Чичас,— и скрылась.

Доктор язвительно поглядел ей вслед: таким обычным и земным показался ему голос чародейки Дуни.

Урядник круто повернулся и пошел на свое место, оставив открытой дверь.

Доктор, посидев немного, стал укладываться спать возле купца. Сразу, как погасил лампу, комнату окутала тьма, но вскоре заголубело все в лунном свете. Хмельной угар все еще ходил в голове доктора, и, в предчувствии чего-то неизведанного, замирало сердце. Когда ложился, хотелось спать, а лег — ушел сон, и на смену ему явились думы.

Он лежит, вспоминает, улыбается. И все как-то путано в голове, туманно. Радостно ему, что Дуня стала его подругой, что за солдата выдали ее силой, что никогда не любила и не любит она никого, кроме него: так сказала ему Дуня. Лежит, удивляется: скоро, как в сказке. И это очень хорошо: такие вопросы надо решать сердцем. Вот завтра утром встанут, напьются чаю и уедут с ней в город. А потом доктор выпишет из деревни свою старуху мать, такую же крестьянку, работающую, простую, как и его Дуня. И тогда все трое заживут вместе. Эх, хорошо! Он лежит с открытыми глазами, спать не хочется, голова идет кругом.

Из комнаты урядника выступила желтая полоса света; в ее мутно-сонных лучах вдруг стало оживать висевшее на стене полотенце. Откуда-то взялись руки, грудь, голова с черными глазами, все это дрогнуло, зашевелилось.

— Да ведь это Дуня,— удивился доктор и с досадой взглянул на полуоткрытую к уряднику дверь.

Перо скрипело в руках урядника. Вот оторвался он от стола, сжал кулаки, потянулся всем жирным телом, зевнул и по-медвежьи рывкнул.

Белое видение исчезло, словно испугавшаяся выстрела птица.

— Тьфу!— и доктор перевернулся на бок.

Было тихо. Только слышалось, как, капля по капле, падала в лоханку вода из медного рукомойника.

«Буль... буль... буль...»

Раздались удары в колокол. Плыли они тихо, разделенные большими промежутками времени, и, казалось, засыпали по дороге тихим сном.

Просчитав пять ударов, доктор забылся, ему пригрезилось, не то во сне, не то наяву, как урядник вскочил со стула, подполз на четвереньках к полотенцу, зацепил им за ввинченный в пото-

лок крюк, сделал на полотенце петлю и повесился. Но вбежавшая, во всем красном, Дуня ахнула и быстро перестригла петлю. Урядник всей тушей упал на доктора. Тот вздрогнул и открыл глаза. Сон. Колокол еще раза три ударил и замолк. На докторе тяжелая, отекая рука купца. Он сбросил с себя каменную руку и отодвинулся на край постельника.

Купец завозился, перевернулся на другой бок и что-то забормotal, а потом отчетливо произнес:

— Яд-баба... Яд!

Запел петух где-то близко, в сенцах, за ним другой, третий. «Вот приду... Ох, желанный мой», — сквозь сон слышит доктор.

Притаился, слушает, незаметно засыпая.

«Ох, сладко поцелую... Обожгу тебя... О-о-о-х...»

Он слушает, улыбается и засыпает все крепче.

VII

Долго ль проспал доктор, неизвестно, но встрепнулся, когда кто-то хватил его, словно шилом в бок. Вздрогнул, протер глаза.

Дверь в комнату урядника почти закрыта, оставалась лишь неширокая, в ладонь, щель.

Доктор взглянул и обмер. Протер глаза, смотрит. Опять протер, приподнялся. Глядит и не верит тому, что видит.

— Неужто?!

Он ползет к двери, прячется в тень, как вор, и широко открытыми глазами впивается в жирную копну урядника и сидящую у него на коленях, в одной рубашке Дуню.

— Вот это шту-у-ука!.. — тянет доктор; он слышит, как бьется его сердце, да капля за каплей, падая в лохань, булькают и насмешливо рассыпаются в обманной подлой тишине.

Дуня обвила оголенной рукой толстую шею урядника, гладит его волосы, что-то шепчет и улыбается лукаво и ласково.

Урядник хохочет неслышно, и его живот, подпрыгивая, колыхается в такт смеху, а вместе с ним колыхается Дуня, стройная, свежая, в розовой рубашке.

— Два с полтиной, два с полтиной!.. Нет, врешь, — бредит скороговоркой купец и, застонав, добавляет убежденно:

— Еще успеешь угореть-то.

Доктор испугался, пополз было назад, но раздумал.

Дуня встала, заслонив собою свет лампы, и через рубаху соблазнительно сквозило ее красивое тело. Закинув руки за голову, она потянулась лениво и страстно, привстав на носки, а чу-

дище облапил ее левой рукой, притянул к себе и зашептал кри-
тым голосом:

— Чего он тебе толковал-то?

— А ну их к чертям! — почти крикнула она.

— Тсс... услышит.

— Спят... нажрались оба.

Доктор таращит глаза, дивится. Не во сне ли, думает. А они, проклятые, шипят гусями:

— Люблю тебя, Павлуша.

— Любишь? Ты чего-то юлишь, по роже вижу, что юлишь...

А дьячок-то?

— Не вспоминай. Ведь каялась... Чего же тебе надо? Прости!

Замолчали оба. Он красного вина подносит, сам пьет, ее пле-
чо лапой гладит, тискает.

— Ночевать не будешь?

— Нет, ехать надо.

— Подари колечко. Может, не увидимся... Уйду.

— Что-о?

Таящимся, но злобным смехом всколыхнулась Дуня, задорно
запрокинула с двумя черными косами голову, взметнула вверх
руки, хрустнула пальцами и, покачиваясь гибким станом, протя-
нула:

— Испужа-а-лся?.. А ежели уйду? Кто удержит?

— Сма-а-три, Дуня!

Урядник поднял над головой револьвер, потряс им в воздухе:

— Со дна моря достану, из могилы выкопаю, воскрешу и пе-
рерву глотку... Знай!

Она прижала локтями грудь, съежилась, вздрогнула зябко:

— Заколела я чего-то... Поцелуй.

Потемнело у доктора в глазах: сон или не сон? В ушах шумит,
во рту пересохло, и, как в наковальню молотом, бьет в груди
сердце.

Быстро поднялся с полу — нет, не сон, — быстро подошел к по-
стельнику и, нагнувшись, стал шарить спички.

У урядника погас огонь и захлопнулась плотно дверь. Оттуда
слышалась не то ругань, не то смех.

Доктор зажег лампу. Руки его дрожали. Взгляд стал диким,
растерянным, а мускул над глазом запрыгал. Он налил в чайный
стакан коньяку и жадно, залпом, выпил.

«Нет, не сон...»

Была глухая ночь. Хмель нахрапом вползал в его голову.
Заскакали мысли, перепутались, как испуганное стадо баранов,
и бросились врассыпную. Чувствовал он, как уползает из-под ног
почва, как все горит и стонет у него в душе. Тяжко сделалось.

Время шло. Лампа давно погасла, копоть от тлеющего фитиля висела над столом черным угаром, а сквозь окна глядела луна.

— Эй, ты, господин торгующий... купец!— говорил доктор пьяным голосом.— Тарантас этакий, а? Слышишь? Храпишь? Ну, черт с тобой, спи. Н-нда-а... Болотина-то, грязь-то какая. Ай-яй-яй-яй-яй... Ай-яй-яй-яй-яй... Бррр! Где тут гармония, красота? Вдруг урядник... и Дуня. Ходячее пузо какое-то... и алый полевой цветок. А? Нет, ты посуди, Аршин Иваныч, прав я или не прав? Дурак я, слюнтяй, интеллигент, мечтатель, кисель паршивый! Вот кто я...

Доктор приподнялся с лавки, взъерошил волосы, вытаращил глаза и закричал:

— Эй, вы, красивые... двое! Заперлись?

В комнате урядника примолкли, притаились, умерли.

— За что ж ты мне в душу-то харкнула? А? Ведь ты кто? Знаешь, ты кто? Змея!..— стал кричать, топая ногами, доктор.

Во тьме что-то зачавкало, всхлипнуло, зашипело, и раздался голос купца:

— Вы с кем это рассуждение имеете?

Доктор удивился звуку голоса, но встал, побрел, еле держась на ногах, к купцу и упал возле него на колени. Целовал его, плакал горько пьяными слезами, жаловался:

— Где же правда, где? Вдруг Дуня — и на коленях у борова. А?.. Зачем обещать тогда? А ведь так клялась...

— Да-а-а, воп оно что. Хе-хе-хе. Так-так-так. На то и щука в море. Вот те и чистая! Ха-ха! Ловко. Вот те и краля!

Доктор, покачиваясь, стоял на коленях и грозно тряс кулаком:

— У-ух ты мне! Куроцап! Убью!!

— Смотри, отскочите...— иронически заметил купец и продолжал зевая:— А ты вот лучше высморкайся да ложись спать с богом. Ишь ночь...

Он еще раз зевнул, перекрестил рот и, перевернувшись, добавил.

— Она даром что Авдокея Ивановна, а умная, стерва: где пообедаст, туда и ужинать идет.

Сказал и через минуту захрапел.

Слышно было, как во дворе раздавались деловитые голоса, бубенцы побрякивали, тяжелые сапоги топали по сенцам и ступеням крыльца, отворялась и затворялась наружная дверь.

Заскрипели ворота, рванули кони, колеса затараторили.

— С бого-о-ом!

Тявкнула спросонок собака, опять заскрипели и хлопнули ворота, побродил кто-то по двору, и все стихло.

Час прошел, томительный и длинный, наполненный вздохами, бессвязным бормотанием, затаенным ночным шорохом: должно быть, черти бродили по избе.

Луна еще не ушла с неба, но конец ночи близок.

— Барин, а барин,— еле слышно позвала нежданно Дуня.

Она стояла среди комнаты, трепетно-белая, охваченная снопом лунных лучей.

— Желанный...

Доктор застонал, открыл глаза и зло перевернулся лицом вниз.

Дуня стоит над ним, что-то причитает и вся дрожит, как в непогоду дерево.

— Слушай-ка... Не серчай...— льется нежный, молящий голос.— Ты разбери только по косточкам жизнь-то мою, разбери, выведай. Не серчай, ради господи.

— Тебе что надо?— повернув к ней голову, крикнул доктор.— Тебе, собственно, что от меня требуется?— и опять уткнулся в подушку.

Прошла длительная жуткая минута. Дуня несмело опустилась возле него на колени.

— Ах, милый, рассуди: ведь смерть, прямо смерть от него, от лиходея, от урядника-то... Муж бил, вот как бил, житья не было; забрали на войну, обрадовалась — хошь отдохну. Тот черт-то привязался, урядник-то... запугал, угрозил: «убью!» — кричит, а защитить некому — одна. Ну и взяла... А все ждала, сколько свечей богородице переставила; вот, думала, найдется человек, вот пожалеет. Пришел ты, приласкал, такой хороший... аж сердце запрыгало во мне, одурела с радости. А с ним, с аспидом, развязалась, отвела глаза, успокоила,— убил бы. Понял? Вот, бери теперича... Возьмешь?

Затаив дыхание она робко ожидала...

— Возьму... Эх, ты...

Пала рядом с ним; отталкивал, гнал, корил обидными словами, а сумела остаться возле, впиалась дрожащими теплыми губами в его лицо, замутила голову, всколыхнула хмельную кровь.

— Ах, желанный мой! Люблю!— восторгом, неподдельной радостью звучала ее речь: ждала, насторожившись,— вот скажет, вот обрадует.

— Убирайся ко всем чертям!— после минутного раздумья презрительно и желчно бросил доктор.— Марш отсюда!

— Только-то?

— Марш!!

— Стой, кто тут?— прохрипел купец.— Ты, Дуняха?— Он быстро приподнялся, зашарил-замахал в полутьме рукам и, сидя

на полу, шутливым голосом покрикивал:— Давай-ка, давай ее сюда! Хе!..

И слышно было, как Дуня, поспешно удаляясь, ступала босыми ногами, скрипнула дверью и там, за стеной, не то захохотала, не то заплакала в голос, как над покойником бабы.

— А ты, доктор, дурак!— сказал, опять повалившись, купец.

Но доктор лежал, свернувшись клубком, с головой закрывшись одеялом, и, как смертельно раненный, мучительно стонал.

На рассвете для доктора стали запрягать лошадей.

Заложив за спину руки, он торопливо ходил по двору, хмурый и сосредоточенный, в сером, перехваченном кушаком, бешмете и высокой папахе.

А кругом суетились, закручивали лошадям хвосты, подбрасывали в задок сено, укрепляли веревками вещи.

Доктор проворно вскочил в тарантас, забился в угол и закрыл глаза.

— Трогай со Христом!— приказал чей-то стариковский голос.

Четко ступая по бревенчатому настилу, шагом пошли к воротам кони.

Когда на улице проезжали мимо окон земской, ямщик-подросток, вздохнув, сказал:

— Эк, Дунька-то как воет... Чу!— и враждебно взглянул на седока.

Доктор вздрогнул, открыл глаза. Больно, мучительно больно... Мерзко... Он высунул было голову, но ямщик гикнул, лошади рванули, понесли.

— Точка,— растерянно прошептал доктор, вновь забился в угол и крепко сомкнул усталые, полные грусти, глаза.

Тихо снег падал, первый осенний снег — гость небесный. Еще дремал воздух, дремотно падали снежинки, все дремало, и бубенцы с колокольцами тихо звякали, зябко вздрагивая на холоде.

На доктора валился сон. Засыпая, он грезил о том, как зима придет с метелями и морозом, и все уснет в природе под белой теплой шубой. Но пролетит на легких крыльях время, и вновь наступит молодая, нарядная весна с ковром цветов, ликующим хороводом птиц. И опять длинными колеблющимися треугольниками полетят с юга, но с новыми вольными песнями, радостно перекликаясь, журавли.

ЧУЙСКИЕ БЫЛИ

Эх, да как стегнула по Алтаю Чуя, священная река. Белые стоят на горизонте горы, все в вечных снегах, Чуйские Альпы, земли надгробие. В них родится Чуя, священная река.

Сначала степью течет она: ни лесу здесь нет, ни сочных трав. Зато отсюда ближе небо, ярче звезды, чище, прозрачней воздух.

Вся степь, во времена минувшие, до самых горных маковок была водой залита: века веков плескалось здесь озеро голубой волной. И стерегли это озеро каменные витязи, Чуйские Альпы, богатыри алтайские, плечо в плечо стояли каменной стеной.

Но не удозорили, не усмотрели: обмануло их озеро, убаюкала их зыбун-волна, уснули крепко. А вода прорвала себе ход, проточила горы и хлынула.

Гул пошел по Алтаю, земля затряслась, осыпались камни. Широко волна хлещет, опрокидывает скалы, грохочет и стонет и мчится вдаль бешеным потоком.

Это Чуя, рожденная в снегах, горами плененная, вырвалась на волю и понеслась меж расступившихся в страхе Алтайских гор.

А озеро обсохло, и дно его превратилось в песчаную Чуйскую степь.

Так стародревняя быль говорит.

На Чуйской степи есть маленький русский поселок Кош-Агач. Такой маленький, что с гор, обнявших степь каменным кольцом, его и не приметить.

Через Кош-Агач Чуйский тракт идет. Узкой тропой соединил он сибирской город Бийск с монгольским — Кобдо.

Весь бы этот тракт серебром можно вымостить да золотом, что загребли-захапали купцы у алтайцев и монголов.

Весь бы тракт можно слезами залить, что сочились из узких глаз полудиких, с чистой душой кочевников; такой большой оби-

дой и горем наделил их русский неистовый, алчный хищник. Так говорит про купцов недавняя быль. Бурным шумом шумит, шорохом шелковым... Эй, подожди, Чуя, вода холодная! Куда бежишь, куда по камням вскачь мчишься? Стой, Чуя, стой! Расскажи нам вчерашние и сегодняшние были свои.

І. ЗЕРКАЛЬЦЕ

Зеркальце как зеркальце. Маленькое, круглое, цена ему — пятак.

Купец их с дюжину привез в горную степь. Давно дело было, в этот заброшенный край еще никто зеркал не важивал.

Думает купец:

«Надо калмыкам продать, надо калмыков нагреть. Греха тут нету: калмык не человек, — зверь, и душа у него, как у пса, — пар. Зверь и зверь».

Едет купец в гости к своему другу, калмыку Аргамаю, которого не раз надувал.

Вечером приехал, к огоньку. Аргамай в юрте сидит толстый, сильный. Один у камелька сидит, баранью кость гложет и мурлычет песню о том, как он завтра на заре будет кочевать к снегам, где такие вкусные сочные травы — сласть скоту.

— Эзень! — поздоровался купец.

— Эзень, эзень! — откликнулся Аргамай, всматриваясь в пришедшего.

— А-а-а... Эвон кто! Друг... — радостно вскрикнул и уступил гостю свое место.

У костра засуетился, — огонь ярче вспыхнул, — полбарана положил в котел, чай по-калмыцки готовить начал: с молоком, жареным ячменем и солью.

— Баб нету... Один больной, другой в гости укатил к отцу.

— Нет ли арачки?

— Бар, бар... — и подал в турсуке самодельную из молока водку.

Сидят, беседуют. Огонек весело горит. Арачка вкусная, теплая, по жилам загуляла, в мозг ударила, дала волю языку.

Калмык смеется, и купец смеется, по плечу Аргамая похлопывает, лстивые речи говорит:

— Ни у кого таких коней нет, как у тебя. Самые лучшие быки у тебя. Самые лучшие бараны у тебя. Ты богатый. Жена у тебя красивая.

Говорит, арачку пьет, баранину ест.

Аргамаю любо, слушает, смеется и, чтобы не остаться в долгу, говорит гостю:

— Ты самый хороший есть. Самый верный... Друг...

Вспомнил купец про зеркальце.

Думает:

«Надо подарить. Убыток небольшой — пятак».

Достал, показывает.

— На-ка, поглядись.

Смотрит Аргамай пристально. Приковало его зеркало.

— Это кто?

— Да ты...

— Как я?! Это шайтан!

— Нет, ты...

Молчит, еще пристальней всматривается, недоверчиво на купца смотрит, говорит ему:

— Чего врешь?! Нету!.. Шуба-то моя, а рожа сроду не видал, не знаю!..

Купец блаженно улыбается, а калмык от нетерпенья заерзал по войлоку, руки дрожат, крепко уцепились за волшебное зеркало. Сроду такой чудесной штуки калмык не видывал.

— Да ты надень шапку-то... Видишь?.. Ты!..

Смотрит калмык — его шапка в зеркале, косу смотрит — его коса, с ленточкой, бородавка на носу его, — ущупал...

— Ха-ха-ха!.. Продай... Делай милость, продай!

А купец совсем обмяк, радость другу своему доставить хочет, говорит.

— Да я тебе его...

— Делай милость, продай... Сколько хочешь возьми!..

И вдруг купеческая душа в подлую алчность покатилась.

— Нельзя... — чуть дрогнув голосом, сказал купец.

— Возьми быка... Ребятам, бабам казать буду... Ха-ха-ха... Пусть смотрят рожам...

— Нет, нельзя, — твердо купец сказал и легонько зеркальце к себе тянет.

Аргамай не дает...

— Два быка, три быка!.. Хороших!..

— Что ты, я сам дороже заплатил... В Москве добыл... Знаешь, слышал?

Чуть не плачет Аргамай, большой ребенок:

— Возьми четыре быка... Пожалуйста, возьми, друг!..

— Пойдем быков ловить, — жадно сказал купец.

Аргамай смеется плутовато, зеркальце подальше прячет, на купца с опаской смотрит, не продешевил ли тот, не отобрал бы...

Ласково ему говорит тонким своим голосом.

— Ты самый хороший есть... Самый верный... Друг...

Поздно ночью возвращался к себе в стан пьяный купец. И, выписывая в седле опьяневшим туловищем мыслете, весело вслух думал:

— Он на то и калмык, чтобы его учить. На то он и татарская лопатка,

II. ЧАСЫ

Жил-был ласковый торгаш с мышиными глазами. Он такой хитрый, что любого шайтана мог трижды перехитрить.

Плут.

Приезжает к нему старый киргиз Юсуп.

Посидел, покалякал, кое-что купил.

А торгаш только что свежий товар из города, из Руси получил.

— Купи часы...

Взял киргиз в руки часы, полюбовался ими, языком прищелкнул:

— Живой... Стукат...

— Купи!..

Вздыхнул Юсуп. Надо бы купить, — не себе, а сыну, доброму джигиту. Эх, надо бы купить.

— Я бы купил. Денег нет... Вот будут, куплю.

Не любил Юсуп в долги залезать.

Водкой купец угостил его, целый стакан подал:

— Пей!

Магометанская вера строгая: водку запрещает пить. Однако Юсуп с хорошим человеком маленько выпить может, греха таить нечего.

А водка злая, крепкая, рот обожгла, веселым туманом обложила сердце.

Еще стакан подал:

— Пей на здоровье!

Очень ласковый торгаш.

Попрощался Юсуп, сел на своего верблюда, поехал.

Степью ехал. Тихо было в степи. Лишь кузнечики неумолчно в траве трещали. Небо бледное, в бледных звездах — белых лебедях. Из-за снеговых хребтов подымалась луна.

Едет старый Юсуп, улыбается, с верблюдом разговор ведет и, пьяненький, начинает напевать:

— Вот месяц смотрит... Алла-алла... Круглый, зоркий, как глаза великого аллаха... Светит мне, светит верблюду...

Дальше едет... Тихо в степи... Кто-то навстречу скачет... Свой...

Проскакал джигит. На ходу кричит что-то, но Юсуп не слышит. В небо глядит, месяцу слезящими глазами подмигивает. Месяц щурится и ярче освещает степь.

Поет Юсуп:

— Месяц, месяц... Золотой мой месяц... Мне хорошо, я был бедняк, а вот выпил вина — богатый стал. Я старый, как в реке черный камень... Вот куплю часы... Урус часы привез... Я их куплю... Часы, часы... Гей, часы. Живые...

И он громко рассмеялся.

И зароились в его голове серебряные мысли, как те круглые, маленькие, блестящие часы, которые он видел у торговца. Их много, не пять, не десять, много. Он все их купит, все часы купит, он всем раздарит. Старой своей жене, молодой жене, да дочке... Сыну, джигиту, трое часов повесит, себе целый десяток... Ха-ха... Пусть тикают, пусть вертят стрелками. Это больно хорошо... Он верблюду часы подарит, он быку подарит. Пусть и бык при часах ходит... Хе-хе...

Вдруг слышит: застонала степь. Дробный топот по степи звучит, отчетливый и быстрый. То кони скачут, бьют копытом землю, гудит земля.

«Ага, свои...» — думает Юсуп.

Весело Юсупу. Огоньком вино по жилам бродит.

«Остановиться надо. Потолковать надо...»

Нагоняют. Купец. С ним люди...

— У меня, друг, часы пропали... Которые ты в руках держал...

«Пропали так пропали... Ха-ха... Эка штука. При чем же тут Юсуп?»

— Я не брал,— говорит он, улыбаясь старым своим бронзовым лицом.— Пусть аллах меня с коня столкнет, когда я над пропастью поеду. Я не брал...

Ласково торгош отвечает:

— Да мы знаем, что не брал. Вот я с понатыми еду, всех обыскиваем... Вас много в лавке было...

— Ищи, пожалуйста, ищи!

Верблюда посохом по ногам слегка ударил, опустил верблюда на колени. Юсуп слез и с готовностью подошел к купцу, раскорячивая по-пьяному ноги. Глаза черные, лучистые, открыто на купца глядят. Лицо добродушное, доверчивое, бороденка хохолком — дрожит.

— Пожалуйста, ищи. Не брал...

Стали обыскивать. Халат расстегнули... И вдруг...

— Ой, алла, алла!..— за пазухой часы.

У киргиза глаза широкие, рот открылся, замер киргиз...

И, схватившись за голову, закричал упавшим, рвущимся голо-
сом:

— Вой-вой-вой!.. Не брал!..

Торгаш на всю степь взревел:

— Ребята, вяжи!.. В тюрьму его!..

Вмиг месяц колесом по небу завертелся и упал, серебряными
нитками осыпались звезды, небо почернело, всколыхнулась под
ногами степь.

Бросился Юсуп на колени, скривил свой старый рот и заску-
лил жалобно. И не знал, не видел из-за слез, куда ползти, кого
молить, где торгаш, ласковый его друг.

— Ой, не надо тюрьма... Ради бога, не делай... Ради бога...
Чего хочешь, проси...

Взял купец верблюда, велел пригнать на заре трех лучших
игреневых жеребцов. И с честью возвратился восвояси.

III. ТАВРО

Купец Неправедный, рода крестьянского, в молодости пасту-
хом был, из Монголии гонял хозяину овец.

— Я умный,— хвастался он,— богатым буду обязательно.

И верно. Разбогател — распыхался вскорости.

Народ говорил про него:

— У этого рука не дрогнет. Он крест сбросил, а совесть-то
пяткой притоптал.

И задумал он в Кобдо ехать, там орудовать.

Приехал, лавочку открыл, руки загребушие расставил, хайло
свое, рот щучий открыл широко.

Но рыба ловилась все мелкая, осетры к другим торговцам ply-
ли, и ему стало завидно.

— Это что за дела,— как-то сказал он в Иркутске, в клубе,
сидя в компании купцов,— вот кого ежели б по башке шкворнем
съездить да капиталом завладеть.

Купцы возмутились:

— Негодяй!!— И немедленно спустили его с лестницы.

Почти в одно время с купцом Неправедным поселился в Мон-
голии, в городе Кобдо, тихий монгол Раптан, торговый человек.
Он старик, ему восьмой десяток идет. У него три сына, два внука.
Все вместе торгуют, одним живут домом.

Раптан старик хороший, норовит по правде торговать.

Подружился он с Неправедным, в гости ходит, к себе прини-
мает,

Неправедный тихоней прикинулся, ласково обращается с монголом и со всей его семьей. Дружба завязалась тесная.

Говорит как-то Раптан другу:

— У меня душа не на месте. Я из Китая удрал, кредиторам много должен. Как Большой Кулак бушевал в Китае, у меня три магазина разграбили. Я и удрал сюда. Вот расторговался.

Год за годом протекли, десять лет прошло. В дугу согнуло время старого монгола, плохо видеть стал, плохо слышать стал, и день и ночь богу молится, готовит себя к смерти.

А друга своего первого, русского купца Неправедного, не забывает: и у него гостит, и к себе часто зовет, угощает его, подарки делает — то коров пригонит, то бегунца саврасого подарит, то пришлет купеческой жене куска два китайской чесучи.

Живет старик спокойно, прежние кредиторы потеряли его след, все пути к нему поросли бурьяном.

И вдруг напасть... Из Китая беда идет, нищету тащит за собой на веревочке.

Пришел к старому Раптану монгол и говорит:

— Ой, Раптан, берегись. Тебя ищут, тебя завтра схватят, все возьмут: чиновник в очках из Китая едет долг с тебя получать.

Раптан не сразу понял: и раз и другой переспросил гонца. А как понял, — зашатался, на пол сел, в глазах темный песок, в груди льды идут.

— Я никому не должен. Я им был должен, трем купцам. Но у меня все разграбил Большой Кулак. Пусть с грабителей ищут, пусть с правительства требуют. Я не должен.

И мрачный, опираясь на костыль, побрел к своему другу купцу Неправедному.

Пришел и тихим, старческим голосом говорит ему:

— Вот ты умный, все законы знаешь, все порядки знаешь... Ты добрый, ты друг. Научи, что делать. Защити.

Еще что-то сказать хотел, но запрыгали губы, пропали все слова, слезы полились. Лицо застыло, потеряло жизнь. Слезы льются из запавших черных глаз, а лицо спокойно. Голова низко опущена.

Страшно сделалось купцу, жалость большая родилась в сердце.

Говорит купец:

— А очень просто... И ни черта не получают...

Поднял старик голову:

— А как, друг?

Купец по комнате похаживал, красную бороду утюжил, что-то обдумывал.

— У тебя сколько голов скота?

— Верблюдов сто, быков две тысячи, лошадей с лишним тысяча, овцам счету нет... Забыл...

Сел купец, цепочкой играет на толстом животе, на лбу пот выступил: жарко.

— А очень просто!— крикнул он, хлопнув монгола по плечу.— Слушай!— глаза пошли искрами.

Монгол рот разинул, благоговейно руки сложил: вот мудрость божия польется из уст купца.

— Сейчас же клади на весь свой скот мое тавро, мою метку. А на подмогу я приказчиков пошлю, к утру все оборудуют.

— Так-так...— кивает головой монгол.

— И скажешь, что скот не твой, а мой...

— Так-так...

— А сколько у тебя товару?

— Тысяч на двести серебром.

— Скажи, что и товар не твой, а мой... Я завтра для отвода глаз и в лавку твою сяду. А ты мне вексель выдай на двести тысяч серебром. Понял?.. Так чиновник и уедет несолоно хлебавши,— поговорка у нас, русских, такая есть... А я тебе все потом верну. Не сомневайся...

Старик встал, опираясь на костыль, низко-низко купцу поклонился:

— Мы тебе верим... Мы тебе верим, друг, Вап Ваныч...

Прошло два дня, томительных и длинных.

У стариков время быстро летит: день за днем, неделя за неделей,— глядь, и год прокатил.

Но эти два дня старому монголу показались вечностью. Душа начеку была, вся преображенная, насторожившаяся до предела: словно старик переходил по тонкой жердочке чрез пропасть, а жердочка гнется — вот-вот слетишь... Ему и по земле-то ходить горе, а тут приказано идти по тропинке зыбкой.

Жутко старику.

И началась у него новая жизнь: вышел в поле, с пастухами своими живет, свой скот, меченный новым тавром купца, караулит.

А купец в его лавке сидит, торговлю ведет, ждет китайского, в очках, чиновника. Три хозяйских Раптановых сына — вроде приказчиков, тут же в лавке, робкие, прихлопнутые горем, как капканом зайцы.

В полтретьем дне — хват!— обломилась жердочка.

Охнул старый монгол, затрясся весь: как волк перед овцой, вырос перед ним в желтой кофте чиновник.

— Я знаю, ты — Раптан, из-под Калгапа, ты торговый человек, большой должник. Ты богатый. Суд постановил взыскать с тебя долг.

Вдруг душа монгола выпрямилась, взмахнула крыльями.

Твердым голосом сказал монгол:

— Да, я Раптан, честный монгол, старик. Я был богат. Теперь я беден, как после стрижки овца.

— Что-о-о? — грозно протянул чиновник, — а это чье стадо?

— Это стадо хозяйское, русского купца. Поди, справься... Вот тавро его, иди, смотри. Весь скот его. Я служу в пастухах.

Удивился чиновник, сухие губы зло кусает, очки сорвал, опять надел, кашлянул и сердито повернулся так быстро, что шелковая коса его больнохватила старого монгола по лицу.

Потом чиновник бегал в лавку, бегал в дом к купцу Неправедному.

И ничего не получил.

Купец на славу угостил его тремя щами, тремя кашами — рисовой кашей с маслом, рисовой кашей с миндальным молоком, рисовой кашей с черной ягодкой.

Тремя наливкам поил самодельными, пахучими, прямо с погребка принесла сама хозяйка. Холодные наливки, а огоньком веселым окатили-обожгли китайское сердце. Китаец то плачет, то смеется. Ему жалко с русским купцом расстаться, уж очень хороший человек, жаль, жаль... Плачет китаец, разливается, очки уронил, подымать стал — упал, лопнули очки...

Купец с ним по-монгольски прекрасно говорит. Раптана ругает: «Мошенник!» — его, купца русского, тоже нагрел старый плут. Раптан выдал вексель на двести тысяч серебром, а в лавке его и на сто тысяч товару нет.

Говорит так, вексель китаецу в нос сует, а сам смешливо кричит по-русски жене:

— Ожарь-ка, Мавра, этой образине собачью ногу... Сlopает...

Так ни с чем китаец и уехал. Даже собственных очков лишился...

Месяц прошел, другой прошел, прокатился год.

Купец все время твердит Раптану:

— Ты ему не верь: он караулит. Они, китайцы, хитрые. Подкараулит, да все и отберет... Еще надо помедлить. Пока паси мое стадо, а я буду торговать...

— Это, друг, мое стадо...

— Ну, ладно, там видно будет.

Но сыновья и внуки роптать начали:

— Иди, проси купца. Теперь ничего, опасности нет. Поблагодари нашего друга, успокой, пусть о нас не заботится...

Надел старик свой новый синий шелковый халат, большие круглые очки надел, взял две ценных вазы, еще ларчик взял из слоновой кости, золотом и серебром его наполнил. Сына своего старшего захватил с собой.

Пошли.

И опять почудилось старому монголу, что он идет через пропасть по тонкой скользкой жердочке, а все небо закрыла желтая туча, и будто гром рокошет: «Как дойдет Раптан до пропасти, гряну молнией и поражу».

Говорит монгол сыну:

— Ох, что-то мне неможется. Возьми меня под руку — упаду. Кой-как пришли.

Старик отдышался и торжественно сказал купцу:

— Вот мы хотим благодарить нашего друга. Мы принесли тебе дары. Прими от нас дары, и да сохранит тебя бог со всем твоим домом.

И старик упал вместе с сыном купцу в ноги.

Принял купец дары, сказал:

— Спасибо...

Хозяйка унесла дары и заперла в кованый большущий сундук с тремя замками.

— Теперь, друг, позволь тебе напомнить о моем векселе. Ты забыл... Но это ничего, у тебя дел много, забыть легко. Вот мы просим тебя, верни...

Взвилась-вздыбилась купеческая мохнатая душа... Вылупил купец глаза, вобрал в грудь воздух побольше и, ткнув в дверь пальцем, гаркнул:

— Вон!! Вон!! Все мое — и скот и лавка! Вексель я протестовал... Все мое!! Вон!!

Часто-часто замигал старый монгол, торопливо попятился от своего друга, что-то хотел крикнуть, но, видно, пришел конец, взмахнул руками и грохнулся. Умер старик.

Осиротели дети и внуки Раптана.

То тот, то другой из них заходил к купцу Неправедному. Он их в дом уже не пускал, разговоры вел на крыльце.

— Мы, друг, думаем, что ты пошутил... Мы, друг, разорились. Нам нечего есть... У нас жены, дети, у нас старая мать... Пожа-лей.

Но купец и не думал жалеть: сердце его твердое.

Искали они правды — нет правды нигде. В суд подали — нет в судах правды, консулу чело били — правды не нашли,

Последний край пришел: целой гурьбой, все до единого, ввалилось во двор семейство старика Раптана и подняло гам, как на отлете птицы: бабы воют, плачут ребята, мужчины стоят суровые и молча ждут.

Вышел купец.

Все зараз закричали:

— У тебя камень, а не сердце. У тебя змея в груди. Ограбил. Ограбил. Ограбил... Не уйдем отсюда... Убивай!..

Купеческое сердце растаяло:

— Ну вот что, ребятушки. Мне вас жалко. Я вам работу дам... Кто помоложе, пусть мои стада пасет, жалованье положу хорошее... А вы трое будете у меня вроде возчиков: мой товар в Русь повезете.

Долго монголы плакали.

А купец в благоденствии до седых волос дожил. Денег невпроорот у него. Дела идут хорошо.

Он иногда любил похвастывать:

— У меня есть тридцать верблюдов. И ежели я все свои дела прикончу, все обменяю на серебро — дык мне на своих верблюдах этого серебра не вывезти в Русь, не упоместить... Вот как бог помог мне, царь небесный, батюшка.

IV. ЖИВЫЕ МЕШКИ

Еще недавно город Кобдо китайским был. Китайцы большую торговлю вели с монголами, большие магазины имели в Кобдо. Русские тоже торговали.

И вот между китайскими и монгольскими купцами завязалась однажды жестокая распря, войнишка началась, — чего-то не поделили торгаши: монголы стали китайцев колотить, жечь и грабить китайские товары.

Тяжелое настало для китайских купцов время.

К русским друзьям своим, к русским купцам обратились за помощью: купите наши товары за бесценок. Укройте нас.

Русские возрадовались.

Кровь рекой течет по улицам, дым клубится, раздаются вопли, гремят выстрелы — ад сошел на землю.

А русским любо. Русский купец шире расправляет свой карман, черным вороном кричит, зорко высматривает падаль.

Как-то ночью, весь в слезах, весь в страхе, прибегает к русскому купцу китаец.

Пал перед ним на колени, у ног ползает, сапоги смазные целует и не может слова сказать, языка лишился.

Купец знает, в чем дело. Купец ласковый.

Это его друг, богатый китаец Чанбо, миллионщик.

Подымает его с полу, усаживает в кресло, воды принес, папирску предложил.

— Ты что, друг?

Как грянет на улице пушка, как привскочит до потолка китайский купец, миллионщик Чанбо.

— Ой, друг... Пожалуйста, пойдем ко мне. Тебе бог поможет. Спаси, умоляю...

— Идем,— сказал купец и тяжело вздохнул.

Добрый был. Китайцы и монголы уважали его.

Истово на образа перекрестился, крикнул жене:

— Благословляй!

Молодая жена — в слезы.

— С нами бог,— сказал купец и быстро вышел с китайцем Чанбо на улицу.

Жена за ними:

— Степа! Не ходи... Пусть Чанбо у нас сидит...

— Пошла к ляду, дура!..— зло купец отвечает ей.— Торчи дома, карауль ребят... Нас не потрогают...

Чанбо по-русски немного понимает: выиграла душа его, на купца, как на святого, смотрит, в ноги ему бух, опять смазные сапоги целовать начал, купчихе кричит:

— Бабушка, бабушка!.. Пасибо...

И оба побежали дальше.

Тьма была. Только справа стояло зарево от горевшей башни. Слышались отдельные выстрелы. Издали доносилось тысячеголосое галденье китайских солдат.

— Много ваших войск-то?— прошептал купец.

— Много,— тихо ответил китаец.

— А чья возьмет?

— Пожалуй, нас перережут...

Китаец тащил купца за рукав. Во тьме наткнулись они на что-то, и оба упали.

— Это наши убитые,— прошептал китаец, захныкал и запричитал. А купец перекрестился. Опять пошли. Звуки крепи. В воздухе пахло дымом, порохом.

Навстречу попалась целая стая собак. Они выли, подлаивали, щелкали зубами, грызлись, невидимыми клубками катаясь по земле.

— Входи,— сказал китаец.

Они вошли в калитку глинобитной, выходившей на улицу стены. Фанза китайца, склады и лавки стояли в глубине огромного двора.

Вдруг китаец остановился. Остановился и купец. Замерли. Кто-то хрипит во тьме.

Китаец ухнул, завопил:

— Зарезали... Брата зарезали...

Но нет!.. Знакомый слышится зов:

— Чанбо! Чанбо!.. Иди скорей...

Бросился Чанбо своему юному брату на шею, а тот говорит цепенеющим от страха голосом:

— Двое врагов были. Мы с приказчиком отстреливались. Приказчика зарезали, ушли... Грозили вернуться. Я боюсь, Чанбо... Чу, как хрипит приказчик... Боюсь...

— Не бойся,— успокаивает купец,— при мне не имеют полного права тронуть...— Говорит так, а сам тоже не может зуб на зуб попасть.

Все трое вошли в фанзу. Огонь зажгли.

— Со мной не потрогают. Нам, русским, монголы заявили: кто боится — уходи за город. Кто не боится — сиди на месте: русским никакого худа не будет.

И не успел сказать, как шум на улице послышался, загалькали люди, близко где-то затрещали выстрелы.

— Идут!!

Заметались братья, не знают, что делать, куда укрыться.

— Полезайте на всякий случай в лавку, заройтесь в товар.

Но там одним китайцам страшно.

— Тогда айда в мешки! Мешки пустые есть?

— Есть.

Два больших мешка живо притащили, сели в них, купец прочно завязал каждый мешок и поставил в угол.

— Сидите смирно, скажу, что это мои мешки с верблюжьей шерстью. Только ни гугу. Не шевелись!..

А в сердце купца уже вступила соблазнительная алчность.

«Нет, нет...» — зло отмахивается купец.

Рев все ближе. Рядом. Отдельные выкрики ясно слышатся.

Купец выбегает с фонарем на крыльцо.

— Эй, что надо?!— кричит ворвавшимся во двор монголам.

Тех много. Факелы в руках. Возбужденные, в зверей обратившиеся, пьяные кровью, бегут шумной ватагой к крыльцу.

— Что надо?! Стой!!— нарочно по-русски кричит купец.

Бегут к крыльцу, галдят, сверкают большими ножами, ружья наготове, дубины подняты.

— Ты русский?— крикнул один из них, подбежав вплотную.

— А ты не видишь?— по-монгольски строго говорит купец. Растаял в сердце страх.

— Не видим... Темно... Где Чанбо?

— Нету.

— Врешь!

— Нет, не вру!!!— сердится купец.— Товар не смей поджигать: мой товар. Все купил я!.. Русский!.. Я!!!

Остановились.

— А то казаков кликну своих. Русских! Солдат!

— Мы тебя не тронем. Товар твой не тронем... Мы китайцев режем... У нас война... Где Чанбо с братом?..

И хлынули в дом. Купец за ними.

«Убей...» — соблазняет купца алчность.

Купец молчит, тяжело дышит... Лоб холодным потом покрылся, замирает сердце.

Толпа по закоулкам в лавке шнырит, в сундуки заглядывает, а на мешки внимания не обращает.

«Убей, убей. Все твое будет», — неотвязно мерещится купцу.

— Мое!..

Не то крик вырвался, не то зарницей мысль стегнула в ошале-лой голове купца.

«Война все простит, все покроет...»

Черный свой голос, задыхаясь, подает купец!

— Чанбо нет, брата его нет. Слышите?!

Обомлевшие китайцы, едва дыша, богу молятся, русского друга прославляют и радуются последнею своею страшной радостью.

— Слышите?! Чанбо нет, брата его нет: они далеко убежали...

А сам мигнул монголам и предал китайцев твердым жестом недрогнувшей руки.

Два кривых ножа сверкнули, два ножа кровью обагрились... Не стало братьев.

А купец?

Купец всю эту ночь, как ушли монголы, на верблюдах китайский товар к себе возил. Весь следующий день возил. Всю неделю возил.

Он молчал, ни с кем не говорил, только рукой указывал. Как кончил с товаром, пить стал.

V. ГНУС

Был купец, по прозвищу Гнус.

Лицом курносый, борода лопатой, глаза яблоками, на лоб вылезли, наглые. Корпусом толст, голосом зычен: как гаркнет в поле — лошади шарахались в стороны.

А удаль в нем степная, дикая: скакать бы ему на бешеном коне по полю, глушить бы проезжих с товарами ямщиков, чиновников, купцов.

Да так оно и было.

Ведь черт его знает! Ведь горы золота нажил человек, а любил, бывало, пошалить темной ночью с лихими киргизами, друзьями своими, побарантачить. Видно, кровь в сердце кипучая была. Подобрал себе шайку отпетых и стал с ними по горам гулять. Удали через край в Гнусе, а скупость сказочная. Несколько лавок у него. Весь округ должен ему.

Долги собирал он натурою: возьмет у калмыка телят двадцать за долг, за какие-нибудь двадцать кирпичей чаю, по рублю кирпич, да и скажет ему:

— Ты, друг, оставь телят-то у себя. Где их буду пасти, у меня земли нету.

Калмык пасет их год, и другой, и третий. А потерять или продать — не смеет: телята все купеческим, Гнуса, клеймом мечены.

На третий год посылает Гнус подручного и берет своих трехлетних быков.

А калмык по простоте душевной думает:

«Все верно, все так... Теленок был, бог растил — бык стал...»

Как-то монгол задолжал Гнусу целковый. Хорошую у него трубку купил. Монголу без трубки нельзя, как красавице без румян. Бедный, неимущий монгол.

Гнус сказал:

— Вернешь мне через год за целковый пять шкур сурка: процент на тебя накладываю.

Монгол с процентом очень хорошо знаком: монголы купцами обучены, процент вот где у них сидит, ради процента — чтоб его шайтан съел, — все они и бедные, и живут по горло в долгах, в кабале вечной.

И случилось так, что у монгола не оказалось к концу года лишних шкур: на сторону продал, повинности справил, семью кормил в голодный год. Уплатил всего две шкуры.

— На будущий год уплатишь мне две овцы и три шкуры. Процент накладываю.

Монгол отлично понимает, что такое процент, тяжело вздохнул монгол, но делать нечего.

Вот и второй год кончается. Дела еще хуже идут. Одну овцу притащил.

— Теперь ты будешь должен мне годовалого бычка и пять овец. Теперь все дорого, доставка дорогая. Большой процент накладываю.

До пяти быков дошло дело, до пяти верблюдов. А каждый верблюд сотню рублей стоит.

И век бы сидеть в неоплатных долгах монголу, да догадался, умер. Процент сгубил молодца.

А и всего-то трубку купил, вещь малую.

Но были случаи и почернее.

Лихие молодцы киргизы. Но и Гнус охулки на руку не положит.

Завел себе весь наряд киргизский: малахай бархатный с лисьей выпушкой сделал, чатпор березовый вырезал — такую палку, с корневищем на конце, трахнешь по голове — череп, как арбуз спелый, разлетается! А конь у Гнуса — черту брат: ветер ни по чем ему: что ветер! — стрелу певучую обогнать может. Гнус атаманом стал.

И никто об этом не догадывался. Только ночь темная, да широкая степь, да горы знали. Да еще те, несчастные... Но те слова не вымолвят, немую жалобу с собой уносят в землю.

Надумал Гнус караван с серебром обобратить: серебра в Монголию идет много, в слитках, серебро там ценится.

Издалека начал выслеживать Гнус, за границу проводил в Монголию. Там степь, жилья нету, кричи сколько хочешь, плачь, умолай — степь все выслушает скорбно, но защиты не даст.

Идет караван степью и не чует беды. А беда по пятам крадется, жметя у гор, серая, как серый щебень-курум.

Идет караван ходко, но и солнце не дремлет, книзу катится, вот-вот сядет на сизые хребты. Караван торопится: в степи воды мало, надо у речки ночевать, а до речки десять верст.

Как пал сумрак, говор речки слышался. И люди и лошади обрадовались: отдых.

Не успели еще коней выпрячь — вихрем налетела шайка... Арканы в ход пошли, руки ямщикам вязать начали, конвойных смяли, — много ли их, всего три человека. Один сопротивляться стал...

И быть бы злу великому, но кто-то помешал: то ли казаки из Кобдо в Кош-Агач почту везли, то ли знакомый купец ехал — гикнул Гнус, и вся его ватага умчалась в горы.

«Сорвалось», — сердито думает Гнус, губы себе в кровь кусал, коня взмылил и долго, ругаясь, грозил кулаком золотому огоньку, что робко замигал у речки.

Этим дело не кончилось. Начальство узнало, кликнуло клич.

— Ребята! Кто желает разбойников ловить? Кто хочет получить награду? Шаг вперед!

Выискалось двадцать пять казаков, двадцать пять отпетых голов. Снарядились, поехали чуть свет в путь-дорогу с казацкой

песней, с бубнами. Лихо кони мчат, лихо скачут: степь ровная, с гор прохладой веет.

К горам подъехали казаки, в балку заглянули — пусто, в долину речки заглянули — нет следов, дальше поехали, песни не поются, смолкли бубны. Тихо едут, слова не проронят: как бы не спугнуть врага.

Вот и дню конец, а казаки еще и привала не делали, утомились, по сухарям соскучились; лошади похрамывают, корму просят.

Остановились на ночлег.

Гроза надвигалась. Сумрак наполнил степь, скрыл горы. Вдали безмолвно играла молния: вспыхнет там где-то за хребтами, потрепещет над вдруг всплывшими из мрака вершинами и тихо погаснет.

— Дождь будет,— сказали казаки и быстро палатки раскинули.

— Гроза идет,— сказали казаки, поужинали, чаю кирпичного напились и завалились спать.

Гроза надвигалась.

Две грозы надвигались на казаков. Светлая гроза, с молнией и ливнем. Черная гроза — Гнус, душа коварная.

Карауль, сторожевой казак, карауль!.. Черная гроза — опасная.

Сторожевой казак, Петр Байкалов, боится небесной грозы, его громом в детстве еще оглушило. Стоит Байкалов, молитву шепчет, виптовку дрожащей рукой поглаживает, собирается старшего будить. А старший злой: Байкалов и его боится, и грозы боится, не знает, как быть.

Гроза надвигается быстро, ветерок впереди нее идет, размещает степную дорогу, вольную.

Байкалов к самой палатке подошел, а войти не смеет. На небо опасливо смотрит, как бы оттуда стрелой гремучей не пустили. Небо огнем кроется, вздрагивает казак, крестится:

— Свят, свят, свят.

Гром глухо стучит и рассыпается по горам горохом.

Тьма. Ветер травой шуршит, ветер палатку треплет, стал накрапывать дождь.

Тьма густая, предательская. И ничего-то в ней не видать, ничего-то в ней не слышать: лишь сухая трава шуршит.

Эй, смотри, казак!.. Как блеснет молния — смотри!

Товарищи храпят, пуще всех старший храпит и что-то во сне бормочет. И чувствует казак, две грозы идут; вторую, черную, сердцем чувствует, защемило сердце тоской...

Крестится казак:

— Господи, спаси... Чего-то чижало...

В небе молния золотой веревочкой с краю в край стегнула, засияла степь, гром ударил близко... Байкалов проворно залез в палатку и с головой шинелью закрылся.

Эх, казак, казак...

Шорохи по степи ползут, много шорохов...

То не дождь ли льет-поливает, не град ли барабанит по земле?

Нет, не дождь... Нет, не град...

Шорохи крепче, сильнее. Это смерть по равнине хлещет.

Две грозы грянули враз над казаками. Гроза огненная грохотом все заполнила... А черная гроза с лешевым гиком и посвистом мертвой лавой прочеслась: три тысячи бешеных коней во весь опор проскакали по спящим казацким телам.

Одну слякоть оставил от казаков Гнус, душа звериная.

Далеко стегнула по Алтаю Чуя, священная река!.. Бурлит по крутому склону, вся седая, вся косматая, яро камни точит, грозит своим гневом человеку. Стой, Чуя, стой!.. Гляди — восход стал розовым... День идет, день идет, ночь кончилась... Еще немного — и твои волны запоют иные песни и будут сказывать новые были, светлые и радостные. Да не повторится прошлое, да не затмит оно грядущего дня. Эй, останови, Чуя, гнев свой, не точи яро камни... Милости, Чуя, священная река, больше милости!

ВАНЬКА ХЛЮСТ

I

Угрюмая, необъятная, страхи таящая в себе, тайга дремала.

Где-то, за далекой горой, еще блуждал луч солнца, а тьма уже проснулась в трещинах, поползла неслышно из берлог, распласталась по влажному седому мху, нетерпеливо дожидаясь, пока погаснут жемчужные облака. Тишина была чуткая такая, выжидающая.

«Гу-гу-у... Хо-хо-хо!»

Вздрагнула тайга, насторожилась. Но меркли вверху облака, приподнималась тьма выше, баюкала тайгу и навевала ей сны. Дремала тайга. Еще не успели укрепнуть робкие и неуверенные огоньки звезд, а тайга до краев уж захлебнулась тьмою, хлынувшей к померкшим небесам.

Тайга заснула.

Кто-то ходит во тьме. Смеется тихо. Там, на пригорочке, большой костер горит. А возле него — двое.

Костер тихо потрескивает, языки пламени задорно и весело лижут тьму.

Дед Григорий — восемьдесят лет скоро — кряхтит у костра, греется: износились с годами кровь, похолодела. Лицо у него грубое, с лохматой белой бородой, но в глазах блестит что-то такое хорошее, теплое — словно он открыл неведомые, простые и великие тайны. Хмурит густые брови, а на устах радость. В глазах небеса, а душа все еще по земле ползает.

Говорит дед медленно, густым и хриплым голосом, и в его рассказе всегда смешок слышится — старик веселый.

Еще у костра, притулившись к деду, сидит внук его — хороший, лет шести паренек Тимша.

Да еще две собачки: Жучка с Верным. Жучка молоденькая, как смола черная, юлит возле Верного. Верный лежит смирно, морду на лапы положил и умными глазами смотрит в лицо деда. Когда дед весел, и пес весел, но чуть затоскует старик, вздохнет и Верный.

Тимша с белыми, в скобу подрубленными волосами, остроносенький, с живыми серыми глазенками, и когда смеется, глаза превращаются в узенькие щелки с лучистыми, как у старика, морщинками. На вид он щупленький, бледный. Сидит съежившись, посматривая на деда, чего-то ждет. Тот гладит его большой корявой лапой по шапке и ласково говорит:

— Ох, и лютой же ты, Тимша, сказки слушать...

Мальчонка ерзает радостно и настораживается.

— А ты, дедушка, ну-ка скажи, слышь, про тигру-то...

— Хе-хе... Эвона чо... Ну — ладно, коли так...

Дед толкает в костер смоляной пень, огонь жадно набрасывается на новую пищу и стрижет ее неугомонно острыми пожарами своих языков.

— Дык про тигру?.. Ладно-о-о...

Дед много знает забавных рассказов, ласково-грубых, по-таежному красивых: весь свой век в тайге прожил, но сейчас нарочно медлит, посматривая ссыска на внука, а тот весь нетерпением пышет, как струна вытянулся слухом, ждет...

— Забежала раз к нам тигра из Монголии. Это лет с пятьдесят тому, как не боле. Три волости, парнище, сбили, чтобы, значит, препону ей положить. Вот ладно. Окружили мы ее, черта, а она промеж нас так вот и сигат, так вот тебе и сигат...

— Сигат?

— У-у-у... Как молянья. Одному по рыле хвостом съездила, сразу салазки на сторону своротила... Вот, брат, кака силища... Зверюга самая душевредная...

Тимша слушает разиня рот и вытаращив глаза от удивления, а дед улыбается и хриплым басом говорит дальше.

И когда дед, увлекаясь, хватает через край, испуганное лицо Тимши вдруг покрывается смехом, и он, фыркая в рукав, машет на деда рукой и вскрикивает:

— Ври-ка больше!..

Тогда дед на полуслове смолкает, зло смотрит на внука, а потом нахлобучивает ему проворно по самые уши шапку, и оба враз заливаются смехом...

В темноте, направо, то всхлипывая, то пересмехая кого-то, гуторит тихо таежная речка: хоть поздно, — давно спустился с неба сумрак, — а сон не берет ее...

И вдруг там раздалась песня... Высокий голос, весь тоска в

слезы, жаловался на что-то звездам, укорял кого-то... Это Ванька Хлюст, бродяга, что вчера пристал к деду, как затерявшаяся собачонка.

Послышался хруст валежника, шорох ветвей все ближе да ближе: то Ванька Хлюст продирается сквозь заросль тайги. Вот вынырнул: не идет, а скачет торопливо, подпираясь толстым батогом. Свет костра хлынул ему навстречу, и в трепетных лучах видно было, как Ванька, прискакивая, волочит правую ногу...

— Ну, паря, и мастерица же ты песни петь, — сказал Григорий, — за самое ты меня сердце взял...

— Это мы можем, — откликнулся Ванька, щуря от света глаза, и подал деду котелок:

— Настораживай-ка, благословясь, к огоньку: щерба знаменитая должна выйти...

Лицо у бродяги большое, корявое, ни усов, ни бороды нет, доброе, а из серых печальных глаз вдруг веселье брызнет, удаль какая-то. Расцветет ненадолго улыбка и завянет; огоньки лукавые заиграют в глазах, смехом заискрятся, но грусть вмиг погасит их и покроет лицо кручиной.

— Ну, калека ты моя, калека божия... садись-ка вот тут. Умаялся поди, сердешный?.. — участливо говорит старик.

Жучка вскочила, ластится; Верный подошел — обнюхал и, решив, что человек надежный, лег.

Ноги у Ваньки культяпые, сухие, в бродни обуты. Эх, и руки же у парня — беспалые, только на правой большой палец торчит, да и тот без ногтя. Левая рука в локте перевязана грязной тряпичей и веревками обмотана.

— Ну, што, не легче руке-то? — спросил дед.

Ванька глядит на него, — лицо печальное, — и нехотя говорит:

— Да што... ишь отгнила совсем. Разве это рука?.. Одно звание, что рука, мешает только, одна видимость. Весь сустав в локтю порешился, все головой погнило... На одних жилах, да вот еще на веревках держится. Вот размотаю сбрую-то, да как шаркну по дереву — и отлетит к чертовой матери... Ох, горе-горе...

Ванька одернул свою синюю, с белыми разводами, рубаху и почесал культяпкой длинную худую шею.

— Лет пять вот так... В Смоленском селе лег в больницу — там доктор пальцы резал мне, девять штук напрочь откатил, не усыплял, ничего... Режет, а я смотрю... «Ну и крепок, говорит, крестник, — крестником меня своим назвал, — терпленья, говорит, в тебе множество». — «Отнимите, говорю, и руку-то заодно». — «Нет, говорит, рука пройдет, лежи». Лежал я, лежал, а раночка-то вся шилом чкнуть. Потом доктор говорит: «Ну, брат, крестник, рука твоя так что неизлечима... Шабаш, брат...» Я опять: «От-

режьте, Христа ради». — «Не могу, перация трудная... Катай, как не то, в город...» Ха-ха... В го-о-род... Да нешто у нас, в тайге, до городу-то доскачешь? Чу-у-дак человек. В город!.. Пошел я прямо в тайгу. Пришел, пал на колени, реву: матушка — напитай, матушка — укрой!.. Не выдавай, тайга-кормилица, круглую сироту Хлюста Ваньку! Говорю так, а слезы ручьем-ручьём; торнул носом в мох, лежу, вою... И словно бы кто шепнул мне ласково, быдто приголубил меня. Не вижу, дедушка, а чувствую, стоит возле меня кто-то, утешает, — и башку от земли отодрать не смею. Слышу только, как в грудях радость ходуном заходила, быдто вода весной. Засиял я весь, приподнялся... Гляжу: бурундучишка стоит у кедра на задних лапках, смотрит на меня глазенками, а сам посвистывает. Захохотал я тут радостно, грожу ему: ах ты такой-сякой, бурундучок ты этакий милый мой... А он смотрит на меня бисером, да знай посвистывает... Э-эх!.. И вдруг не стало во мне, дедушка, ни печали, ничего земного прочего...

— А красно же говоришь ты, Ванюха...

— Ах, дедушка, дедушка... Ведь башка-то у меня умная, вот только досталась-то она дураку, — хы-ы... В тайге, брат, всему научишься...

— Нау-учишься... — недоверчиво кряхтит Григорий. — Где тут научишься-то, с кем?.. С медведем рази?

— И с ним... Я, отец, ране-то так жил: вот забреду на займку какую, выпрошу хлебца, Христа ради, да чайку, и айда... Заберешься куда-нибудь в отдаленье, на речонку и живешь там, как воевода: морды плетешь для рыбы, песни поешь. А черт ли? Мне ране-то весело жилось, ни о чем не думалось... И разговоры разговариваешь в тайге с кем придется: человека встретишь — с человеком, белка на сучке сидит — с ней... Нет никого — с деревом: и дерево, брат, выслушать да понять может. А то с тучкой либо с месяцем. Орешь ему: эй, месяц-батюшка! Вскочишь, подопреешься костылем, машешь рукой да орешь.

Замолк Ванька, и опять тихо стало. Только костер гуторил да над прогалиной, трепетно и робко мерцая, звезды караулили ночь. К ним, к звездам далеким, вспорхнул Ванька мыслью.

Но дед тут же стащил его на землю:

— А ты бы, паря, шел к нам на займку, тебе бы бабка руку-то попользовала... Ох и знатец старуха... Мало ли есть каких средств. Эвона со мной случай какой произошел, слушай-ка. Была одна красивая-раскрасивая девка, постоянный двор на приисках содерживала, только одна нога деревянная... С деревяшкой, а вольная была. Пришли как-то, в раз угадали, три мужа — ейные дружки, значит. Она видит, что с тремя-то не рассчитаться, шаст в сенцы, а там на полке стряхнин стоял, волков травить.

она возьми да и выпей. А я в те поры парнем был, работником жил у ней. Слышим, что-то схлопало... Прибежали, вот так раз! Лежит девка, хрипит, почернела и деревяшкой вертит.

— Вертит?

— Верти-и-ит... Страсти...

— Ха!.. Лловко,— хмуро вставил Ванька.

— Ну, ладно... А тут у нас на шестке масло разогретое коровье было, мы ей и вбьякали. Рот-от расщеперили да огромный ключище меж зубов от кладовой вставили, да и лили масло-то. Польем-польем, да подыдем на дыбы, да встряхнем... А потом на доску положили деваху-то, да в горячую печь и вбухали. И что б ты думал? Ведь ожила, шельма, оклемалась... Вишь, какие средства оказались... Вот оно што... А руку и подавно наладить можно... Кого тут!

Дед крикнул и исподлобья посмотрел на Ваньку.

— А и веселый же ты, дай бог, дед, ласковый...

— Хо-хо... Я-то?.. Я, брат, ничего, мастак на эти штуки... Артельный человек... Бывало, чего-нинабудь сколоколишь смешное, вот и смех... А где смех, там греха меньше, злобы... А вот еще со мной случай был, почище стряхнину... В аптеке я служил сторожем да вместо микстуры — просто попробовать хотел, побаловаться: сладкие другой раз бывают — взял да, не разобравши дела, серной кислоты ложку и царапнул... Дык у меня — хошь верь, хошь нет,— вот тебе Христос, вот... как у окаянного, изо рта и из носу дым повалил!..

Ванька ухмыльнулся, заерзал по земле и звонким голосом сказал:

— Ну и развеселый же у тебя, дед, характер...

II

Дед топчется у костра, хворост в огонь подбрасывает, котелок с ухой настораживает и думает: вот его, старика древнего, третьеводнись послал сын на соседнюю заимку, верст за пятьдесят,— что бы самому слетать, так нет!— просил коновала добыть для жеребчика. Тимшу взял, все повадней. Сели в лодочку, да благословясь и поплыли. А вечер, солнышко уж за лес падало — в тайге дни короткие,— глядь-поглядь: человек на берегу сидит, да таково ли жалобно поет песни, и дымок возле него вьется... Подъехали. Кто таков? Человек... Вижу, что не полено... Откедова? Бродяжка, Ванька Хлюст... Возьми, говорит, дедушка, ради господ... По народу, по слову человечьему я затосковался. Суется дед у костра, думает, любовно посматривает на бродяжку и говорит:

— Расскажи-ка, брат, сделай милость, как ты, не в огорченье будь сказано, изувечился-то?..

Ванька медлил. Он снял шапку, с ожесточением единственным пальцем поскреб кудрявую голову и, вздохнув, поглядел на деда измученными глазами.

— Так сказывать?

— Сыпь, пока уха преет... — ответил тот.

— Поморозился я лет пять тому, а всего мне будет без трех годов тридцать... Расскажу я тебе, дедушка родимый, всю жизнь. Не затоскуй только — жизнь моя не веселая...

Ванька сел удобнее, тихо кашлянул и тихо начал:

— Родился я от своих родителей: от девки да от солдата. Мамыньку сердешную схоронил ноне, а батька жив. Ну, ладно. Рос я не как все другие прочие, законные которые, а так... Сам знаешь: приبلудыш, так оно приبلудыш и есть, как баран шелудивый... Ну, и озорным же я парнишкой был, надо правду сказать... Первеющим пакостником меня считали, по всей округе наслыхах был. Одно слово — Ванька Хлюст! Стекла ли попу высадить, дубиной ли кого из-за угла огреть — это я... Подрастать зачал, девок стал забижать, и не то чтобы пакостно, а так, для антиресу больше: зубы стиснешь, налетишь, раз по уху! а сам заливаешься, хохочешь, словно тебе в душу-то мохнатый с хвостиком залез... И никакой во мне жалости не было к человеку... Пуще же всех ненавидел я батьку... Ох и зверь, и аспид родитель-то мой, прямо рестант...

У Ваньки в глазах огоньки замелькали, а голос трещину дал:

— Ведь он, идол, в гроб вогнал мамыньку-то... А что мне выволочек было, мордобоею этого самого, не есть числа: он и голодом-то меня морил, и на мороз-то в одной рубашонке выкидывал... Вот, погляди-кось, башка-то у меня проломана местах в трех... А мамынька-то... А мамынька...

Ванька отвернулся от деда, засопел, в землю уставился, шепчет:

— Покойна твоя головушка... Привечный тебе покой.

Руку занес, перекреститься хотел.

— Вот ишь... Ну, чем я крест положу? Кулаком, что ли? Культияпкой?

— Ему, батюшке, все единственно, — заметил дед, — хошь рукой, хошь ногой... Была бы душа настоящая...

— Душа?! — вскрикнул Ванька, — вот то-то и дело, что душа...

Тимша с собаками у костра возился: все трое катались клубком по земле. Тимша, лежа на животе, по-собачьи влаивал, а Жучка с Верным притворно урчали и, наседая на Тимшу, старательно теребили надетую на нем мамкину кофту.

— Ну, дык чо дале-то?— обратился Григорий к Ваньке.— Карактер-то у тебя, это верно, с загогулиной...

— Карактер-то?.. Не озлобляй!.. Я человек не злой, я праву веселого: ишь — ни рук, ни ног, а сердце-то у меня ласковое... Да-а.

Ванька задумался. Но вдруг на лице затеплилась радость, улыбнулся бродяга, подбодрился:

— А гармонь у меня была первый сорт; мамынька, дай бог, сгоношила, да сам в пастухах жил, сколотил деньжонок, и песенник был я отменный.

Ванька окреп голосом:

— И так я, дед, на этой самой гармонии играл, что ах! Идешь, бывало, по улке с ребятами, о празднике, да как взыграешь на всех переборах — эх ты но... Дуй, не стой!.. Дык не то что девки али бабы молодые — старухи-то и те из-за печек, как тараканы, выползут да к окнам прильнут, чтоб Ваньку Хлюста перед смерточкой напоследях послушать... Во как! Не веришь? Ей-бог... Господин барин как-то был у нас из Питера, анжинер, значит, насчет приисков приезжал, разведку делать... Хошь, говорит, Иван, в столицю? Знатнеющий музыкант, говорит, из тебя должен выйти... Подучить, говорит, тебя мало-мало... Пальцы-то золотые, говорит, у тебя... Цены нет твоим пальцам-то... Эхо-хо-о...

— Ну, так вот,— сказал, чуть помолчав, Ванька,— так оно ишло колесом, покедова не вырос, а как стал парнем, поступил я, отец, в ямщики на трахт... Бывало, как выедешь в ночку летнюю, да как гаркнешь: «Соколики, грабят!..» — вот и рванут — рванут тады лошаденки, дорога лугом, что скатерть гладкая: несешься — в ушах ветер поет, ничим-чего тебе не видно, словно валишься в пропасть какую... На звезды взглянешь, а они за тобой следом катятся... И была там у меня на селе зазноба, кабатчика нашего дочка — Дунюшка...

Ванька насупился, вздохнул и, ковыряя костылем землю, прошептал:

— Нет, лучше уж не ворошить... Чего тут...

Дед крикнул, боднул лохматой головой и сказал, пристально поглядев на бродягу:

— Не ты ль, Ванюха, в прошлом году у Петрована Безденежных на заимке жил? Всю зиму быдто бы?

— Я... А что?..

— Да так... Сказывал Петрован: чевой-то скучал ты шибко... — и, не дождавшись ответа, добавил: — Это, брат, плохо, соколики, ежели скучать... Укрепиться надо... Мало ль чего в жисти случается... Ну, это я так, промежду прочим... Сыпь да не-то, как лапы-то ознобил, сказывай...

— А это, вишь ли, каким манером дело-то вышло. После покровы вскорости — ни зима, ни осень, а так, середка на половине, хозяин мой, ямщину содерживал, — из дому отлучился в город, один я остался. Вот ладно... Только что я приехал с трахту, заколел, как анафема, сижу, отогреваюсь в хомутецкой на печке — почь темная, и буран зачинается, а теплынь стоит. Вдруг из земской сотский прибегает: «Живо, грит, лошадей: лешак попа принес... Поп орет, ямщика к себе требует... Да поп-от не один, слышь, а с бабой какой-то». А я знал, что у попа чередовского сипатия есть, родня не родня, а так, сбоку припека, пришей кобыле хвост — можно сказать... Ну ладно... Хошь не хочется идти, а куда деваться, — пошел... В броднях грязных прямо вверх лезу... А мне что?! Еще докладаться, да внизу ждать?.. Наплевать можно, с мужика спрос короток: прю прямо вверх... Вошел в горницу, помолился. Поп один сидит, здоровенный, красный, сурьезный, знакомый поп... Народ, признаться, не шибко же его долюбивал, не уважал... Крутой поп был, карахтерный, да и драл с живого-мертвого просто ужасти как...

— У попа жисть хороша, — перебил дед, — помрет — не уйдет, и родится — годится. Ххе...

— Это самое... — ухмыльнулся Ванька. — Ну, дык вот... Перекрестился это я наотмашь. «Здравия желаю, говорю, батюшка». — «Лошадей». — «Никак невозможно», — говорю. «Ах ты сукин сын». — «Никак нет, батюшка, — отвечаю вдругорядь, — я ваш сын, а не сукин, потому как вы наш отец духовный... Ежели, говорю, отец духовный такой вопрос обозначает, то чего ж родному-то отцу остается делать? Одно: взять оглоблю, да оглоблей-то по темю». Слово за слово, ну, только што он меня козырнул словом одним удивительным, вижу, дело плохо, говорю ему: «Ежели, говорю, усердие в вас такое есть, чтобы ехать, то я коней сготовлю, но без обиняков вам скажу, загинуть в пути можем за милую душу». — «Не твое дело!» — «Ну, в таком разе, я живчиком... Позвольте вас с папиросочкой поздравить». Обмяк поп, дал папиросочку, улыбается. Ладно... Пригнал я лошадей, самых отчаянных, тройку... Выходит поп в шубе енотовой, кушаком весь запоясан, от горла да вокруг пузы, — ну, а у меня, сам знаешь, шебур мужичий трижды через нитку проклят, чрез две — окаянный, да верхонки¹ мокрые — вот и вся амуниция...

— Кругом шестнадцать, — вставил, крикнув, дед.

— Хы-ы... Вроде этого... «Отойди-кось к сторонке», — поп-от говорит... Отошел я, а сам глазом этак покашиваюсь. Гляжу: поп госпожу на дно положил в кошевку, сам лег, кочмой накрылись.

¹ В е р х о н к и — кожаные рукавицы.

«Готово, кричит, садись, ямщик!» Поблагословился про себя, сел. Поехали... Ветерок дул маленький, помню, утих буран-то, а выехали за деревню, ветер крепчать зачал, и буран стал опять разгуливаться. Верст пять отбежали — вдруг буран кэ-эк ахнет! Как застонет все кругом. Ну, думаю, плохо мое дело. А со мной на облучке еще мужичок увязался, попечитель школы одной сельской. Тоже навроде меня одет — рыбий мех, бобровый верх — сидим, трясемся оба. Что делать? А буран все пуще да пуще. Словно молоком все залито, у коней — скажи на милость, — даже голов не видно. Снегом им все глаза залепило, они и стали. «Нн-у!..» Стоят... «Малютки, грабят!» Кэ-эк шарахнет тройка!.. Я вверх ногам, попечитель вверх ногам — бух на попа с попадьей оба, корячимся в кошевке, тпрукаем: я тпрукаю, попечитель тпрукает. А поп выставил из-под кочмы бороду да как начал меня козырять всячески. А я ему на опакишь... Он мне слово, я ему десять. Потому осерчал... Кони несут, дорога ухабная, иначе я уцепился пластом, к облучку царапаюсь, а попечителя, как куль с мукой, на ухабах подбрасывает: то на голову одыбит, то пятки к бороде подворотит... Смехи... А буранище так вот и крутит, прямо с огня рвет, по роже снегом, как бичом хлещет, насквозь прохватывает, аж дышать нечем... Глядим — огонек. Мы туда целиной поехали было. Пропал огонь, точно его кто слопал... Ах ты господи! Ровно бы и жилью-то тут быть не надо. Сбились мы совсем с дороги... А буран так разбушевался, что надо бы пуще, да некуда, ревмя ревет все кругом на разные лады. Жуть... Зачали мы с попечителем дорогу искать: привяжешь вожжи к саням, да по вожже-то и ходишь во все стороны... А то, чего доброго, отойдешь сажень на десять, да и к лошадям не вернешься. Кружились, кружились — нет дороги... «Батюшка, а мы с дороги-то сбились...» — «А ты ищи... ишь ты». — «Сам поди-ко поищи: ты в енотке, а я заместо тебя под кочму-то прилягу...»

— Под кочму?.. Ххе... — подмигнул Ваньке дед.

— Дык как же?.. Знамо... Ну, ладно. Как обозначил я это, поп и замолчал. А тут, братец ты мой, стало пристывать, морозом здорово прихватывать зачало. Ну, думаем, карачун пришел, терпенья нашего не стало... Глядим — стог... Мы туда. Отгребли кой-как снег, сено маленько разрыли, сели за ветром. А буранище так вот и садит, знат надвигат, того гляди стог опрокинет. Я присел на корточки, замаялся... Сколь просидел так, не знаю. Гляжу: месяц восходит из-за леса, и звезды в небушке загорелись. Потом, на вот те... вдруг соловьи защелкали и таким быдто теплом повеяло от кустов зеленых да от поля. Что за притча?.. Встал, оглянулся — верно: ночка летняя, соловьи поют, свежим сеном пахнет... А буран-то где?.. А поп-то где?.. Стою, улыба-

юсь... Глядь-поглядь: Дуня по лугу идет, и месяц ей по дороге светит. Кричу: «Дунюшка, желанная, ягодка моя боровая, здесь я! Иди-ко, что скажу тебе, слушай-ко, што мне приснилось-то: я быдто попа, быдто попа, быдто попа...» Не могу от радости выговорить, да хоть ты што хошь. А она, и словно бы не она, а чужая — смеется издали, машет рученькой правой да кричит милым голосом: «Вставай-ка, вставай — скорей, эй, ямщик...» И чувствую: хлоп мне кто-то по плечу: «Эй, ямщик, ехать надо...» Открыл глаза: поп стоит, лицо злое... «Ты что, заснул? Поедем-ка, ишь буран-то кончился и огоньки видать: должно Пазухино...» Гляжу: огоньки видать, и впрямь Пазухино село... А шебур-то мой кол колом стал на морозе, да и портки к ногам примерзли, аж с кожей отодрал, руки ноют, зашлись совсем, верхонки как железные — позамерзли... А от попа, чтоб его язвило, пар валит, рыло красное...

— Буран, слава богу, призатих, а я чувствий порешился, ничего не чувствую. Уж не помню, как и до деревни докатили... А пальцы у меня быдто палки сделались, стучат, обмерзли. Я на печку, попечитель на печку сдуру-то... Слышу: поп хозяина кличет, за водкой его посылает. Вот ладно, принесли живчиком водку. Поп стакан себе, другой мне: «Эй, ямщик, пей...» Поблагодарился, выпил. Он вдругорядь: стакан себе, стакан мне: «Пей еще». Выпил... Партоманет вынимает: «Вот тебе прогоны, а вот тебе еще два целковых, потому как ты пострадал...» — «Покорно, мол, благодарим и на этом, два рубля на чай деньги не малые, ну только что вы, батюшка, полжисти у меня отняли... Дай бог вам». — «Ничего, говорит, чадо, поправишься...» А попечитель на печке сидит, дрожит весь, его не попотчевал поп-то... Вино мне в голову вдарило, вышел я как очумелый, руки словно в кипятке ноют, быдто ножом от костей мясо сострагивают... Я хозяину рубль — тащи водки — уж очинно попечителя сделалось жалко — подал попечителю, подал хозяину, сам выпил, потому терпенья нет... Опосля того свалился, не помню чего и было... Попечитель через четыре дня богу душу отдал, а я вот вишь как обсовершенствовался... Вот те и Ванька Хлюст! Вот те и золотые пальчики... Вот так и маюсь, отец, всю жисть свою...

— Чего поделаешь, сударик... — откликнулся душевным голосом дед, — попала в колесо собака — пищит, да бежит, Так и человека жисть ущемить может, ежели. Ау, брат... От што...

Ванька вскинул на деда глаза:

— Чегой-то раздумье долеть меня начало... Сон от меня по ночам прочь бежит. Ворочаешься, ворочаешься ночью, словно медведь, с боку на бок, потом сядешь, да и думаешь... А о чем, спра-

шивается? О жисти да о Дунюшке... Обо всем, вобще, думаешь, И, вздохнув, добавил:

— Жисть — штука великая, дедушка...

— Да, не малая, паренек.

— Она кому всласть, а другой от нее окарачь ползет... Пришел я как-то к попу, уж когда по миру ходить, бродяжить зачал: «Здравия желаю, батюшка!» — «Ты кто таков?» — «А вот, смотрите, — сам руки искалеченные показываю, — признали?» — «Нет». — «А помните буран-то? Окажите такую божескую милость, приделите меня хоть в пономари...» Повернулся поп в сердцах, вышел в другу горницу, три пятака медных вынес: «На!..» — «Да что вы, батюшка... Да на вас креста нет». — «Проваливай, проваливай со Христом... А то живо работника крикну... Эй, Яфим!..» Я тут так слезами и захлебнулся. Ну, ловко он меня... поприветствовал... Дай бог... Это за что ж, дедушка? В сердцах-то за что? Не он ли виноват в убожестве-то моем?.. А?.. Как же так не пожалеть калеку? Разве не такой же я есть человек, а?.. Разве не из одного теста?

— Из одного дерева, брат Ванька, бывают лопаты и иконы. На иконы богу молятся, а лопатой дерьмо гребут... Так, милай, и люди, бывают разной выделки... От што... Они, брат, хозявы в жизни, а мы что? Так, слякоть...

— Дык ради в том есть правда? Ну-ка, скажи.

— Правда-то на небе, Ванька... А, сказывают, семь верет до небес, да и те кочедурами... От што... Стало быть, такой придел положен, чтобы по земле ползать. Отползал свое — ложись, умирай.

— Приде-е-л? — насмешливо протянул бродяга и вдруг взвился: — А ежели я не жалаю придела-то?! Что мне придел? Я сам себе придел! Вот те и придел. Вот захочу, останусь, захочу — торнусь в омут, и крышка... Ха! придел!..

Дед уставился на бродягу, подумал минуту, ответил:

— От жисти, брат, не уйдешь, Ванька: все равно поймает.

Ванька задумался, ничего не ответил деду... И погрезилось вдруг Ваньке, что тайга все знает и чувствует, на все может дать совет мудрый, только выслушай ее, только сумей угадать, что она шепчет.

— Ну, а Дунька-то как же, Дунька-то? — громко спросил дед.

— Что?.. — встрепенулся бродяга и лениво перевел на деда все еще затуманенные глаза...

— Дунька-то, говорю, любушка-то твоя?

— Ох, и не спрашивай... — упавшим голосом сказал Ванька. — Еще в больнице лежал, слышно было, что девка того гляди ума тряхнется. А как пришел я, беспалый-то да с костылем-то, да как

увидела она меня, аж обмерла вся — на шею друг дружке бросились, да и завыли вряд страшным голосом... «Сиротиночка ты моя, говорит, сиротиночка...» А потом за нее жених стал свататься...

И Ванька едва слышно добавил:

— А она головой да в прорубь...

Хоть тихо сказал Ванька, а ему опять померещилось, что тайга учуяла и отозвалась таким же шепотом: «головой да в прорубь...» и на речке кто-то откликнулся.

— Чу! — испугался Ванька. — Слышишь, дед?

— Ничего не слышу. Ты што это?

Бродяга встал на четвереньки, прислушался и, быстро поднявшись, закултыхал к речке, подпираясь батагом.

— Эй, куда? — крикнул ему вдогонку Григорий.

Жучка в обнимку с Тимшей спит у костра, дрыгает ногами и жалобно повизгивает, — сон, надо быть, видит. Дед ласково гладит пса и сам с собой тихо рассуждает:

— Нет, чевой-то не ладное с ним, с Ванюхой-то. Пра-а-во... Шибко тоскует.

III

Дед подымается, кряхтит, растирает затекшую спину и, сгорбившись, тянется к котелку:

— А, мотри, упрела уха-то. — И не своим, бабьим голосом, ухмыляясь, монотонно бубнит, как в дудку дудит:

Табашники к табаку-у-у,
Пьяницы к кабаку-у-у,
Обжоры к у-у-ужину!..

Потом, вместе с проснувшимся внуком, торопливо усаживается возле котелка.

Вскоре на зов приходит и Ванька. Лицо бродяги спокойно, но что-то таится в глубине его усталых глаз.

Дед вытащил из мешка деревянную обмызганную ложку и, все тем же смешливым голосом, весело подмигнув Ваньке, сказал:

— Люди за хлеб, а я разве ослеп? Ну-ка-а раз! А ты что, Тимша, зеваешь? Имай рыбу-то... первый сорт мясо: от хвоста грудинка...

От ухи валит пар. Старик ест так, что за ушами пищит. Челюсти его работают сосредоточенно и жадно. Тимша чавкает, то и дело утирая нос рукой и чему-то радостно улыбаясь. А Ванька ест вяло, нехотя, печальный такой сидит, пасмурный.

Дед, зорко покосившись на бродягу, вдруг заулыбался, положил, не торопясь, ложку, пощупал мешок, вытащил бутылку и, подняв ее выше головы, весело прохрипел:

— Ну-ка, братья, зелено,— не прокисло бы оно... Самосядочки хошь, Ванька? Хоррошая штука. У нас, в тайге, старухи ее из хлеба сидят... Знаешь поди?.. На-ка, благословись стакашком...

Тот, очнувшись и вскинув на деда белые свои брови, сглотнул жадно слюну:

— Благодарим, дедушка Григорий. Мы не пьем...

— Ты кому другому это скажи,— смеясь, кричит дед.— Не пьешь... Нешто не вижу я, как кадык-от у тебя заползал. Пей, тебе говорят!..

Ванька смущенно скребет за ухом и, круто передернув плечами, тянется дрожащими беспальными руками к самодельному берестяному стакашку:

— Ну, за ласку твою, отец! Пригрел меня, сиротину.

— Во здравие,— откликается дед.

Ванька чамкает губами, сердито сплевывает, крутит головой и говорит:

— Ух, анафема! Штука лукавая... Ране, бывало, я, действительно, завей горе веревочкой, водку эту самую довольно сурьезно сосал. Ну только теперича — аминь!..

Костер ярко пылал, тьма по сторонам клубилась, а вековые кедровые деревья — богатыри таежные — гурьбой обступили костер и, хмурясь, протягивали лапы свои к теплу и свету.

Уха подходит к концу. Дед всех удалей из котелка черпает и балагурит, стараясь распотешить компанию. Тимша смеется во все звонкое горло, то и дело расплескивая из ложки уху, но Ванька грустен.

Псы нетерпеливо топчутся, повизгивают и просительно гавкают тонкими благопристойными голосами, а дед, чавкая беззубым ртом рыбу и вкусно обсасывая кости, небылицы рассказывает:

— И как лег это, значит, я не поблагословившись, не успел еще и заснуть-то путем, глядь: чертенок, будь он проклят, скок на меня...

— Всамделишный?.. Большущий?..— широко открыв глаза, спрашивает Тимша.

— Да как тебе сказать, не соврать: вершков этак пять, не более... Я его кэк сгреб в кулак, так всего, окаянного, и зажал. Только рога одни поверх кулака торчат, да темя видать... Вот ладно... И стал я кругом шарить, а сам думаю, как бы его, собаку, ошарашить по маковке-то, чем бог послал...

Босоногий Тимша, пыхтя и по-стариковски побрякивая,

укрылся шубой, циркал сквозь зубы в огонь и облизывался на пекшиеся в золе кедровые шишки.

Вдруг Ванька, перевалившись на бок, подполз к бутылке:

— Дед, а дед... Можно, ежели?..

— Сыпь, сыпь...

Ванька облапил бутылку, задрал вверх кудрявую голову и жадными глотками выпил все вино. Глаза его заблестели задором, а лицо сделалось бледным и злым.

Дед на Ваньку уставился с любопытством, улыбнуться хотел — улыбки не было.

Ванька про себя всхлипнул, покрутил удрученно головой и, свирепо погрозив тьме, стал, ругаясь, выкрикивать:

— Эвона, моклышки-то, видишь, старик? А полено-то видишь?.. — ткнул он в мертвую руку. — Ха-ха! Понимай, брат. Чувствуй!.. А ни-и-чего-о... Слава богу, не жалуемся, живем богато: дом о семи жердях с подъездом!

Дед не спускал с Ваньки удивленных глаз, костер оправлять начал. А Ванька, проворно поднявшись, посовался носом и, ненавистно тыкая в небо обезображенной рукой, взревел:

— Проклятые!! Мучители!! Утух-вы!! Бог-то где же?!

Дед от неожиданности чуть котелок с чаем не опрокинул, вздрогнул, выпрямился:

— Ванька, опомнись!.. Ванька, одумайся!..

Бродяга сразу смолк, словно грудь надорвал и, еле переводя дух, угловато опустился на землю.

К нему Верный подошел, смотрит в глаза, ластится. Обнюхал уродливые руки и стал ласково лизать.

Ванька тяжело вздохнул.

— Скажи мне по чистой совести, как перед истинным, скажи мне, дед, веришь ты богу, в правду-матушку веруешь? — заговорил бродяга срывающимся голосом.

Поскреб дед в раздумье голову и, бросая в огонь валежник, не спеша ответил:

— Алтайцы — богу не молятся, у них дворы скотом ломаются. А наш русак, хоша просит вышнего, кола нет лишнего: крутом бегом... Это у нас в тайге така присказка. А я тебе, сударик, вот что скажу: бога я завсегда в сердце имею. И тебе советую. Понял?.. Вот что, мила-а-й...

Ванька мигает часто, молчит, потом медленно, точно сам с собой, говорит:

— Ну ладно... Ежели веришь, стало быть, бог есть, потвоему?..

— Дурр-а-ак... За такое слово сто раз дурак... По самое это место... — цедит сквозь зубы дед.



— Ну ладно. Стало быть, есть,— заключает Ванька.— А где же он?.. Я ли ему не молился?.. Я ли не ползал перед ним на карачках? У святителя Иннокентия в Иркутском был. Ты ушутил при моих-то ногах!.. Идешь, бывало, в мороз ночью, вскинешь голову вверх, а там звезды, да месяц по небу ходит... «Господи, шепчешь, господи. Оглянись на Ваньку, пошли исцеленье. Чего тебе стоит, господи. Не дай загинуть!.. Душа моя, господи, душа опаршивела, коростой, как пес гнилой, вся покрылась...» Да ну плакать, да ну кувыряться в землю, в снег башкой... Я, брат, слезоточив, из меня слеза даже не удержиимо катится. Встанешь, утрешь рыло-то, да на небо взглянешь, а там все по-старому, только месяц смотрит на тебя да ухмыляется... А грех все на душе камнем лежит...— закончил он тихо и низко опустил голову.

— Да какой у тебя грех-от? Какие у нас с тобой могут быть грехи?.. Ну-ка...

Ванька деланно захихикал и торопливо, скороговоркой пробормотал:

— У меня, дед, грехов сорок мешков. Один грех продал — всех выпустил. Разбрелись который куда: кто по кабакам, кто по дуракам, а одного вот у вас на заимке пымали... Ххе...— и, помолчав, добавил:— Поди и грехов-то никаких нет на свете... Каки такие грехи бывают, ты знаешь, дед?..

— Как какие?— встрепенулся старик и, придвинувшись вплотную к калеке, стал подгибать по очереди корявые пальцы и перечислять монотонным, как у начетчика, голосом:

— Непослушание, нерадение, паки блуд, лихоимство, гордыня — дочь дьявола, злоненавистничество, и самый смертный грех: хула на духа свята...

— Ха-ха-ха! Здо-о-рово... Расписал, как размазал... А ежели какого зловредного человека жисти решить?.. Это как?.. Грех, али как?.. По маковке ежели фомкой кокнуть, ломиком?— И в голосе Ваньки замечен был хмель.

— Дуррак... Язви те!..

— Х-х-х-ха...— хрипел бродяга...— Не любишь?.. А ежели от которого, окромя зла, никакой корысти, как от гадины, тогда как? А?..

— Как никакой корысти? Ме-ельница!..

— Ну, вот хоть от меня, на примерича. Какой прок во мне? И какой я есть человек для миру?.. Я столь же миру-то нужен, как дыра в мосту... Вот и следовало раздавить меня, как таракана. И я так умствую, что тому человеку-то за меня, как за паука за доброго, ежели убить меня, сорок грехов убавится. Ххы...

— Статуй этакий... Елыман, прости бог... Пей-ка чай-то, ум-

ная твоя башка со вшам. Оно лучше дело-то будет. Ошпарь-ка душеньку-то...

Чай пьют без сахара из деревянных чашек. Дед натолкал в чашку пшеничных сухарей и, прихлебывая, говорит резонно:

— Вот смерть придет, узнаешь, каки таки грехи-то бывают. Пей-ка...

— А что мне смерть?— оживился калека.— Нешто я боюсь смерти? Да хошь сейчас!.. Нашел чем пугать Ваньку... Я, дед, в прорубь бросался — вытащили, давился в лесу — веревка лопнула... А ты — смерть!..

— Ой, Ванька... Не торопись умирать...

— А как же жить-то мне, ты подумай? Ну, куды я?..

— Жисть-то нам единова дается. Эх, Ва-а-нька...

— Ну-к чо?..

— Жалеть, мотри, будешь...

— Я, брат, дед, подохну скоро. Чую, что околеть я должен недолго: замерзну али так где окочурюсь... Что мне смерть?.. Харкнуть да растереть... Во!.. Не боюсь я ее вот ни на эстолько,— и Ванька прижал единственным пальцем кончик костыля,

— Ой, вре...— недоверчиво вставил дед.

— Вот те и вре,— передразнил калека.

— Ой, паря, вре...

— Тебе, может, жить-то хорошо... дак...

— Тому хорошо, у кого брюхо большо,— перебил дед.— А ты живи да бога благодари. Мир должен как-никак прокормить тебя. Без этого нельзя...

— А рука-то?

— Руку напрочь отнять...

— А душа-то покалечена, промезла наскрозь?..

— Ха, душа!.. Да она, может, почище, чем у кого другого прочего... От што...

— Да ты дурак, дед, прости бог, али умный?!— крикнул Ванька и ткнул деда в грудь.— Ежели я кудрявый был, ежели я пригожий был, и девки от меня таяли?.. А теперича... На-ка вот. Ты ушутил?..

И, поднявшись во весь рост, Ванька, постукивая костылем о лежащую возле лесину, раздельно произнес:

— Землю зря топтать ежели, в том моего согласия нет!.. Понял?..

Старик ничего не ответил, а только сказал:

— Пей-ка еще. Чаю много!

— Благодарим...

— А ты пей без сумленья... От чаю на брюхе веселей делается, От што...

У Ваньки корявое лицо укоризной покрылось, и он, опускаясь на землю, сказал:

— Брюхо тут ни при чем, ежели душа просится на волю...

— А ты, чтобы тебя через сапог в пятку язвило... Он опять свое... Ххе!..— запавшие, вдавленные временем глаза старика грустно улыгнулись.— Как же я-то? Ведь во мне полторы жисти сидит, а я бы еще три прожил... Че-ортушка, прости бог, этакый... Право!

И чтоб потешить загрустившего Ваньку, он вынул из-за пазухи табакерку и, опять не своим, смешливым голосом, разыграл штучку:

— К голому голяку, к бедному бедняку, к нашему деду Масалову понюхать табачку носового. А для чего же табак нюхать? На гору одышка не берет, под гору спотычка не живет... Ну-ка ра-аз!..— и подморгнул дремавшему Тимше. Понюхал, крикнул громко, по-цыгански: — Кахы!..— и сам себе ответил: — Кто крикнет, тому два!..

— Ну и ласковый же карактер у тебя, дед,— чуть ухмыльнулся Ванька.

Дед улыбается, кутает Тимшу в шубу.

— Спи, благословясь...

Тимшу сон не берет: ему хочется послушать, что говорят большие. Но те молчат, и Тимша заводит сам разговор с дедом.

— А смертынька, дедушка, по земле ходит?..— И, не получив ответа, продолжает:

— Это пошто ж она, скажи на милость, ходит-то?..

— А вот по то, что тебя не спросила... По этому самому...— Дед опять набивает обе ноздри табаком, чихает свирепо, с присвистом, и приговаривает:

— Чи-хи... Неумытому в рыло!..

— Неумытый-то кто, дедушка, черт?..

— А вот дрыхни, тогда и узнаешь кто...

— Нет, впра-авду?..

— А вот вправду и есть...

Становилось холодно: туман пополз от речки седыми лохмами. Норовил он, цепляясь за стволы деревьев и кусты боярки, подняться ввысь, но таежный сумрак давил его к земле. Справа, над речкой, в прогалинке, серебрился месяц, и его тихий голубой свет встал и расплескался над объятый мраком тайгой.

Костер меркнет. Старик нехотя подымается, бросает смолье и укладывается спать. Бродяга, свернувшись калачиком, лежит молча, должно быть спит. Возле него Верный.

Тимша пыхтит под шубой, с Жучкой возится, а потом, высунув голову, говорит деду:

— Анадьсь я обортня на займке видел с парнишками... Здоро-ве-енный...

— Что и говорить...

— Нет, вправду... Кобелем борзым прикинулся... Матеру-у-у-шший...

— С тобой-то слово,— подсмеивается над внуком дед, сладко позевывая.

Тот обиженно сглатывает, глазенки блестят огнем, и он рассказывает дальше, стараясь придать голосу вес:

— Я схватил кость аграма-а-аднищую, да кэ-эк этим костем-то звездану кобеля-то по роже!..

— Ври-ври...

— Вот-то и ври-ври...— Тимша вылез из-под шубы, лицо его вытянулось страхом, и он, сам себя пугаясь, прохрипел: — Дык кобель-от так весь тут тебе и рассы-ы-ыпался. Аж искрушки полетели!..

Когда старик загремел густым смехом, Тимша, смутившись, виновато улыбнулся и юркнул под шубу...

— Вот как выволоку тебя за волосья,— сказал, хихикая, дед,— да спущу штаны... Эвона чо городит... Баран этакий!

Дед вскоре начинает с присвистом всхрапывать, и мальчонка, надрожавшись досыта под шубой, тоже крепко засыпает.

IV

...Костер погас. Ушел с неба месяц. Передвинулись звезды. Непроглядным мраком охватило тайгу. Стоит тайга, не шелохнется, спит. Самое глухое время наступило: без звуков и шорохов, словно вместе с месяцем исчезла вся жизнь.

— Господи, батюшка...— слышалось еле внятно.

Это Ванька шепчет. Возится во тьме, всхлипывает. Молчит.

— Дед, а дедушка. Спишь?..

Не слышит, намаялся, спит старик крепко.

— Ох, батюшки мои, батюшки... Что ж это будет... А?..

Слышно — ползет к деду:

— Где ты тут? Проснись-ко, Григорий... Эй!

— Кто тут? Ты, Тимша?

— Нет, я, дедушка...

— Ты, Ванька?..

— Я... Я... Страх на меня навалился, дед! Порешу я свою жисть!— в голосе его большие дрожат слезы.

— Ну, не паршивец ли ты?..— зло и укоризненно шепчет дед,— ну, не озорной ли ты малый?.. Чтоб на себя руки наложить? Тьфу? Удди от меня к ляду, дьявол этакий!..

Молчание. Опять тьма поглотила звуки.

— Дык чижалехонько ведь... Сам не рад поди... Душа во мне запищала... Ау, брат... Сумленье к самому сердцу подкатилось. Гложет, окаянное, как собака кость, дыхнуть не дает. Хошь стой, хошь падай... Прямо край!

Дед молчит. Неужели спать хочет? Нет. К его сердцу жалость вдруг прихлынула, кровью облилось его старое, изжившееся сердце.

— Ну, скажи на милость... по чистой совести,— шепчет бродяга.— Ну, кому нужен я? Каков теперича прок от меня? одна помеха...

— Как кому? Себе нужен.

— И себе не нужен,— еще тише шепчет.— Жил я, радовался всему на свете, а люди меня в яму сбросили... Ослеп я там, руки-ноги поломал, и нутро у меня порешилось. Ну, куды я должен? А из ямы мне не вылезти, а смерть забыла про меня — нейдет... Как тут? И еще раз тебя, отец, упреждаю, попомни: зря топтать землю — в том моего согласия нет!..

— Терпи. Значит, терпи, парнище... От што...

— Терпи... А ежели и терпелка-то спортилась, ржой покрылась... Тады как?

Молчит старик, что сказать — не знает.

— Вот видишь?.. молчишь, дед... Я бы давно ушел, да тайга держит: живи, говорит...— задумчиво вымолвил бродяга и, шевельнувшись, крикнул с угрозой: — А уйду-таки!.. Нет, дедушка, я уйду... Как хошь, брат...

Тот все еще молчит, не может с мыслями собраться.

— Нет, нет, уйду... Уйду-уйду... Как хошь...

Тогда дед все таким же отечески-раздраженным, чуть насмешливым, чуть укоризненным голосом сказал:

— Ты еще молод, сударик. Жисти не знаешь... Тебя еще жареный петух в брюхо не клевал... От што-о-о...

— Боюсь я ее, окаянной!.. Смерти этой самой!..

— А как же ты даве...— обрадовался дед.

— Зря тогда молол, похвалялся. А теперича... Веришь ли, дедушка Григорий, как и расставаться с жистью-то?.. Неужели ты не боишься?..

Дед зевает, бормочет молитву и, не торопясь, чеканя каждое слово, говорит:

— А чего ее бояться-то?.. Бедному, брат Ванька, умереть легко: стоит только прищуриться... От-што-о-о... Сама придет, никуда, брат, не денешься... А ты не кликай ее... Грех... От што-о-о...

И минута и другая проходит. Оба молчат... Только Тимша

тоненько во сне хохочет под шубой да вдали ухаает филин.

Дед чиркает спичку и разжигает костер. Тени торопливо пляшут спросонья, наскакивая гурьбой на что попало, и под их полусонной пляской горбатый нос деда начинает трястись, лицо то становится огромным и плоским, как лопата, то собирается в клубок и пышет хохотом, то отливается в страшную рожу с перекосившимся в страхе, сумасшедшим взглядом.

Ванька согнулся в дугу, словно лесиной пристукнуло — сидит неподвижно, низко понуря голову... Жив ли? Ярko вспыхнул костер, но нет в огне силы, стал потухать.

Дед укладывается, крестит размашисто вокруг себя тьму и охает.

Ванька молчит, только плечи вдруг ходуном заходили и затряслась голова. И из его груди прорываются робко придушенные вздохи и всхлипыванья.

— Ты чо это, Ванька? — тревожно бросает дед.

Тот борется с собой, но, видно, совладать не может, начинает, уже не сдерживаясь, выть чужим голосом, сплевывая сердито и ляская по-волчьи зубами.

Костер гаснет, вверху ветер начинается, и под легкий шелест тайги Ванька надрывается звериным хриплым воем.

— Ванька!.. — кричит дед.

— Ууу... Ууууу...

Ветер все пуще, зашепталась тайга, всполошилась. Сумасшедший вой, навевая ужас, будоражил тьму, до боли сверлил сердце деда, наполнял неизъяснимым страхом все кругом.

— Да ты ошалел!!! — кричит испуганно дед, — что ты, черт, как лесовик!.. Аж жуть берет!..

Бродяга смолк, до крови закусил губы.

А тайга брюзжит, вершинами машет, спорит о чем-то с ветром.

Ветер, злясь, треплет встречные деревья и спешит дальше, вглубь, будит тайгу. Шумит тайга, шумит. Капля за каплей падает дождь.

— Григорий... — помедля немного, позвал Ванька решительным голосом.

— Ну, что, родимый? — учуяв что-то, отвечает ласково дед, — ты подь-ка поближе сюда... А то ишь тайга-то матушка гуторит... От так... Ну-ка...

И во тьме чуть слышно:

— Покаяться я тебе должен, как перед богом... Видно, капут пришел мне... Не совладать... Ау, брат!.. Жила во мне у сердца лопнула...

Помолчал. Вздохнул. И дед вздохнул.

— Попа-то... Помнишь?.. Ведь я спалил... Я... А ты как думал?

— Ни-и-чего...— еще ласковей отвечал дед,— ох, мила-а-й... Так ему и надо, крохобору.

— Дунюшку-то... Дунюшку-то ведь... я... порешил...

— Нпо-о-о?..

— Я... Я... Не досталась, чтоб... Уманил я ее к речке, да в прорубь... Ву-у-у!.. Ухухууу...

И сквозь вой слышен строгий, властный окрик деда:

— Ах ты, проклятая твоя душа!.. Варнак ты!.. Варначище, язви те!..

— Про-сти-и... Христом прошу...

— Прочь удди!!

— А ты пожалей, слышь, дедушка...

— Пожалеть? Вон я тебя пожалею, жиган ты этакий! Вот ужо. Душегуб проклятый...

Ванька скачет прочь от деда, как от журавля лягушка...

— И ты?! И ты, дед?! С попом вместех?!

Ветер ураганом взвился по тайге, обрывая шелковые хвои. Угольки в костре вспыхнули и зарницей на миг осветили псяну. Тайга заревела, затрещала вершинами. Дерево где-то ухнуло во тьме и с треском и стоном упало на землю.

Дождь тихо идет. Ураган умчался, лишь ветер робко блуждал меж хвой тайги.

Калека съежился в клубок, лежит на боку, к сосне привалившись, и зубы его от волнения лихорадочно стучат. Чувствует Ванька, что нечем дышать становится: тоска душит, змеей подкатилась к горлу. Лежит, думает, глаза открыты. И не может понять, то ли наяву мерещится, то ли во сне видит жизнь свою, да не ту, что тучей надвинулась, камнем повисла на шее, а новую, светлую и радостную, которая в удел бы досталась Ваньке, не случись с ним греха. Вон он сильный, кровь бушует в жилах, на щеках румянец играет. Тройку каурых, своих собственных коней, закладывает в наборчатую сбрую, кореннику шаркунцы серебряные подвязывает. Возле него карапуз топчется: «Тятенька, бормочет, тятенька...» Дуня вышла, румяная такая, дородная. Подошла, обняла Ваньку, в глаза, усмехаячись, заглядывает и умильным голосом шепчет: «Соколик мой... Боровая моя ягодка».

Лежит Ванька. Спать не спит — глаза открыты.

— Ванька,— любовно окликает дед.

— Ну?..

— Ты меня, Ванька, в слезы вогнал...

Бродяга засопел, что-то сказать силился, но уста молчали. Дед кряхтит, ворочается с боку на бок:

— Ты... не убивец, Ванька... Я чую это... И пошто ты, например, таку неправду на себя примал?

Ванька Хлюст точно тьму рубит:

— Душа требует.

— Как так душа? Бог простит, брат. Он все простит. Все грехи твои на обидчиков переложит. Чуешь?.. А я приют тебе предоставлю к зиме... От што... Страданья твои не малые... Он, брат, все видит. От што, мила-а-й... Не робей... От што... Жить у меня будешь в тепле.

Ванька, повалившись на грудь и обхватив голову руками, скулит, как малый ребенок, и не может от волнения понять, что говорит дед.

— Слышишь?..

А тот все скулит и ничего не отвечает.

Уснул дед и уже бредит во сне.

Стонет в болоте выпь, точно тупым ножом по стеклу скоблит, небо плачет, возвращая земле ее слезы, тайга шумит — и чуть внятно всхлипывает Ванька.

Потом все умолкает...

Час проходит. Другой проходит. Нагулялся ветер, поздний гость, пал устало на дно тайги. И снова стоят в вышине и тихо мерцают омытые слезами звезды.

Но, чу!.. Застонал Ванька, заметался... Знать, страх подполз к его изголовью и отогнал прочь таежные сны.

...Темно. Костер погас, в пепел рассыпался. Тихо. Словно смерть вошла сюда, и погасила свет, и смела все звуки.

...Верный гавкнул спросонья и залился тревожным лаем. Побежал куда-то, ворчит, мечется, поблескивая в темноте угольками глаз. Потом завыл... таким протяжным, тонким, со слезами, голосом.

В тайге еще темно было, а небо уж начало бледнеть, и потянуло сырым холодом. Ночь кончалась.

— Ванюха! Ванюха-а!.. — крикнул пробудившийся дед.

Но никто не ответил.

КОЛДОВСКОЙ ЦВЕТOK

I

Дедушка Изот — настоящий таежный охотник, медвежатник. Вдоль и поперек на тысячу верст тайгу исходил: белковать ли, медведей ли бить — первый мастак. А соболь попадет — срежет за милую душу и соболя. И чего-чего он только не видал в тайге:

— Ты думаешь, эту просеку люди вели? Нет... Это ураган саданул, ишь какую широкую дорогу сделал... А меня, парень, почитай на сотню сажен отмахнуло вихрем-то, сколь без памяти лежал. А молодой еще тогда был, самосильный...

Изот и леших сколько раз в тайге видал:

— Он хозяин здесь... Только что хрещеному человеку он не душевреден... Иду как-то я с Лыской, а он, падло, нагнул рябину, да и жрет прямо ртом...

Он и тунгусов, и шаманов их, самых страшных, самых могучих, видывал:

— Тунгусов здесь, в тайге, много. Ух, и шаманы же у них в старину были: посмотришь на него раз, умирать будешь, и то вспомнянешь...

Бродить мне по тайге с Изотом весело. Заговорит-заговорит — знай слушай.

Да и тайга зимой красоты небывалой. Вся опушенная белым снегом, густая и непролазная, она кажется какой-то замороженной сказкой, каким-то волшебным полусном.

Мы с дедом еле тащим ноги, направляясь на ярко-золотой отблеск вечерней зари.

Жучка, высунув язык, черным пятном ныряет по сугробам и устало тявкает, когда упавшая с сосны шишка обнаружит притаившегося на вершине зверька.

До нашего зимовья, крохотной лачуги, добрых версты две,

Сумрак все настойчивей выползает из берлог и падей, заря гаснет, в небе одна за другой вспыхивают звезды.

— Ну-ка, паря, приналяжем,— кряхтит дед и надбавляет шаг.

А вот и зимовье.

Маленькое, пять шагов в длину, пять в ширину, наскоро срубленное и кой-как протыканное мхом, оно нам с дедом милее каменных палат.

Жучка хозяйственно обежала избушку и, полаяв на все четыре стороны, первая шмыгнула в полуоткрытую дверь.

II

Лишь только запылали в каменке лиственничные дрова, мы с дедом повалились на холодный земляной пол и, поглядывая на веселый огонек, плакали от едкого дыма, сразу наполнившего всю избенку.

— Дед, открой, пожалуйста, дверь.

— Пошто... Этак, брат, нам и хаты не согреть. Уткнись, коли так, рылом-то в шубу... Он чичас к потолку подыметя... От та-а-к...

Дед подбросил еще охапку мелко наколотых дров, огонь заболтал о чем-то, затараторил по-своему, и воздух стал быстро нагреваться.

— Ну, садись,— скомандовал дед раскатистым своим басом,— а я дыру открою, надо дым на волю выпустить.— И, весь окутанный облаками дыма, полез на нары, чтоб открыть под самым потолком задвинутую доской продушину.

Через полчаса мы, усевшись на разбросанные по земле хвои, пили с ржаными сухарями чай, а над нашими головами колеблющимся голубоватым пологом плавал дым.

— Да-а-а...— тянет дед, настораживая к костру котелок с оленьим мясом,— ты говоришь, тайга... Тайга, брат, охо-хо-о-о-о... И народ в ней другой, особый — прямо тебе скажу, дикий народ.

Дед стоит у костра вдвое перегнувшись и, опаски ради, придерживает левой рукой огромную свою сивую бородищу.

— Да и вправду молвить — ну кто округ нас есть живой! Медведь да тунгус — вот и весь свет... Куда ни кинься — тайга... Лес, лес да дыра в небо. И никакой к нам пути-дороги... А все ж таки...

Дед набил трубку, вытащил из костра головешку, закурил.

— А и промеж нас иным часом бывает... Нет-нет да и... Тьфу! чтоб те пятнало, окаянного!— вдруг плюнул дед,— гляди,

каку дыру прожег,— и, зажав дымящийся подол рубахи, принялся сердито ворошить палкой прогоравшие дрова.

— Что же промеж вас бывает-то?

— А как тебе сказать... Ну, быдто сумленье в голову вступит, куда-то поманит человека, душа вроде как скулить начнет... Вот взвился бы птицей да улетел бы к самому небушку... Да-а-а... А то тайга, тайга, никакого тебе вздыху нет... Скушно... Да вот погоди ужо, я те расскажу, какой случай мог произойти с одним человеком, прямо будем говорить, с моим родителем.

Поужинав и разомлев в тепле, мы стали свежевать с дедом белок: обдирали с них пушистые шкурки и связывали их, хвостами вместе, по двенадцати штук в бунты.

Жучка, нажравшись до отвала белок, подсела к огоньку и вскоре, подремывая, стала клевать своим острым носом.

Дед притащил еще охапку дров и сказал:

— Ну, паря, давай укладываться спать.

— А случай-то?..

— А ты ложись знай: ночь долгая... Поди намаялся день-то деньской...

III

Мы лежали с дедушкой Изотом на прикрытых оленьими шкурами хвоях. Костер в углу на каменке ярко горит.

Черные, покрытые густой сажей потолок и стены тихо колышутся в лучах костра, а за крохотным, над скамьей, оконцем, сквозь вставленную прозрачную льдинку мерещится голубая таежная ночь.

Дед укрылся шубой, а голые ноги поставил близехонько к костру.

— Ну, вот теперича, коли так, слушай...

Покряхтел, поскреб обеими руками лохматую голову, сладко зевнул и старательно закрестил рот.

— Ну, дак вот, я и говорю. На моих памятях это дело-то приключилось, а я втапору мальцом был. Да. И вдруг, братец ты мой, стали мы с матерью замечать, что с тятей что-то неладное доспелось, чего-то тосковать тятя начал. А жили мы, надо тебя упредить, справно. Сядет, бывало, тятя под окошко, подшибется рукой, да и сидит, как статуи, молча. «Ты чегой-то, Терентий?» — мамынька окликнет. «Так, ничего». Мамынька на реку сбегает, баню протопит, придет, а он все еще подшибившись сидит. «Да ты бы хоть поел, на-ка щербы покушай». — «Нет, не надо». — «Не брюхо ли у тебя схватило?» А отец этак срыву ответит: «Вот тут у меня болит... вот тут, понимаешь?» А сам по

сердцу ладонью стучает. «Ну-к иди, не то, в баньку, похвощись». — «Дура!» — крикнет отец, вскочит, сорвет с гвоздя картуз да марш вон. А мамынька — выть. Уж ночью придет батя, к петухам почитай. Вот день, вот другой, вот третий... Батя сам не в себе. Потом оклемается — опять за работу... Недели две так продюжит, а тут опять к нему лихо причепится. Ах ты, господи! А то пить учнет. И пьет, и пьет, фу ты, пропасть! Так вот и маялся. «Да с чего это с тобой, Терентий, сделалось?» — мамынька спросит. «Тоскливо мне... Тоска... Понимаешь, тоска...» — а у самого слезы. «Дык, дай я тебя натру, благословясь, сорокапритошником, от сорока приток, сорока болезней способствует». — «Молчи, дура, баба», — и весь сказ. И вот, братец ты мой, теперича, слушай, какая оказия стряслась. Спишь, нет?

— Я слушаю.

— То-то. Ну вот... Заходит к нам в этакое-то время бродяжка, так мозгляк какой-то, ночевать просится. Ну что ж, ночевать так ночевать, места не жалко. Накормили его, значит, напоили. «Откуда бог несет?» — «По хрещеным хожу, питаюсь. А вот, говорит, верстах в десяти от вас — чудо». — «Какое чудо?!» — отец обрадовался. «Да, говорит, по Нижней Тунгуске из Енисейска-города на Лену в каторгу преступников в лодке бечевой тянут, а среди них, говорит, знаменитый разбойник Горкин с любовницей». — «А чем же он знаменитый?» — «Да его, говорит, никакие цепи, никакие остроги не держат... Слово такое знает, сколько раз убегал... Сам убежит, да еще человек с двадцать уведет с собою». У тятки и глаза загорелись, аж задрожал весь. «Изот! — кричит мне тятя. — Оболакайся живчиком, пойдем глядеть». Ну, иначе, мамынька умолила тятю, — не потрогал меня, один ушел. Вот ждать мы тятеньку, ждать — нету. Опосля того, этак через неделю времени, и бряк в окно: «Эй, отворитесь-ка». А ночь была глухая. «Ну, говорит, Акулина, вот чудо, дак чудо видал я», — и начал нам, значит, по порядку, что и как. До самого утра я разиня рот слушал.

«Вот прихожу, говорит, я на Еремкину Луку, а там действительно костер горит, возле костра люди. А туман такой стоял, что страсть. Поприветствовал я, говорит, народ. Гляжу — все чужие. И вижу, у костра сидит женщина, красным платочком повязана. Как уперлась она в меня глазищами, я так пазад и подался. «Чего, говорит, испужался», — а сама возьми да улыбнись. Ну, такой женщины сроду, говорит, не видал, ну, до чего у ней, говорит, глаза удивительные, как стрелой разит, вот как. Ну, из себя тоже шибко хороша. Да. «А главная-то рыбина в лодке, в шитике», — говорят мне. Я туда. Сидит мужичище, вроде цыгана, нос горбатый, борода черная, цепями весь окован. Как

взглянул я на него, сробел, жуть на меня напала, плюнул я, — век, мол, тебя не видеть. Вот начал народ суетиться у лодок, время плыть, коней начали в постромки вчаливать. А женщина встала, отряхнулась, бровью повела, — ну, прямо королева. «Дозвольте мне, говорит, на эту гору подняться. Лодку я догоню». А река тут быстро бежит, лодку супротив воды тянуть трудно, лодка огромная — шитик. Старший ей говорит: «Ну, ладно, иди, никуда ты в тайге не скроешься». Вдругорядь улыбнулась женщина, подобрала юбочку да айда на гору, а шитик тем временем с разбойником вверх повели. А я стою, — говорит мой родитель, покойна головушка, — дожидаюсь ее, прямо ну вот, скажи на милость, все бы на нее глядел, ну прямо околдовала, дьявол. Долго ли, коротко ли, говорит, ждал, ну только гляжу: спускается с горы, маячит сквозь туман, сама в веселых мыслях и какой-то цветок в руке держит, травинку. «Вот, говорит, мужичок: сколь времени я такой цветок искала, нигде не могла найти, опричь этого места. Беги, говорит, мужичок, к лодке, а я с этим цветком под водой пойду, я вас наздогоню». И не успела, батюшка ты мой, вымолвить, подбежала к крутому берегу да чебурах в воду, только гул пошел. Я — ай-ай! караул! — да ну по кустам вдоль берега тесать, быдто заяц... А туман страшенный; сколь разов, говорит, я под берег кубарем летал. Ну, кой-как догонил шитик. «Стой, кричу, стой! Женщина утопла!» Шитик к берегу, я вскочил, говорит, туда, начал все чередом обсказывать, так, мол, и так, и вдруг в это самое времечко как взыграет вода под кормой, как выпырнет наша красавица-то: «Ну, вот и я!» — а сама сухохонька, быдто и в воде не бывала. Мы все так и осатанели. Шапчонки сдернули, окстились. А она улыбается. Туман того гуще стал, все как в молоке, вся округа. Народ перепугался, шепотком разговоры ведут, боятся, как бы она, колдовка-то, какого худа не сделала: как махнет цветком, да оборотит всех медведями али гадиной какой. А она, братец ты мой, ровно бы угадала. «Вы меня не пужайтесь!» Ну, мы ничего, оправились».

Мой родитель с неделю с ними плавал, она еще разов пяток таким же побытом под водой ходила. Да...

Ну, теперича, паря, давай курнем.

IV

Накурившись всласть, дед приподнялся, задвинул дымовую продушину, огладил Жучку и снова лег.

— Ну, дак вот, парень... На чем бишь я остановился-то... Да-а-а... Этово, как ево... Да-а-а...

Наконец, собравшись с мыслями, дед начал:

— И с этого самого времени родитель мой, покойна головушка, в отделку загрустил, окончательно умом тряхнулся. Самое лето наступило, пора сенокосная, тут только давай-давай. А он как-то утречком: «Ну, прощай, баба... прощай, сынок... А я пойду...» — «Куда ты, что ты?..» — «Пойду счастье пытаться». — «Очнись, одумайся...» А он свое. Так, братец ты мой, и скрылся. Плакали мы с мамынькой, плакали, как быть, куда деваться? Объявили миру, стали у мира помочи просить. Вот всей деревней с неделю по тайге шарились, да разве сыщешь: тайга эн такая, конца-краю ей нет...

А тут пошел это я с ружьишком ливных уток пострелять по Ереме-реке. Вот, братец ты мой, подхожу это я к берегу, слышу: склопало что-то по воде. Я испужался: схоронился за сосну, высматриваю. Опосля гляжу: человек посередь реки вынырнул да к берегу по саженкам чешет. Глядеть, глядеть — господи, царь небесный, да ведь это тятя. Я к нему. «Тятенька, кричу, тятенька!» Подбежал, повис у него на шее да ну реветь в голос: «Ты что же, тятенька, задумал?» — «А я, сынок, цветки пытаю всякие... Мне колдовской цветок обязательно надо сыскать... Пойдем-ка». И повел меня в кусты. Шалашик у него там сделан, а кусты густущие, век не найти бы... Возле шалаша на козлиных жердочка строганая, а на ней всякие нанизаны травы. «Вот эти все перепробовал, в них силы нету настоящей». — «Тятенька, мамынька меня за тобой послала... Пойдем». — «Обожди, сынок. Айда к речке!» Вот повел меня к берегу. Разулся опять, разоболокся, взял из кучки один цветок белый, зажал в горсть, разбежался да бултых в воду, на самое дно. Ну, я стою разиня рот, дивлюсь. Опять тятя нырк наверх посередь речки, фырчит, отдувается, аж захлебался весь. «Не тот, кричит, не тот!.. Дай-кось синенький». Да так до самого вечера и нырял все с разными цветками.

Ну, иначе, сговорил я его. Пошли мы с ним домой. Как вошли в тайгу, сели под елочку, я ему и говорю: «Зачем же тебе, тятя, такой цветок?» Он похлопал это меня по плечу, вот как сейчас помню, да таково ли ласково вымолвил: «Ах, сынок, сынок... Еще молодой ты, чего знаешь... Скушно человеку, сынок... Вот как скушно... Ты слыхал, говорит, сказку, как Иван, царской сын золотых кудрей, на колдовском коне за тридевять земель ездил, али про жар-птицу, али про ковер-самолет?.. Вот то-то и есть, сынок! Да кабы мне такой цветок-то колдовской найти... Ха! Да я бы сквозь все земли прошел, я бы все небушко надзвездное вольной птахой выпорхал... Ух ты, господи!..» Обнял

он меня, да таково ли страшно задышал... Я уставился на тятю, а у него слезы так ручьем и хлещут...

Дед пофыркал носом и незаметно смахнул набежавшую слезу. Под нарами тихо взлаивала во сне Жучка. А в костре попискивали, о чем-то шептались золотые угольки.

— Ну, как ты думаешь, чем же вся эта побывальщина окончилась? — спросил дед, повернувшись на бок, ко мне лицом.

— Не знаю.

— А окончилась она так, милый... Верпулся отец и все нам с мамынькой по хозяйству справил. Вперед всех с поля убрались. Да. И вот в позднюю пору, уже когда деревья начали призадумываться, а в лесу красный лист обозначился, опять тоска к отцу подкатилась. Он мамыньке, царство ей небесное, ни гугу, а все со мной больше разговор имел. Как-то раз и говорит: «Я теперича, Изот, по-другому надумал цветы пытаться». Не прошло и трех дней, хватать-похватать, тяткин и след простыл. Ну, тут опять и началось у нас с мамынькой. Она и к попу-то ездила, и знахарок-то выпытывала, и шамана от тунгусов примала, — нет. Прямо как канул.

Уж ко движению дело подходило, на хребты снег пал. Сидим мы как-то с матерью, сумерничаем... Приходит в избу сусед наш Онисим. Покрестился на святы, — «здорово, говорит, живете», — а сам топчется. У нас с матерью так сердце и захолонуло. «Ох, не с добром ты, я вижу, Онисим», — мамынька молвила, а он: «Так что Терентий ваш нашелся». — «Где?!» — «Известно, в тайге». — «Ну!» — «Зверь его, видно, зашиб, медведь». Мать моя так с лавки и покатила. А он: «Ехали мы, говорит, из кедровника, с орехов, глядим — что за оказия! — из-под хворосту ноги торчат. Раскидали хворост, а там Терентий вниз лицом лежит, а в горстке у него цветок желтенький зажат быдто».

Дед, помолчав, прибавил:

— Вот те и все. И весь сказ мой. Вот я и мекаю: однако он, родитель-то мой, покойна головушка, медведя цветком-то покорить хотел да в поднебесье лететь на нем, навроде сивки-бурки... А?

Дед замолк и долго лежал, тяжело вздыхая. Костер прогорал, в зимовье стоял колеблющийся сумрак, а голубой сноп, лившийся через ледяное оконце, нащупывал что-то под нарами, шарил в темном углу, кого-то выслеживая и карауля.

Возле зимовья вдруг слышался скрип снега, будто грузный человек взад-вперед ходит, и тихий, надвигающийся из тайги разговор. Жучка, заблестев глазами, сторожко подняла голову и, потянув ноздрями воздух, октависто заворчала.

— Дедушка, чуешь?

— Стой-ко, ужо...

Мы приподнялись, сидим, опершись руками в землю, и чутко прислушиваемся. Да, голоса... Говорят медленно, тихим распевом, много голосов. Все ближе, ближе...

— Ах, окая-а-нный, а?..— испуганно шепчет дед, крестится и тянется тихонько за ружьем. А голоса громче, шумней...

Жучка, вся оцетинившись и рыча, подступает к двери. Кто-то за дверью стоит, торопливо шарится, скобку ищет...

— Стой, держи... Хватай ружье!..

И уж не разобрать, что творится там, за стеной: все смешалось в еще далеком, но быстро растущем вое.

— Жучка, узы!..

И вдруг тут, среди нас, застонало, завывало, загайкало, дверь рванули — гайгага-а-а!..— дверь настежь.

— Свят, свят!..

Ворвалось, ввалилось что-то безликое, все в белом, крутануло, плюнуло, разметало весь костер, холодом глаза залепило, захало...

— Аминь, аминь!..— взревел дед и грянул из ружья...

— Сгинь, нечистая сила, сгинь!..— и все смолкло.

Я, не попадая зуб на зуб, стоял возле деда в глубокой тьме. Жучка жалась к ногам и испуганно повизгивала. Дед трясущимися руками чиркнул спичку, лучину зажег. Весь пол, нары и мы сами были запорошены снегом, а дверь — плотно закрыта.

Дед перекрестился: «Ну-ко, благослови, Христос»,— и как-то по-особому, с хитринкой улыбаясь, стал разводить костер.

— Вот они, нечистики-то... Чуешь?.. Ишь как я его из ружья-то ожег подходяшке.

В двери зияла пробитая пулей дыра.

— Это ураган,— заметил я.

Дед круто обернулся ко мне, выпрямился, ударившись головой о потолок, и зло крикнул:

— Ураган?! Как не ураган!.. Много ты смыслишь... Вот пойдем-ка по дрова.

Мы вышли. Тайга не шелохнется. Полный месяц в мутно-белом кругу высоко стоял над тайгой. Снег на полянке переливался алмазами, и кругом была холодная тишина.

— Ну, где ж тебе ураган? А?..— подступал ко мне дед.

— А видишь, как запорошило тропу...

— Тропу-у-у?! Толкуй слепой с подлекарем... Вот те и тропу... Тащи дрова-то... Умник!

Вновь заснял костер. Мы вывели набившийся в зимовье снег и стали укладываться спать.

— Это оттого, что я маху дал, забыл дверь окстить.

И дедушка Изот залез на нары, закрестил торжественно дымовую продушину, потом стал крестить дверь, шепча какие-то тайные слова и сплевывая через левое плечо.

Была глухая полночь. Меня одолевала дрема. Я засыпал под раскатисто-плавный голос деда:

— Вот так же лег я, не поблагословившись, в зимовье одном, а там быдто блазнило, значит, по ночам рахало... Да-а-а...

Всю ночь мучили меня страшные сны: то филином летал я над тайгой, то боролся с медведем, то нырял на дно реки за колдовским цветком,

ТА СТОРОНА

I

Они жили втроем: старый тунгус Давыдка, его жена Чоччу и брат Давыдки — Василий. Крестились недавно — вряд ли пять лет прошло — и ничего не понимали в новой вере. Знали только понаслышке, что есть бог Никола, что он живет в большом селе, в белой каменной юрте, и что перед ним днем и ночью горят свечи. Но село от них, сказывают, тысячу верст: до него надо полсотни дней тайгой брести. Правда, поп-батенька много толковал им, вел мудреные речи, пальцем на солнце показывал, но они путем ничего не поняли, а Давыдка слушал, слушал да заснул и захрапел так громко, что все кругом захохотали. А поп-батенька рассердился, погнал их всех на реку, надел новые рубахи, кресты на грудь медные большие положил, помахал золотой штукой с дымом и долго причитал громким голосом. И стал с тех пор Буркинуль — Давыдкой, Чоччу — Машкой, а Рынтай — Васильем.

Так бы и жить им втроем, но случилась большая беда: старого Давыда медведь задрал.

Овдовела Чоччу. Стал Василий ее самым любимым мужем, первым. Оба молодые, сильные, жили в согласье: сохатых били, белок, лисиц.

Приехал как-то поп-батенька и долго их ругал. А за что — путем не знают. Неужто Василию жениться на чужой тунгуске, неужто Чоччу одной, без мужика, жить? Плевать, что мертвый Давыдка его родным братом был!

Никогда Василий не послушал бы пустых поповских слов, если б не сердце.

Как-то встретил он в тайге молодую женщину, по-чудному встретил, словно в сказке. Высмотрел он на суку белку. И только было прицелился, а ружье — грох! — белка кубарем. Выру-

гался Василий, что ружье само пальнуло, глядь — а к белке женщина нагнулась.

— Моя,— кричит Василий.

— Нет, бойе, моя,— ответила чужая женщина.

Василий осмотрел свое ружье: пистон целый.

Закурили трубки. Анна, затянувшись, передала свою трубку Василию, почмокала розовыми губами и сказала:

— А я, бойе, себе мужика ищу... Муж помер. Одной не славно. У тебя баба есть, бойе?

— Есть...— сказал Василий, рассматривая ее губы и глаза. Но сердце его замерло, и кровь ударила в голову.— Нету,— поправился он.— Есть, да... Только...— Он замялся.

Василий домой вернулся не в себе. И всю неделю был жалкий, растерянный.

— Ну, ищи другую,— сказала Чоччу.

Взглянул на нее Василий: баба сидит, вся в дыму табачном, глаза горят.

— Как ищи?.. Откуда знаешь?

— Ищи... Одна проживу.

Чоччу хорошо стреляла, хорошо пальмой-рогатиной владела, найдет медведя — не упустит.

— Я, Чоччу, на промысел пойду... Ты, Чоччу, дожидай...

Утренней зарей взял Василий ружье, собаку, поводит носом во все стороны, принюхался и быстро зашагал полевой восхода.

На четвертый день вляяли собаки, дымок синий показался, олени целым стадом бродили возле, отрывая из-под снега мох.

— Вот, пришел...

Анна у костра сидела на пенышке и крошила в котел оленьё мясо. Подняла на него глаза, осмотрела с ног до головы: Василий красивый, высокий, плотный — и ни слова ему не сказала.

Он шагнул в ее чум и разложил там костер. Вскоре явилась и Анна. Нашлось вино. Вкусно поели, веселые сделались, вино по жилам потекло. Вот сам собой рухнул чум, открылось небо, звезды унизали деревья и, щурясь, стали смеяться, а круглый месяц колесом закружился, запрыгал по небу, как по снеговым полям заяц.

Анна вскрикивала и хохотала, весело ударяя в ладоши. Василий указывал пальцем на месяц, подмигивал ему, дразнил языком, хлопал по плечу Анну и, сюсюкая, что-то без умолку болтал.

А когда вместе с звездами вся тайга пустилась в пляс, все завизжало, запело, заухало, свист кругом пошел, топот, Василий испугался и залез в просторный, из оленьих шкур, мешок.

Разбудил его злобный лай собак.

Василий открыл глаза: темно. Его крепко обнимали за шею чьи-то теплые руки. Он потрогал — женщина. Он провел осторожно пальцами по ее лицу: глаза у нее открыты.

— Бойе... — сладко сказала женщина.

— Ну? — спросил Василий, соображая, кто она, где он.

— Проснулся, бойе? Вставай!

Они вылезли из мешка. Сквозь верх чума просачивался солнечный свет.

— Анна? — удивился Василий и захохотал.

Анна улыбалась, закуривая трубку.

Собаки лаяли отрывисто, зло, словно по зверю. Отпахнулась пола чума, вошла Чоччу с трубкой в зубах, с ружьем.

— Уйми собак, — сказала она Василию.

Тот смущенно вышел.

Женщины быстрыми глазами ошаривали друг друга.

Чоччу была красивая. Но Анна краше. Чоччу вздохнула.

Василий долго не являлся. Обе женщины молча поели мяса и сулихты. Когда пришел Василий, Чоччу собралась в поход.

— Знаю... ты меня бросил... — сказала она. — Я встану чумом недалеко... день пути. — И пошла: несколько заседланных оленей тащили ее добро, и целое стадо их шло по бокам и сзади.

— Кто такая? — спросила Анна.

— Родня. Давыдиха... Машка... Чоччу.

II

Ну что ж! Хорошо можно было бы и с Анной жить. Но сердце Василия дало трещину: исподтиха началось — дале шире — раздвоилось сердце, как рог молодого лончака-оленя, Василий словно встал у следа двух лисиц, разбежавшихся в стороны: хорошо бы разом обеих взять.

Неделю Василий прожил с Анной. Анна такая красивая — глаз не отведешь, но Чоччу крепко к сердцу приросла — родней. Вот бы вместе всем. Но огонь с водой когда уживались? Чоччу добрая, тихая, у Анны в глазах гроза. Кто сильнее: вода или огонь? Чоччу грудь с грудью с медведем сходится — трубку курит. Анна, пожалуй, не дрогнет и человека пальмой-рогатинной пырнуть.

«Огонь все попалит, вода все зальет», — припоминается ему песня старого Давыдки — и уж не знает Василий, чем обмануть, успокоить свое сердце.

Когда про Анну думает — сердце радостно бьется под камзолом. Про Чоччу вспомнит — обомрет сердце, заскучает, словно обмороженная нога в тепле.

Сидит Василий на коряжине, в глухой тайге, а возле него табун оленей. Увидали человека, со всех ног к нему бросились: густой кустарник из оленьих рогов вырос, и в нем, как красный гриб в лесу,— Василий в своем красно-огненном камзоле. Тихий снег раздумчиво падает. Тайга распластала, раскинула свои лохмы, вся белая, примолкла, будто спит, а сама все чует: вздохни — насторожится, крикни — голосом ответит. Хорошо бы вот так сидеть, сидеть. Пусть бы белый снег валил, пусть бы олени стояли возле, Василий сидел бы смирно и, закрыв глаза, мурлыкал бы песню. Хорошо сидеть, хорошо вспоминать о том о сем, а лучше ни о чем не думать. Так оно и было раньше. А теперь...

Василий покрутил головой, вздохнул... Он здесь долго будет ждать: весь вечер, всю ночь, пока не позовет Анна... Разве вскочить да заорать на всю тайгу, чтоб олени градом прочь? Холодно. Разве вскочить да закружиться на месте, как шаман? «Вскочу!..» — думает Василий и неподвижно сидит, словно вросший пенек, весь от снега белый. Он сейчас зажжет костер, ляжет на бок в снег и станет разгадывать, о чем бормочет пламя. «Вскочу», — вздрагивает Василий и, весь скрючившись, начинает похрапывать и посвистывать носом.

— Анна!.. — сказал однажды Василий. — Хорошо бы, Анна... Та молчит. Тихо Василий начал, просительно. Анна сердито вздохнула.

— Неужто, Анна, тебе не жаль?.. Одна живет... Куда попала?.. Плохо... Одной, Анна, борони бог, как плохо!

Анна выхватила изо рта трубку, сплюнула. Василий опустил глаза и долго рассматривал на своих ногах чикульманы.

— Вот бы ей тут жить... Возле нас... Мне ее не надо, Анна... Мне тебя надо... А она — так... родня...

Анна быстро схватила палку и со всего маху ударила подвернувшуюся собачонку.

Василий взглянул на Анну и тотчас же боязливо опустил веки.

На другой день он взял двух собак, чтобы идти на медведя. Голубое небо ласково глядело на него. Снег полыхал под солнцем, слепил глаза. Василий зажмурился, потянул в себя свежий морозный воздух, и все в нем заиграло.

«Скучает баба... пойду, навещу», — радостно подумал он, поправил красную повязку на голове, оглянулся на чум и быстро зашагал. Собаки весело скакали, барахтаясь в сугробах.

— А не видал ли ты учуга-оленья?

— Нет, не видал... Ты как? — Василий даже попятился.



И они направились с Чоччу к ней в чум. Шли всю дорогу молча. Тунгуска печальными глазами, крадучись, поглядывала на Василия и тихо вздыхала. А дома, в чуме, стала свежевать белок.

— Вот все одна быюсь. Волки прибежали,— сроду не было,— прибежали, оленей распугали. Убила трех.

Она оправила костер и откинула назад черные косы.

— Хожу-хожу по тайге — устану... Приду домой — нет никого... Был муж — нету... Был Василий — отняли... Ну, каково живешь? Славно ли живешь? Рад ли?

— Маленько рад, маленько не рад...

Василий тер рукою лоб, сдвигал и расправлял брови, кричал. Ему надо много толковать с Чоччу... Надо бы самое-то главное сказать, чтобы поняла, надо хорошо языком повернуть: пусть Чоччу успокоится — он ее не бросит.

— Я... я... ничего... Вот Анна только...

Василий больше ничего не мог сказать. Он в раздражении больно прикусил язык, на глазах слезы выступили. Очень плохой язык, не может вертеться как следует, не может толковать все чередом, по порядку, чтобы складно и мудро, как у шамана.

— Языком вертеть не смыслю...— Василий высунул окровавленный кончик языка и указал на него пальцем.— Тут много,— хлопнул он себя по лбу,— тут того больше,— дотронулся он до сердца,— а язык дурак!.. Прямой дурак, заплетается в зубах, как лисий хвост в трущобе.

Василий опустил голову и засопел. Он все слова расшвырял, а новых не накопилось. И уж до самого вечера сидел молча. Он с любовью разглядывал каждую вещь в чуме. Вот иконка маленькая, закоптелая, висит на жерди, а рядом с ней лесной шайтан, звериный хозяин, Боллэй-батюшка, с бисерными глазами. Вот кумоланы, вот для костра рогульки, и все знакомое такое, близкое... свое...

— Ты совсем ко мне?— спросила Чоччу.

— Что ты! Как?— испугался Василий и быстро встал.— Пойду... А то...

— Да, ну-ну?— удивилась тунгуска.— А я одна?

Когда она подняла голову, Василия не было.

Другому надо день идти, Василий в одночасье прибежал, всех собак замучил. Скакали-скакали по сугробам, рассердились, влобно лаять начали. Скакали-скакали, из сил выбились, задрали носы кверху, взвыли.

Василий вторую чашку чаю выпил, когда пришли измучен-

ные собаки. Кривая сучка Камса всунула в щель чума остроносую морду, нашла желтым единственным глазом хозяина и, презрительно оскалив зубы, зарычала. А Василию и псевдомек, что волки появились, что сыпучие сугробы для собак — беда. Он все тогда забыл, только Анну помнил: у Анны брови тонкие, щеки — как цвет шиповника, тело гибкое, руки в глухую полночь ласковы, но... в глазах — гроза.

— Бойе... Это ты напрасно... — загадочно сказала Анна.

Василий раскрыл рот. Ни слова не проронила больше Анна, но он все понял.

Никогда Анна так не ласкала Василия, как в эту ночь. Но в этой ласке Василий чувствовал что-то страшное и, обливаясь холодным потом, ждал, что Анна всадит в его сердце нож.

Едва дождавшись рассвета, Василий побежал в тайгу по вчерашним следам, а обратно возвращался тихо, попутив голову и весь холодея. Солнце склонялось к западу, когда он пришел домой. Анна вышивала бисером красивый фартук-хальми и на Василия не взглянула.

— Далеко-далеко, там... Я твои следы видел рядом с своими, — дрожащим голосом сказал он и почувствовал, что его сердце останавливается.

— Где твой медведь? Убил вчера? Нет? — чуть слышно проговорила Анна. Лучше бы по щеке его ударила. Он молчал.

— Ты меня убил... — так же тихо сказала Анна. И на ее бисерный хальми скатилась бисером слеза.

Назавтра, рано утром, Анна согнала в кучу всех оленей, заседлала верховников и навьючила все свое добро.

— Пойдем, — сказала она Василию.

— Куда?

— Неделю будем идти, другую будем идти, да еще, да еще... Далеко уйдем... Тут нам не жить.

Василий почувствовал себя кустом калины, который с корнем вырывают из земли.

Пошли они на север, в ту сторону, где одни ледяные старички живут. Василий знал, что там лето короткое, и когда пойдет с ледяного моря осенний холод, все крохотные сказочные старички собираются в кучу и садятся на пенышки. Сядут, пошепчутся и опустят враз головы. А из носу капельки у них бегут, а из глаз слезы все на землю да на землю. А мороз крепко слезу кует. И все сидят, все сидят, сонные, пока не получится ледяной батожок-палочка, из носу да в землю. Так до весны и сидят. Василий все это вспомнил, страшно ему идти в далекую северную сторону.

Анна звонко кричит.

— Модо! Мод-мод-мод!.. Ко! Ко! — Звонко по тайге ее голос стелется.

Тайга седые брови морщит, слушает, непролазная, вся укутанная снегом.

III

Живет Василий с Анной на севере, хорошо живет.

Вот и весна пришла, снег начал таять, загудели ручьи, солнечный свет на ветвях повис. Ходит по тайге Василий, в каждую пору, в каждую берлогу заглядывает, у пенышков глазом землю шарит: хочет волшебных старичков найти. Но старичков нет.

— Нету... Нигде не видать...— сказал он Анне.— Надо своего дожидаться, маленького... Когда оттаешь? Когда раздвоишься?

— Скоро,— сказала Анна и как бы невзначай провела рукой по своему большому животу.

Василий рад был, что у них родится сын. Он знал, что сын. Ему надо сына. Хороший тунгус будет, белку бить будет, медведя дедушку-амаку. Не скучно будет с ним,— с ним да с Анной. А Чоччу как? Где-то она, жива ли?

Василий зыбку для сына смастерить собирается. Надо хороший лубок найти, а где его найдешь, надо большую осокорь искать. С утра ушел Василий, целый день шлялся и только вечером — уже звезды над тайгой сияли — вернулся домой.

У дерева оленюха за рога привязана; тонкая, как девка, Анна доит ее.

— Иди-ка в чум, отгони собаку,— сказала она каким-то особым голосом, ласково так сказала, нараспев.

— Геть!— войдя в чум, крикнул Василий.— Геть!— собака стоит над разостланной у костра шкурой и, крутя хвостом, что-то обнюхивает. Присмотрелся Василий, языком прищелкнул и пал на колени перед маленьким своим сыном.

— Анна! Анна!— закричал он.— Гляди! Сын родился.

Когда вошла Анна и улыбнулась, в чуме сразу светлей сделалось.

И стал Василий отцом. Теперь ему никого не надо, кроме Анны и маленького Ниру. Забыл Василий про Чоччу, совсем забыл.

А Чоччу в тот самый день, когда откочевал сюда Василий, пришла налегке к опустевшему стойбищу.

— Нету...— сказала Чоччу и, вернувшись домой, три дня не ела, не пила.

Месяц дожидалась, вот придет,— другой дожидалась, да еще, да еще.

— Бросил,— сказала Чоччу.

И как сказала себе это слово, будто бы легче сделалось, а потом опять... Такая тоска... эх, лучше в землю...

Каждый вечер подходила она к высокому шесту с жертвенной кожей наверху, подшибалась ладонью и долго щупала осиротевшими глазами таежную тропу. Смотрит и поет, и причитает, а слезы сами собой текут, и дрожит сердце.

«Та сторона далекая... Там Василий... Вот щеки мои завяли, вст губы высохли... А Василья нет. Я вскочу на самого быстрого оленя, скажу ему: ищи, олень, милого... Олень, олень! Взвейся над тайгой, отыщи моего милого... Нет! Стой, олень, стой смирно!.. Забыл, пусть забыл... Я буду одна... Пусть тайга кругом гудит, пусть медведь бродит... Я буду одна...»

Чоччу утирает слезы, гонит прочь подвывающую ей собаку и вновь жалобно:

«Ой, ветер, не шуми хвоей!.. Скажи, ветер, сердцу — может, послушает — пусть молчит: одной лучше... Я одна, совсем одна... счастливая! Разве ты не знаешь, ветер, какая я счастливая...»

IV

Лето прокатилось, осень на исходе. Василий все еще на севере. Первый снег на хребты, на полянки пал, болота подстыли, мерзлая трава под ногой хруст дает.

— Ну, как — ничего? — спросила однажды Анна и, оторвав от груди черпоглазого Ниру, долго целовала его в крохотный влажный рот.

Василий не понял, о чем спросила Анна, и, растерянно улыбаясь, ответил:

— Ничего.

— Ничего? Забыл?

— За-а-был...— махнул рукой Василий и пощекотал травинкой в носу Ниру. Тот скосил глаза на травинку, чихнул и загозил кулачками возле носа, пуская пузыри. Анна и Василий громко засмеялись, а Ниру забрал в рот свою погу, стал ее сосать и радостно гулькать.

Утром Анна переспросила:

— Забыл? Верно?— и долго, пристально глядела на Василия.— Лови оленей, выючь. Нюльгирить будем.

— Куда?— как и в тот раз, удивленно спросил Василий.

— Ербогоч-ду... в Ербогоч, на ярмарку. Ничего у нас нет, все кончилось, надо к купцу идти, надо пушнину торговому тащить.

Дорогой их захватила стужа. Василий, как всегда, шел впереди, прочищал тропу, за ним верхом Анна, за ней на отдельном олене, болтаясь справа у седла,— Ниру. Его положили в лубочный коробок, на дно постлали коричневой трухи от сгнившей древесины, чтоб было мягко. Он кое-как прикрыт оленьей шкурой, но его грудь голая.

Он почти всю дорогу спит, а то вдруг зальется звонким плачем.

— Не слышишь?— кричит Василий Анне.

Та ударяет пятками по шее оленя: «Ко! Ко!»

— Не слышишь? Ревет...

— Пускай греется,— равнодушно отвечает мать, а Ниру, заплакавшись вволю, замолкает.

Анна тогда соскакивает, привязывает к дереву оленя и вытаскивает полуголового Ниру из зыбки. Тот весь дрожит, но, почуввав грудь матери, с урчаньем и хрипом, как голодный волчонок, жадно нащупывает сосок и начинает, захлебываясь и сладко жмурясь, глотать теплое молоко.

Вьюга крутит и воет. Снег белой тучей носится по поляне. По сторонам гудит и гнется тайга. Огромные, оторванные ветром сучья, распластав хвою, проносятся над остановившимися тунгусами. Олени сгрудились и, подставив ветру зад, роют копытами сугробы.

Василий стоит возле Анны, прищелкивает языком и сглатывает, наблюдая, как сосет Ниру.

— Замерз?— спрашивает любовно Анна, ежась от холода.

— Борони бог! Жарко...— от Василия идет пар. Он устал, шагая по сугробам, его голова, повязанная красным платком, вспотела.

Шли долго. Вставали до солнца, оленей собирали и приготавливали в путь к полудню, а шли весь день дотемна. Но проходили верст пятнадцать — двадцать.

Облюбуют где-нибудь место,— сумерки, солнце давно село,— остановятся на ночлег. Снег выше колен — расчистят, поставят чум, набросают внутрь мелких хвойных веток и запалят костер. Тепло тогда в чуме. И если поддерживать огонь, тепло будет всю ночь. Но ночь для сна — в чуме к утру холод, как в тайге.

Пока приготавливают стойбище, Ниру стоит дубком в своей зыбке, внаклон прислоненной к сосне. Возле — костер-гуливун.

Стоит Ниру один долго. Стоит, на пламя смотрит, на игривые золотые языки, и прислушивается к их говору, и улыбается, довольный льющимся на него теплом. Наскучит смотреть — заплачет, наскучит плакать — примолкнет, гулять начнет, а то углядит косо прорезанными глазами висюльку в зыбке — тянется голой рукой и норовит заграбастать в рот.

А ночью Ниру спит хорошо, иногда во сне улыбается, отчего на смуглых, замазанных грязью щеках его — маленькие ямочки. Но никто не видит, как спит ночью Ниру, потому что ночью все крепко спят: собаки, олени, люди; только сторожевой пес, соблюдая собачью очередь, бегаёт дозором кругом тихого стойбища.

Были ночи звездные, но без месяца, темные. Были ночи с каленым холодным небом, с каленым месяцем, звезды тогда стояли четкие, крупные, мороз трескучий, палящий. Весь снег в алмазах, в блестящем бисере, и ночь казалась светло-голубой.

А то тихий снег всю ночь падает, тепло стоит — ночь мутно-белая. А то буря всю гуляет: и крутит, того гляди сровняет с сугробами тунгусский чум.

Долго тунгусы тянулись. Шли, шли — много тайги осталось сзади. Шли, шли, шли — расступилась тайга, просторно стало, перед ними поля легли. Остановились.

— Это что ж такое? — Василий разинул рот и указал на каменную, видневшуюся за рекой церковь.

Анна — человек бывалый. Она чуть презрительно, сверху вниз смотрит в смущенное лицо Василия, все еще стоявшего с удивленно открытым ртом.

— А ты не знаешь?

— Нет.

— Ах, бойе, бойе!.. Там Никола живет, русский бог Никола-матушка, — говорит она по-русски.

Василий прищелкивает языком, качает головой и вдруг, совершенно пораженный, замирает. Со стороны села прогудел и растаял удар большого колокола. За ним другой, третий. Удар за ударом густо колыхали воздух, словно огромный шаманский бубен рокотал над тайгой.

— Это что же такое? — круто повернув назад оленя, готовый кинуться в тайгу, спросил Василий.

— Колёколь!.. Колёколь!.. — радостно кричала Анна. — Бумм!.. Бум!.. — и, соскочив с оленя, подбежала к Василию.

— Колёколь!.. Слезай!.. — стащила его на землю. — Пляши! — смеясь, тормошила она мужа. — Колёколь!.. Бум! Бум!

Василий весь просиял, глаза от широкой улыбки скрылись,

он схватил за руки Анну, и оба, в огненных лучах заката, принялись кружиться и на разные лады повторять:

— Бумм!.. Бумм!.. Колёколь!.. Колё-околь!.. Бумм!

Заря была золотая, с красной по краям кровью.

V

Ярмарки не застали. Купцы разъехались. Пушнину сдать некому. Вина достать негде. Анна долго горевала.

Стойбище Василия было за рекой, в двух днях от села; Василий стрелял белок, ловил кулемками лисиц, колонков и горностаев. Анна иногда заглядывала в село, продавала там крестьянам меховые чикульманы и рукавицы, шитые бисером потакуи¹, а от туда приносила муки, чаю, сахару.

Ниру перед весной начал ходить. Он вставал на четвереньки и, одобрительно крякнув, тихонько приподымался. Он бродил по чуму, хватаясь то за мать, то за отца. Но за чумом он не бродил, а ползал по оттаявшей, покрытой хвоей земле и нередко сражался с собаками, отнимая у них кости.

Собаки всегда были к Ниру почтительны. Когда он подымался на кривых ножках, держась за собаку, та смирно стояла, поджав покорно уши. Когда он падал, собака тщательно облизывала ему лицо, и Ниру приползал в чум чисто вымытый.

Отец делал ему из тряпок кукол, из дерева птиц и оленей, а иногда игрушками ему служили отрубленные утиные носы.

Анну все теперь радовало: как-то по-особому блестело солнце, веселей пели прилетевшие издалека птицы, и Анне самой хотелось песен и любви.

Однажды ночью Анна вдруг проснулась в какой-то смутной тревоге. Полежав немного с открытыми глазами, она быстро поднялась и неслышно скользнула за чум. Прислушалась, вздрогнула, пошла в тайгу.

Было пасмурно. Начинал моросить дождь. Тьма была.

От холода заплакал Ниру. Он подполз к отцу и стал открывать ему глаза, подковыриваясь пальцами под веки. Василий проснулся, разложил костер, тепло стало, и Ниру уснул.

Лишь перед рассветом вернулась Анна.

— Я тебя долго ждал... всю ночь... Где была?

Анна глубоко дышала, ноздри вздрагивали, раздувались, лицо было красное от возбуждения. Она, согнувшись, сидела у костра и жадно затягивалась трубкой.

— Оленей, что ли, волк пугал?

Анна молчала. Наконец криво усмехнулась и насквозь пронизала Василия колючим взглядом.

¹ П о т а к у и — берестяные, крытые оленьей кожей сумы.

Она молчала целый день, а вечером, перед сном, вдруг захохотала каким-то невсегдашним смехом и нараспев сказала:

— Бойе... Ах, бойе!.. Это я так, бойе... Не бойся! Просто соп худой видела... Очень худой соп. Ха-ха-ха!.. Вот ночью бежала...— Лицо ее стало угрюмо.

Она укрылась паркой, легла спиной к костру и обняла Ниру. Василий лег, плотно прижавшись к Анне. Они всегда так спали рядом, но головами врозь, и возле лица Василия приходились выглядывавшие из-под парки маленькие ноги Анны.

Василию не спалось. Он ворочался с боку на бок, в кровь поцарапал бока и голову, громко и протяжно зевал. Анна храпела. Василий тихо встал, оглянулся на Анну — спит, и побрел в тайгу на лай собаки.

Вслед за ним вскочила Анна. Она — кошкой к дверце и, выставив голову, чутко насторожилась.

Было очень тихо. Только собака надрывисто лаяла и доносился придавленный окрик:

— Геть!..

Анна схватила пальму. Пальма тупая. Схватила топор. Она только что выменяла его у мужика, топор острый,— и кипулась в тайгу.

— Пойдем дальше!.. Она увидит...— стуча зубами и весь дрожа, говорил Василий.

— Пойдем ко мне, бойе... Пожалуйста, пойдем... близко...— звала Чоччу.

— Боюсь... Дознается.

Они стояли друг против друга, и огонек двух вспыхивающих трубок слабо освещал их тревожные лица. Василий видел, как по щекам Чоччу катятся слезы. Он ласково потрепал ее по плечу. Должно быть, сорвалась вблизи сова: крикнула, словно простонала.

— Пойду домой... После,— вздрогнул и заторопился Василий.

Подойдя к чуму, он чиркнул спичку и осветил внутри. В костре золотились угли. Анна так же спала, всхрапывая и шевеля губами. Сердце Василия забилося ровнее. Он лег возле жены и долго думал.

— Анна!..— наконец тихо дотронулся он до ее ноги.

— Ну?

— Ты не сердись, Анна... Вот я тебе буду толковать... Ты слушай...— И опять язык не может как следует работать.

— Ведь ты знаешь, Анна? Она здесь... Ты все знаешь, Анна.

— Кто? Родня?— спокойно сказал Анна.— А ты ее видал, бойе?

Василий засопел и подавился кашлем.

— Я... я... она близко... Я оленя ее видел, учуга...
— Ты оленя, бойе, видел?
— Да... оленя... И еще собаку... Собака лаяла.
— И собаку, бойе, видел?
— Да, и собаку... Она бежала возле Чоччу... А Давыдиха, Чоччу-Машка, искала оленя... А собака лаяла...

— А ты?

— А я... я... — Василий часто замигал и отодвинулся от Анны. — Мой язык дурак. Он не то плетет. Он зря толкует... Ты его не слушай, Анна! Он дурной... Я никого не видал, Анна!

— И что же она тебе толковала?

— Я видел ее оленя.

— И зачем она тащила тебя в свой чум?

— Ты знаешь? — приподнялся Василий. — Тебе сон снился?

— Да, бойе, сон... Мне сон снился...

Они оба промолчали до рассвета.

Их разбудил закатистый плач Ниру. Он сидел на потухшем, но теплом еще костре, на грудке серого пепла и подбирал себе в рот черные угольки. Но вот, копошась в пепле, он нашел золотой уголек, красивый, и, крепко зажав его в руку, надрывался плачем. Не сразу догадались, что с Ниру, и когда разжали ладонь, она была красная, как прожаренное с кровью мясо.

Ниру намазали руку оленьим салом, завязали грязной тряпкой. Василий и Анна всячески старались утешить его и рассмешить.

Когда Василий, изображая сучку Камсу, стал на четвереньках ходить возле Ниру и тявкать, прищурив для большего сходства с кривой сучкой свой черный глаз, Ниру оборвал плач и засмеялся.

— Пойдем к родне, — сказала Анна спокойным ровным голосом, но левая бровь ее дрожала, а губы были плотно сжаты.

— Ладно. Пойду оленей ловить. — Василий старался казаться равнодушным, но голос его осекся.

— Пешком пройдем... Близко.

Они взяли Ниру и отправились в путь.

Анна шла впереди, уверенно, твердым шагом, словно много раз бывала у Чоччу. За плечами ружье, в зубах трубка, в руках пальма.

Небо было безоблачно. Выходило солнце. По опушке леса и у голых пней пестрели расцветающая саранка и желтый лютик — колдовской шаманий цвет.

Показался голубой дымок. Запахло жильем. Навстречу кинулась ошестинившаяся собака и громко залаяла на Анну. А перед Василием повалилась кверху лапами и заюлила.

Василий сердито пнул ее ногой и что-то буркнул. — Анна скосила на него глаза и язвительно засвистала.

— Что встал, пойдем! — крикнула она и уверенным шагом двинулась вперед.

Чоччу была больна. Она лежала в чуме, укрывшись паркой. Анна и Василий молча сидели возле нее и курили. Анна передала свою трубку Чоччу, и та, покурив, вернула Анне.

— Вот маленько кудой стал, — печальным голосом начала по-русски Чоччу, — маленько не славный, токно... Хвораль... одна...

— Одна... куда попало... плохо!.. — уныло подхватил Василий.

— Плохо... Совсем маленько плохо... Борони бог! — подтвердила Анна, следя за мужем. Но тот сидел с опущенными глазами.

Анна пытливо разглядывала Чоччу и сравнивала с собой.

Ну, конечно, Анна красивее. У Анны нос приплюснутый, лицо скуластое, румяное, губы маленькие, алые. А Чоччу... Ну, чего там про Чоччу толковать. Анна успокоилась и стала готовить обед.

Обедали молча. Но когда хозяйка вытащила из потакуя остаток спирту, все враз заговорили.

Ниру тоже тянулся к бутылке. Но, чуть глотнув, он несколько мгновений сидел с открытым ртом и с изумленно вытаращенными глазами, потом круто уткнулся в грудь матери, пободал головой и отчаянно завыл, высоко подняв больную обмотанную тряпкой руку. Анна, смеясь, схватила его в охапку и стала баюкать.

— Оеей!.. Ниру огненной воды хватил!.. Оеей. Ниру пьяный!..

А Василий вставил в его рот свою трубку и сказал:

— Чего гаркаешь? На, затянись!

Ниру пососал губами и, проглотив дым, закашлялся.

— Ничего... ладно... другой год идет. Учись!.. — смеялся Василий и вновь совал ему в рот трубку.

Чоччу сидела печальная, с повязанной головой.

Вечером Анна сказала:

— Надо одному остаться. Хочешь, оставайся? — взглянула она на мужа.

— Нет, я домой, — напряженно сдвинув брови, ответил Василий.

Он встал и вышел, ни на кого не взглянув.

Василий один прожил двое суток. На третий день зазвенели медные ботала оленей — женщины пришли.

— Вот... родня...— сказала Анна Василию.— Иди, ставь ей чум.

Чоччу выбрала невядалеке моховую поляну, чтоб был оленям корм.

Так стали жить трое, четвертый Ниру, опять в одном стойбище. Анна, как зверь по следу, выслеживала каждый шаг Василия. Тунгус это чувствовал и следил за собой, как лисица следит, замата свой след хвостом.

Чоччу брала, что можно, и чувствовала себя по-разному. Когда, крадучись, сидят они с Василием темной ночью, молча сидят, думают — хорошо тогда Чоччу. Но это бывает редко,— так редко, лучше б и не было.

Однажды, когда земляника вызреть стала, зашел к ним мимоходом тунгус Пиля, лохматый, страшный, Ниру очень его испугался.

— Чего в село не идете? Торговый сверху на шитике прибежал.

— Торго-овый?!— протянули враз тунгусы.

Им надо идти с большим караваном к торговому. От пушнины у них лабаз ломится: два года не сдавали.

Но Ниру ночью захворал: то ли Пиля его ушиб худым глазом, то ли спелой земляники объелся, лежал весь горячий и стонал. Ну что ж, захворал так захворал, пройдет.

Послали за вином Пилю. Сел Пиля на олея и на другой же день под вечер привез четверть спирту. У Пили — пальма да трубка... Было ружье, но он его пропил. Ему все равно, где жить. Остался он у Василия.

VI

Пировали у Анны с вечера до утренней зари. Пели песни, объедались олениной, ссорились, мирились, хохотали. Чоччу была грустная. Когда пели песни, она как-то по-особому грустно смеялась либо плакала, размазывая по лицу слезы.

— Чего реवेशь?— кричал Пиля.— Ты вдова, я вдова... Давай вместе!— и лез к Чоччу целоваться.

Василий тяжело задышал, быстро схватил Пилю за ноги и сильным броском перекувырнул его.

— Пошто бьешь?!— визжал Пиля, отдирая руки Василия от своих черных растрепавшихся кос.

Анна схватила чашку вина, залпом выпила, а остатки плеснула в глаза Василию.

— Кок!— крикнула Чоччу. Она хотела броситься к Анне, но остановилась и горько заплакала, тыкая пальцем в ее лицо:

— Ты!.. Ты!.. Все ты!.. Ну, ладно... Вот ужко...

Однако все скоро успокоились. Хмель свалил всех. По чуму — храп и бормотанье.

Ниру тормозил мать, плакал, злился, кричал. Мать не откликалась. Ниру, боязливо оползая храпевшего с разипутым ртом страшного Пилю, подполз к отцу. Но и от него ничего не добился.

Ему очень хотелось есть. Сидя возле отца, он поднял вверх голову и долго выл диким, без слез, голосом. Взгляд его упал на большой котел, у которого, крутя хвостами, работали собаки,— Ниру весело крикнул: «У!» — и заулыбался. Он подполз к котлу, ухватился за его края и поднялся между кривой Камсой и черным трехпалым кобелем.

— У!— вновь крикнул он, заглянул в котел и потянулся за добрым куском мяса. Тут Камса лизнула его в самый рот. Ниру чихнул, покачнулся и заплакал. Но сквозь слезы увидал полуобглоданную кость, схватил ее и стал сосать, зажмурясь и урча. Собаки подняли возле котла грызню. Ниру со страхом отполз в темный угол и забился между сумами.

— Геть! Геть!— заорали враз четыре оторвавшиеся от земли головы и тотчас же упали. Собаки воющим, визжащим клубком выкатились вон.

— У!— одобрительно сказал Ниру и пополз к большому куску сахара.

На другой день, когда Ниру уснул, Василий с Анной пошли в гости к Чоччу.

У Василия болела голова. Анна опохмелилась и шагала бодро.

— Отчего не пошел Пиля?— спросила она.

— Не надо... Больно худой... Больно лезет...

— Ты ему вырвал косу.

— Пускай!

— Чоччу возьмет его к себе.

— Она тебе сказала?

— Знаю.

У Василия пальма острая. Силы в ней сегодня много. Вот только голова... Он шел впереди Анны и разговаривал с ней через плечо.

— Ты врешь,— сказал он раздраженно и ударил пальмой по осине. Ствол дерева толстый. Крякнула осина, но не свалилась.

— Врешь!.. Дурачишь!..— крикнул он и ссек осину.— Я вижу...

— Как ты видишь, если я плеснула в твои глаза вином?

Василий вмиг вспомнил это, испуганно схватился за глаза, чтоб удостовериться — целы ли? И ему сразу показалось, что он плохо видит. Тайга стояла перед ним сплошной серой стеной, все как-то посерело вдруг и задрожало.

— Вот слепиться буду... Как тогда?— сглатывая накопившуюся обиду, сказал Василий тонким голосом.

— Слепиться?— равнодушно переспросила сквозь зубы Анна и пнула ногой большой красный мухомор.

— Носом учуешь... На-а-й-дешь!

— Кого это?— крикнул Василий, а сердце его застучало. Перед ним замелькало грустное заплаканное лицо Чоччу, встали в памяти ее слова и вся их былая жизнь. Если Анна не хочет жить вместе — он останется с Чоччу, возьмет Ниру и останется.

Василий хрипло вздохнул, пропустил жену вперед, закурил трубку и до самого стойбища шел понуря голову.

— Я сегодня богатая... Ха-ха!.. Я сегодня веселая!— встретила их Чоччу.— Давайте весело гулять... Давайте вино пить. Сегодня веселая будет ночь.

Она нарядилась во все лучшее. Синий, весь в позументах, камзол, большой крест на бисерном нагруднике, крупные серьги в маленьких ушах, туго закрученные, сложенные на голове косы.

— Давайте не в чуме. Давайте под сосной... Ночь теплая.

Чоччу, чуть откинув стройный стан, легкой поступью ходила от чума к сосне, где разложен огромный костер.

Анна была молчалива. Она, прищурившись, с злобной завистью смотрела на Чоччу.

Сегодня Чоччу красивее ее.

— Ну, чего ты? Пей!— весело крикнула Чоччу.

Анна выпила, крикнула и подала чашку:

— Еще!— выпила, крикнула.— Еще!! Давай скорей еще!

— Станем песни петь!— сказала задорно Чоччу.

— Какие песни? Тунгус не знает,— говорил Василий, обглаживая кость олененка.

Все были вполньяна.

— У меня своя есть... Хорошая есть...— поднялась Чоччу, утерла рот рукой,правила волосы, но, окинув Василия тоскующим, ревнивым взглядом, вновь села.— Я когда пью одна, всегда

плачу... Я всегда одна... Была вместе, стала одна... Ну вот, буду петь...

— Эй, месяц,— взмолила Чоччу зыбучим гортанным голосом и подшиблась рукой.— Золотой мой месяц!.. Ты один!.. Нет у тебя солнышка, ты один... Ой, месяц, я одна!.. Милый был, да пету — я одна!..

— Дай еще!— протянула Анна чашку.

Анна выпила и повалилась на бок, обхватив руками голову.

Она немного полежит и пойдет домой. У ней томится сердце. Она пойдет домой и нарядится в сто раз лучше Давыдихи... У ней соболья шапка, серебряный чеканный пояс, у ней золотые кольца... Она возьмет Ниру, маленького любимого своего смешного Ниру, оседлает серебряным седлом оленя и помчится в ту сторону, где солнце спит: она устроит чум и будет там жить. Мимо их чума пройдет молодой тунгус: «Эй, бойе, стой!» Остановится тунгус, красивый, улыбчивый... «Я, бойе, умею хорошо ласкать... У меня был один — мой, стал не один — чужой... Вот я ушла. Если ты один, если вольный, оставайся, бойе!..» Да, она сейчас встанет и пойдет. Вот и месяц смотрит, и месяц зовет ее, мигает. И Чоччу над ней смеется, воет про себя, скрипит... И Василий шепчет ей... Пусть!

— Не реви, не гаркай...— шепчет Василий.— Пусть уснет.

— Как узнаешь, спит ли?

— Я узнаю.

— Анна! Эй, Анна!— кричит Чоччу.

— Разбуди, спит. Дай ей вина. Тащи за косу.

Анна подняла, не раскрывая глаз, голову, нащупала протянутую чашку, выпила и еще крепче уснула.

Василий сидит, покачиваясь в обнимку с Чоччу; голова его валится на грудь. Чоччу шепчет:

— Теперь вместе... Как раньше, бойе... Как до Анны!.. Уйдем, бойе. А погонится, скажем: уйди прочь! Я, бойе, рожу тебе сына... Он будет наш... Давай, я тебя буду целовать...

— Услышит... Она — змея!

— Тьфу!

— Она тебя испортит!

— Я ее закляну... Давай, бойе, целоваться!

— Нет!.. Костер яркий... Месяц светлый... Не надо!

— Пойдем, бойе, в чум...

Василий тяжело поднялся, потоптался пьяными ногами возле спящей Анны и — к реке. Встав на колени, он по самые плечи погрузил хмельную голову в студеную воду. Если б не страх, он долго пролежал бы, не отрываясь от воды. Страшно вдруг сдела-

лось: сзади шайтан крадется — сгребет за ноги, бросит в омут. Василий вскочил, зафыркал, поплевал во все стороны и, обирая с черных своих кос воду, побежал к Чоччу в чум.

Он с опаской вошел туда. Чоччу, разметавшись, лежала на мягких пахучих хвоях.

— Бой-ой-е! — иволгой прозвучал ее голос.

Костер ярко горит, теплом на спящую Анну пышет. Звезды по небу узоры развели, разбросались золотым песком по синему. Месяц меж ними тихо продвигается, грузным светлым колесом к тайге клонит.

От костра уголек горячий — щелк! — да прямо Анне на лицо. Вскочила, отряхнулась, почесала обеими руками волосы и села. Пустая четверть с опрокинутыми чашками блестели, двигались в дрожащих лучах огня. У Анны сами собой закрылись глаза, а тяжелая голова вновь устало приникла к земле. Но вот Анна быстро со стоном поднялась и дико осмотрелась. У костра валялся камзол Василия, его кисет и трубка, а поодаль — шитый позу-ментами камзол Чоччу. От яркого пламени кругом темно. Анна, пошатываясь и натыкаясь на пни, обежала вокруг костра. Нету!.. Она сдернула с кучи потакуев лосиную кожу — нету!.. Она метнула взглядом по освещенным стволам сосен — нет пальмы Василия!.. Где пальма? Где топор? Нету! Сунула за голенище руку — нет ножа! И как-то сам собой прошел весь хмель. Прихлынула к глазам, к рукам, к голове, к сердцу сила, а ноги пропали, их будто нет, совсем нет. Анна над землей птицей летит к чуму. Как вобрала в себя воздух, не может выдохнуть. В руках в огненном золоте большое из костра полено.

Отпахнула полу чума, зашаталась.

— О-гый! — и, размахнувшись, швырнула в спящих пламенным поленом.

— Шайтан! — без памяти заорал Василий. — Огонь! Огненный змей! Чоччу! Вставай! — не заметив Анну, он, все опрокидывая, прорвал стенку чума и бросился в тайгу.

Огненный шайтан, растопырив крылья, настигал его. Василия кидало то в жар, то в холод и захватывало дух. Напролом, забыв тропу, он мчался из чума Чоччу к себе домой: шуршала хвоя, с хрустом ломались сучья.

— Догоню! — выл огненный шайтан и каркал вороном. У Анны глаза волчьи: и в темноте видят каждый скок Василия, стерегут каждую его увертку. По пятам гонится, устала.

Вдруг Василий пропал. Собака хамкнула... там, в чуме...

— Ага!.. В мой чум вбежал! — показалось Анне.

Она схватилась за сердце и, словно стрела из лука, влетела в свой чум.

Как рысь бросилась к сундуку, где был топор, как рысь нащупала во тьме изголовье мужа:

— А-а-а!.. Спишь? Прикинулся?!— И со всей силы в исступлении хряснула топором. И вдруг завизжала, загайкала, безумно, страшно...

Василий меж тем весь обомлел и сжался. Он и не думал вбегать в свой чум, это так лишь померещилось Анне. Он в это время ничком лежал в берлоге, куда провалился, спасаясь от огненного змея.

— Шайтан!— чакнул он зубами, прислушиваясь к вновь наступившей тишине. Ему все еще спяну чудился крылатый змей, что лизнул его пламенем там, у Чоччу, а по дороге чуть не слопал. Где же Чоччу, где Анна? Хоть бы пришли скорей!.. Василий крепко зажмурился, но шайтан, виляя желтым хвостом, ходит взад вперед под самым его носом.

— Агык!— гортанно рычит Василий, весь вминаясь в землю, и пьяным языком через силу бормочет заклятые слова.

В ушах звон: где-то гудит-рокочет бубен, потом все рассыпалось черными искрами и разом сгинуло.

VII

Когда проснулся Василий и высунул из берлоги голову,— кругом бело от холодного тумана. Он вспомнил про вчерашнее и боялся вылезти.

— Анна!— позвал Василий. «Вернулась ли? Или все еще там, у костра спит, не проснется?» — подумал он.

Василий знал, что в трех днях отсюда есть каменная сопка, где живет огненный змей — шайтан. Когда пролетает он, вались скорей в яму, не дыши, заткни уши мохом, заткни ноздри мохом, умри,— не заметит, прокатится.

Василий долго лежал в яме и когда вновь высунул голову — тумана не было. Он сразу узнал свое место: олени бродят, недалеко чум стоит,— и вылез из-под корневища.

— Омко-омко!.. Боллей-боллей!.. Помогай!..— он зорко огляделся.

Все тихо было. Огненного змея нет. Вставало солнце. Он подошел к своему чуму. В чуме тихо.

— Анна!.. Ниру!..

Тихо. Не шайтан ли передавил их? Василия забила дрожь. В чуме зарычало. Василий отпрыгнул и побежал к сосне. Шайтан! Из чума вышли две собаки. Они, насторожив уши, подбежа-

ли на робкий свист хозяина и, облизывая морды, кинулись к нему ласкаться. Василий приободрился, зашагал к чуму.

Вплотную подойти страшно: пожалуй, там шайтан... Кончиком шеста он отпахнул полу чума и, присев, заглянул туда. В чуме полумрак.

— Анна!

Анны нет. Он метнулся к зыбке.

— Ниру!

Ниру нет.

Он пал перед своей меховой постелью и вдруг с звериным стоном опрокинулся на спину, словно его кто швырнул. Весь от пепла серый, волосы дыбом, глаза дикие — он вскочил и помчался к Чоччу. Бег его неверный, заполошный, зыбкий.

Дотемна искали Анну, охватив тайгу большим раскидистым кольцом, охрипли от крика, изморились и лишь ночью замкнули круг.

Костер разложили — огонь не греет, пламя яркое — свету нет. Сели рядом, согнулись, сжались. Холод кругом, душа вся в холоде. Голоса их тихие, руки дрожат, губы прыгают.

— Беда, — шепчет Чоччу и вздыхает.

— Чисто беда!.. — шевелит губами Василий.

— Отдохнем мало-мало, опять пойдем, — шепчет Чоччу.

— Опять пойдем, — шевелит губами Василий. Он не понимает, что говорит Чоччу, и не слышит, что отвечает ей.

— Найдем, жалеть будем... беречь будем... — тоскливо тянет Чоччу.

— Будем... беречь будем...

Месяц выплыл холодный, белый. С речки, с мочажин туман ползет.

Анна едет на олене, самом крепком, самом быстром. Она в полном своем дорогом наряде, в соболях, серебре, бисерных висюльках. Лицо румяное, глаза блестят, губы улыбаются... Анна едет на олене и всех спрашивает:

— Где дорога к милому?

Сосна мохнатой лапшей указывает: там! Белка хвостом крутит: там! Филин перед ней летит, нетопырь вьется: там, там! А впереди лесной хозяин-батюшка, Боллей на карачках ползет, бородой метет тропу, пятками пни выворачивает. Анна смотрит на него, беспечно улыбается.

Ниру с ней. Она его очень любит. Бедный Ниру: с ним стряслась беда. Если он молчит, это ничего. Он спит, он будет долго-долго спать. Его разбудит шаман, самый сильный, какой только

есть на свете. Вот уже завтра, вот вчера, вот через месяц... когда золотой месяц умрет-родится, когда вольный месяц подопрет своим острым рогом небо, где большая-большая звезда стоит, божий глаз, тогда она придет к милому, к прежнему... Она скажет своему милому: «Вот я пришла!» Она скажет милому: «Вставай, зачем умер, зачем закопался в землю — ты живой!» Она скажет: «Вот Ниру... Мой Ниру спит... У меня нет Ниру... Когда течет из сердца кровь, хорошо быть возле милого... Тише, тише... Не будите Ниру... Тише!..»

Анна погоняет оленя, губы ее улыбаются, но слезы льются из черных глаз.

— Вот погоди, Ниру, вот приедем!.. Любишь ли ты мое молоко, Ниру?— Она остановила оленя и распахнулась. Она нажала грудь, из соска брызнуло ей в лицо молоко.

Комары густым роем жадно пили кровь Анны, она не замечала. Комары так насосались крови, что уж не могли слететь, и красными, кровяными, блестящими ягодками лениво унизали ее лицо, грудь, плечи. Как во сне провела Анна по лицу рукой, лицо и рука вдруг покрылись кровью. Кровь была свежая, Аннина, не застывшая. Она ярко-красными свежими подтеками, со следами раздавленных комаров легла на засохшей крови, вчерашней, ночной, что густо покрывала кисти ее рук.

— Ниру!.. Ниру!..— воркует Анна и развязывает суму, где сын.

Ниру лежит смирно — спит... Пусть спит, его разбудит страшный шаман. Встряхнет бубенцами, звякнет колокольцами, ударит в бубен — гром пойдет и грохот. Тогда мертвый Ниру, может быть, проснется.

Анна быстро сбежала в луг и вернулась с цветами.

— На, Ниру, играй!..

Но Ниру не открыл глаза. Он никогда больше не проснется.

Крепко завязала суму Анна, подвела оленя к пню, вскочила верхом и, малоумно улыбаясь, двинулась дальше, в тот край, где рождаются утренние зори, в ту сторону, где непробудно спит, зарывшись в землю, милый.

ЗОЛОТАЯ БЕДА

I

Еще октябрь не изошел, а Якутский край весь забросало снегом. Вечно мерзлая, лишь на аршин оттаивающая летом почва вновь превратилась в камень. Лену сковал мороз, и по ее белой глади стегнула вихлястая дорога. Из улуса в улус, с берега в берег пролегли тропинки, и вдоль их выросли зеленые вежи-елочки.

Вчера солнце встало «в рукавицах», а к ночи ударил мороз с дымом.

Но якут Николка мороза не боится. Что ему мороз? Хе-хе!.. В мороз человек крепче делается, ноги прытче, дорога короче. Хо! Зимой ноги сами мчат. Им только глазом моргни — куда, — они уже свое возьмут. Прытко-прытко, где шагом, где скоком, только елочки мелькают, летит, бывало, Николка, загребая снег кривыми своими, как дуга, ногами. Зимой знай нос береги: натри медвежьим салом, да шибко-то не выставляй, не то мороз, словно кошка когтем, шибанет по самому кончику, нос сразу белым станет, а придешь в тепло — клюква на носу выскочит.

Николка сидит возле своего чума на здоровом пнище, щурит раскосые глаза на красное, в рукавицах, солнце и сладко пожевывает. А в голове его бродят думы о том, как бы хорошо вяленого оленьего языка отведать, да нельмовых пупков жирнувших всласть поест, да взять бы жирный-жирный кус говядины, да лепешек ячных, чтобы в масле жмыхали. Обожраться бы донельзя, а сверху все прикрыть крепким кумысом!

— Якши, якши, — сглотнул Николка слюну и зажмурился. В носу у него защекотало приятным сытым духом. Он сладко помолсал безусыми губами, прищелкнул языком и сплюнул.

Эх, не надо бы Николке глаза открывать! Открыл — все пропало, сытый дух кончился, а кривые тонкие ноги вдруг выступили из-под вытертой оленьей парки. Взглянул Николка на свою

нищенскую одежду — вздохнул; взглянул на свою дырявую юрту — вздохнул поглубже. Перевел взгляд на дорогу: прытко-прытко, где шагом, где скоком, только елочки мелькают, движется его отец, старый якут Василий, такой старый, что уж... а все еще в себе крепкий дух держит.

Николка сердито сорвался с места и скрылся в чаще.

Ведь Николке сорок два года, говорят, стукнуло. А кто он, — ну, кто он такой?.. Человек он или так себе, вроде дикого оленя? Он так беден, так беден, что ни одна девка за него не пойдет. Зато у отца... ху-ху... деньжищ, что желтых листьев осенью! А оленей, а коров! Только крепок, старая лиса, ужимист: продаст сотни две голов, наострит лыжи в лес, в тайгу; отыщет потайное место, к куче золота еще пригоршни прибавит.

А дома чем батька его кормит? Пошто такое у Николки ребра вылезли, как у зачумелой собаки? Пошто Николкину мать безо времени на погосте закопали? Пошто Николкина сестра в чужих людях горе мыкает?

— Старая лиса!.. Шайтан!.. — шипит притаившийся Николка.

Ему вдруг необычайно захотелось есть. Надо пойти в юрту — наверное, отец пьет там вино. А когда он пьет, о-о!.. тогда, может быть, баранью ногу даст.

— Ты всегда один пьешь. Ты должен меня угостить: я твои стада пасу... И я твой сын.

— Псс!.. — презрительно просвистал сквозь зубы старик и проглотил добрую чепурушку водки. — Когда Николка станет умным, он будет богатый... Когда Николка будет богатый, он сможет пить сколько влезет...

Николка опустился на земляной пол, между пылающим камельком и дверью, ведущей в огромный хлев. Дверь настежь. Из хлева несло навозом и парным молоком.

— Николка тогда будет богатым, — чуть дрожа, сказал он, — когда укараулит, где его отец прячет золото.

— Дурак, — сердито сказал старик и, задрав вверх скуластое лицо, забулькал из бутылки. — Самый дурак!

— Может быть, и дурак... Но не дурашней сына моего дедушки, — съязвил Николка, косясь на вытянутую журавлиную шею отца, по которой прыгал синий, в пупырышках, кадык.

Николка, глотая слюни, хотел еще кольнуть отца каким-нибудь обидным словом и уж рот раскрыл, да в это время корова просунула из хлева голову и лизнула Николку в самый нос.

— Ксы! — крикнул он и утерся рукавом.

Отец закатился дробным смехом и, протирая кулаками глаза, засюсюкал:

— Очень хорошо умыла тебя корова!..

— Хе-хе!..— зло ответил Николка.— Ты хорошо выпил, а я хорошо закусил коровьим языком... Пссс!

Старик опять захохотал, потрепал по плечу усевшегося рядом Николку и достал из сундука четверть.

Николка жадно проглотил поданную ему чепурушку водки и почамкал губами.

— Самое слядко,— сказал он по-русски. Отец угостил его еще.

Николка скоро охмелел. Он то хохотал и затягивал песню, то жаловался на свою судьбу и горько плакал:

— Кто я? Корова ли, олень ли? Пастух я твой!..

Старик протяжно рыгнул, покрутил пальцем возле своего лба и сказал:

— Вот здесь у тебя заслабло... А то я тебе сказал бы... Хе-хе-хе...

— Чего толковать-то!.. Ты богач, Василь Иванович... Я бедняк, Николка. Что зря болтать... Вот скажи, где твое золото.

— Стану подыхать — скажу.

— Когда ты подохнешь?.. Не скоро еще ты подохнешь... Надо правду говорить... Чего толковать-то!.. Кабы не съел твоей души шайтан, тогда бы...

— Ну?— вплотную придвинулся к нему старик и хрипло задыхался.

— Ты золото один жрешь... Смотри, лопнешь!.. Надо правду толковать... Околеешь — неужто с собой возьмешь?

— Не возьму... и тебе не дам!

— Тьфу!— плюнул Николка.

— Тьфу!— плюнул старик.

Потом, подобрав свои жирные губы и досадливо сморщившись, старик сказал:

— Хорошо, когда золото есть. Лучше, когда нету... Брось!.. Не проси, не надо...

— Пошто толкуешь!.. Худо толкуешь!.. Надо!..— крикнул Николка и ударил кулаком по туесу с маслом.

— Эх, Николка!.. Большой ты дурак, Николка... Пропадешь с ним, Николка... с золотом...

— Я и так пропал... Чего там? Ты погляди, с тебя сало топится. Я худой, как вяленый коровий хвост... У тебя шуба, как дом, а у меня что?.. А?..— Николка скривил рот и всхлипнул.

— Кабы у тебя был тоньше лоб, мои слова влетали бы в твою голову, как в улей пчелы...

Водка мало-помалу убывала. Отец и сын говорили теперь оба враз, и их пьяный говор переходил порой в пронзительный бес-толковый крик. Они то крестили большим крестом вокруг себя, чтоб прогнать сновавших тут шайтанов, и свирепо плевали на

них, попадая друг другу в лицо, то вдруг вскакивали, схватывались за руки и, пристукивая подгибавшимися ногами, топтались у костра и гнусаво выкрикивали:

— Ехор-ехор-ехор-ехор!..

Но, утомленные, вновь опускались на землю и тяжело пыхтели, отирая пот.

Уж огонь в камельке потухать стал — якуты пьют. Угли чахнуть начали — пьют. Поседел костер от пепла, ветер чум выступил — кончили якуты пить. Как сидели, сложив ноги калачиком, так и повалились на бок, и, соткнувшись головами, захрапели.

Долго спали отец с сыном. Коровий рев и овечье бление не могли прервать их сон. Не слышал Николка, пастух отцовских стад, как баран бодал его наскоком в спину, не слышал, как пролезшие в чум коровы одурело мычали над ним, прося корму и поила. Разбудил Николку стон отца. Страшно, дико стонал отец.

Николка вскочил, отпихнул прочь пустую четверть, крикнул:

— Ты!.. Старик!..

— Вина!.. Скорей беги... Смерть!

Николка подхватил два покотившихся золотых, выскочил на улицу и заработал ногами к селу.

Когда Николка прибежал назад — отец был мертв.

У Николки поднялись дыбом волосы, зарябило в глазах, он опрометью кинулся из чума.

Прытко-прытко — только елки мелькают, побежал опять в село, со страхом озираясь — не гонится ли вслед ему мертвец.

II

Вот уж два года прошло, как схоронил Николка отца.

Живет он на краю села, в большом пятистенном, под железом, доме. В одной половине — торговая лавка, в другой — он с сестрой. Торговлю ведет сестра, а Николка все время ездит по улусам, высматривает себе хорошую бабу и часто запивает горькую.

Жиру в нем прибавилось, походка изменилась, серое лицо посвежело и стало лосниться.

Хорошая пошла у Николки жизнь. Тряхни кошель — что захочешь и на тебе!.. Тряхни кошель, звякни золотом — любая девка тут как тут.

Николка во вкус вошел. Шуба у него лисья, доха оленья. Пальцы в золотых перстнях, часы с музыкой.

Счастливый якут Николка! Видно, когда он родился — медведь в берлоге рывкнул. Да как же не счастливый?

Когда кончится у Николки серебро да золото, пойдет он потайным поздним вечером сам-друг с лопатой, разыщет тайную,

заповедную сосну кудлатую, колупнет раз-другой — ему и будет!

Впрочем, не всякий-то раз можно отмыкать заповедный отцовский клад; как бурундук, как белка запасает себе на зиму в дупло орехов, так Николка запасался деньгами с осени, когда густой листопад надежно покрывает землю. А то... О-о-о!.. Людской глаз зорек. Только оплошай, только покажи след — загребушая человечья лапа живо опорожнит!

Жить бы да жить Николке. Ая — уставать стал, что-то в сердце завелось: червяк не червяк, шайтан его знает что — так, пакость какая-то, скверность! Скучать Николка начал.

— Швырвяк точает... нутро сосет... — жаловался он попу Степке, отцу Степану, священнику. — Скушна!

— А ты бы, Никола Васильич, господу поусердствовал... Вот домик бы причту новый схлопотал... Да и так... деньжонками... Народ мы многосемейный... Отчего ж это скука на тебя напала? Не перед добром это... Жертвуй!

Жертвовал Николка и деньжонками. Много жертвовал, а не помогло.

Как сказал священник, так и вышло: заглянула в Николкину жизнь беда.

Родили от Николки, одна за другой, две русских женщины: девка да вдова. Может быть, и не от него, как знать? Но поп Степка, отец Степан, священник, сказал, что от него:

— Жертвуй, Никола Васильич... От тебя!.. Несомненно от тебя... По всей видимости от тебя!

Пожертвовал Николка, много пожертвовал. Вдовица-то ничего себе, живет, ребенка пестует, муку, сахар и все прочее чередом получает... А вот с девкой горе. Задушила она своего ребеночка, а ночью, в потайную полночь, зарыла его тайно в хлеву, под навозом. Зашушукалось село, всполошилось, начальство дознаваться начало.

Это ничего. Золотом всякий грех прикрыть можно. Прикрыл Николка свой грех золотом.

Грех прикрыл, а боль по сердцу разлилась шире. Заскучала пуще Николкина душа, пуще Николка пить стал.

Сестра плачет, ничего с братом поделать не может: и свечки Николе-угоднику ставит, и святой воды брату в вино подливает, и шаманов кличет, а толку нет.

Главный шаман долго шаманил, долго в бубен бил, двух оленей заколол, оленьей горячей кровью помазал пьяного Николку и сказал:

— Тебя шайтан мучает...

— Я знаю, что меня мучает, — ответил Николка. Рассудительно так ответил, ничего что выпивши.

Остепенился было, да опять...

До того допился, что виденица началась.

Едет он как-то верхом на олене в улус, чтобы за поглянувшуюся девку калым заплатить — выкуп. Трезвый едет, дня три не пил, в полном разуме. Вдруг слышит сверху:

— Куда ты, дурной, едешь?

Вскинул голову: сидит над ним на лесине ворон, смотрит на него бисерным глазом, говорит:

— Гляди-ка, дурной, на ком едешь-то!

Взглянул Николка, да с седла кубарем: медведь под ним!

— Шайтан! — гаркнул Николка и без памяти — домой.

Деньги сестре ручьем текут, торгует шибко. Надо бы радоваться, а где тут... Сохнуть стала сестра.

А якут Николка все-таки отыскал себе жену: самую молоденькую тунгуску, красавицу Дюльгирик высватал. Большой калым за девку дал; когда тащил — золото карман оттянуло. Отец богатству вот как рад — нищий. Но девка... о-о-о!.. Дюльгирик цену себе знает. За старого Николку, у которого ноги как дуга, а под носом всегда висит капелька, не выйдет. Она лучше грудь свою ножом распорет и отдаст сердце любимому.

Но золото — сила. Привез Николка свою Дюльгирик богатым поездом; двести оленей в караване было. Украсил ее комнату дорогими мехами.

Плакала Дюльгирик.

Подарил ей соболью в серебре шапку, чеканный браслет золотой, шубу черно-бурых лисиц. Дюльгирик плакала и все смотрела на восток, в ту сторону милую, где остался близкий ее сердцу молодой тунгус.

— Что же ты плачешь, невеселая?

Дюльгирик молчит, все молчит, не хочет обласкать Николку журчащей своей речью.

Однажды он, пьяный, ввалился в дом и горько спросил:

— Плачешь?

Дюльгирик плакала.

Николка вынул из кармана кису и вытряс в подол жены много звонкого золота.

— На, Дюльгирик!.. Вот как я люблю тебя, Дюльгирик.

Дюльгирик, не подымая глаз, чуть улыбнулась и, как угас закат, пошла за водой, накинула на лебединую свою шею веревку из конского волоса и повесилась.

Николка скрылся в лес и пропадал там целую неделю. Потом пришел, избил сестру до полусмерти и шатался по селу весь день словно дикий; все от него прятались.

Пока пропадал в тайге, опять беда стряслась. Не так чтобы

большая, а все ж... Вломал какой-то лиходеи у Николки амбар и утащил много всякого добра. Очень чисто обделал: не стукнул, не брякнул, злых собак не взбудоражил, — знать, человек знакомый.

Мало-помалу дознался Николка, кто таков. Оказалось — сельский староста, Гришка Ложкин.

— Это моя мука!.. Это моя пушнина!.. Видишь тавро мое, мета, — сказал Николка, заглянув при свидетелях в амбар старосты.

Пожаловался на него Николка, в суд бумагу подал, — бумагу ему один политик написал, хорошо написал, складно.

— Я тебя пристукну!.. Ты что, тварь? — пригрозил ему Гришка Ложкин. — Вот донесу на тебя, что мне взятку дал... За что ты мне двести целковых дал?.. А?.. Подучил девку ребенка кончить, да и... А отчего, спрашивается, твоя баба задавилась? А?

И послал на него бумагу встречно.

Как ни старался Николка подкупить суд деньгами — не приняли судьи, засадили Николку в городской острог. Полгода просидел за решеткой, много кой-чего передумал и домой вернулся к рождеству.

Пока сидел в тюрьме, сестра померла, дом заколотили, лавку разграбили. Где управы искать? Дома не жалко, товара не жалко, сестру очень жалко сделалось. А тут еще Дюльгирик всплыла в памяти. Тяжко. Заплакал Николай.

Когда ударил колокол, он пошел к вечерне. Еще никого в церкви не было. Сторож оправлял свечи. Поставил якут перед образами свечку, бухнул в землю, зашептал:

— Никола-бог, батюшка... Давай мне настоящую башку... Давай мне хорошую башку... Дурак я!.. самый дурак...

Никола-бог смотрел с образа на якута грозно.

— Не серчай, Николка-бог... Я тебе тыщу оленей пригоню... Только ума дай!

В церкви Николка не остался: какая-то сила влекла его в тайгу. Он купил еще две рублевых свечи, и когда отходил от образа, Никола-бог смотрел на него милостиво, добродушно.

— Беда!.. Прямо беда!.. — бормотал Николка, шагая вдоль улицы, и крутил головой.

— Чисто беда!

Он миновал свой заколоченный дом, вышел за село, сел на запорошенную снегом лесину, осмотрелся. Возле него шумела тайга, а впереди лежала в сумраке бесприютная речная ширь. Только там, где село, приветливо помигивали далекие огоньки. Николка взглянул на них, и ему сделалось скучно, одиноко. Он стал перебирать в мыслях всю свою жизнь и ничего не нашел

в ней, кроме беды и горя. Ему вдруг захотелось удариться с разбегу об сосну головой или схватить веревку, да... как тогда Дюльгирик...

«Хорошо, когда золото есть. Лучше — когда нету», — припомнил он речь отца и, защурившись, засопел.

Он долго задумчиво сидел, потом взглянул вверх, умилился: густо на небе золотых звезд-червонцев; это праведный Тойон для людей старается, золотую беду с земли тащит да гвоздями приколачивает к небесам. Должно быть, давно работает, вон какую протянул дорогу поперек всего неба, а пустого места все еще много. Но великий праведный Тойон каждую ночь трудится. Когда перетаскает все золото, на земле не останется греха, не будет обиды ни человеку, ни зверю, ни дереву...

— Так, так... Хорошо ты надумал, бог-батюшка... — сказал одобрительно Николка и добавил: — Ты — молодец!

Вот только шайтан мешает: взлетит ввысь лешевой гагарой, долбанет носом в золотую звезду, покатится по небу червонец, да раз! — богачу в карман... Плохо!..

— Ах ты, беда! — причмокивая, досадливо шепчет якут Николка. — Не надо бы богу дремать... не надо бы!..

Он быстро встал, сбросил шапку, приставил ладони дудкой ко рту и, запрокинув голову, громко крикнул:

— А ты старайся пуще!.. Я тебе буду подсоблять... Ты знай приколачивай... Эй, Тойон!

Николка круто повернул и зашагал на огонек к селу.

— Дай, друг, лом да лопату, — постучался он к мужику-соседу.

— На что тебе?

— Пожалуйста, давай... Шибка нужно... Пожалуйста, давай!

Медленно, надсадисто пробирался Николка к заповедной кудластой сосне своей. Долго он бился у сосны над сыпучим глубоким снегом, еще дольше над промерзшей землей, и вот вытащил кожаную суму, стал разжигать костер. Отогревая руки, он зло на нее косился. Потом выхватил отточенный, с чернем из мамонтовой кости, нож и скакнул к суме с звериной яростью, будто к попавшему на овчарне волку.

— У, шайтан! — взвизгнул Николка и саданул по ремненным шнурам ножом.

— Шайтан!.. Самый шайтан! — он подхватывал трясущимися пригоршнями золото и вновь ссыпал в суму. Золото, звеня, смеялось над Николкой.

— Врешь, шайтан!.. Врешь!.. — сверкая глазами и стискивая зубы, шипел Николка. — Ты шайтан, прямой шайтан!.. Ну-ка!.. Пойдем-ка... Ты — беда!

Он взял под пазуху суму и, перегнувшись, потащил к реке. В глазах у него все задрожало, закачалось, перед ногами кто-то бросал горстями червонцы, а вслед летел дикий хохот, и брякали шаркунцы с бубенцами, словно сзади исправник на тройке мчал.

— Врешь, шайтан!.. Знаю!..— озираясь страшными глазами, громко кричал якут, чтоб прогнать вставшую со всех сторон нечисть.

— Стой, Николка!— скомандовал он сам себе и остановился у проруби.

— Бросай, Николка!

Он приподнял грузную суму, поустойчивее укрепился и, раскачав ее, швырнул в прорубь.

Недовольная внезапно прерванным сном, вода испуганно ухнула и заплескалась. И вместе с ней всколыхнулись, задрожали, заструились змейками, отражаясь в воде, звезды.

И не вода это ухнула, не звезды заиграли в ней: черные шайтаны подняли возню у проруби, блеснули во тьме чьи-то горящие глаза, завыли, затывкали волки, свист пошел над речной пустыней. И кто-то черный шагнул к нему.

Якут подался в страхе назад, сорвал с головы шапку и, пав на снег, неистово заголосил:

— Бог Никола, заступайся!.. Эй, Никола-матушка, подсобляй!..

Вмиг все смолкло. Якут встал, глубоко вздохнул и часто-часто закрестился, читая вслух дрожащим, срывающимся голосом одному ему ведомую молитву.

Огляделся кругом: тишина и темень. Посмотрел на прорубь — вода дремала. Николка хихикнул. Сделав строгое лицо и заложив руки назад, он важно, вперевалку, подошел к проруби и с ненавистью плюнул в воду:

— Нна!!

Потом прищурился на небо, провел взором по златопыльному звездному пути и, гордо ткнув в грудь пальцем, крикнул своему богу:

— Я — тоже молодец!

На другой день был праздник. Якут Николка весело похаживал по селу. Как ни соблазняли его крестьяне по праздничному делу выпивкой — ничего не вышло.

— Шабаш!.. Кончал!.. Все кончал,— улыбаясь, говорил Николка.— Золотой беда бросал... Много-много беда с земли уехал... Борони бог. Совсем кончал!..

Ничего не поняли крестьяне. А как пришел в гости к батюшке, тот понял, стал упрекать его:

— Ты бы, Никола Васильич, бедным мог раздать... Не одобряю... Дубина ты!.. Чурбан!

— Ах, поп Степка, отец Степан-священник,— ответил якут.— Чего ты смыслишь?.. Ты, бачка, тьфу смыслишь... Ведь золото — беда, прямой беда!.. Деньги — беда, прямой беда!.. Пошто беда раздавать?

— В тюрьму тебя опять!.. Орда чертова!.. Говори, куда дел?!

— Псс!.. Ах, бачка... худой твой башка! Дурак есть...

ЦАРСКАЯ ПТИЦА

Старик тунгус весь день без передыха тайгой бежал и все оглядывался: не гонится ли за ним страшная болезнь.

И не видно было, где она, только чувствовал старый Илейко, что заползает в него змеей что-то черное, в голову ударяет, по всему телу огнем палит.

Шамана надо, скорее шамана кликать, пусть выгонит страшную болезнь. Илейко отлично знает: она лицо исклюет, глаза выпьет, накатится — задушит.

А как добежал до своего стойбища, упал на оленью шкуру и такое заболтал без разбору, что у сына с женой волосы зашевелились: даром что молодые, им тоже эта хворь очень знакома — лет пять тому перевертела весь народ в тайге.

Ночь без звезд была, небо темное, над тайгой тучи плыли, шумел ветер вершинами.

А там, в болотине, что у речки, в калтусе, шайтаны — таежные дьяволята — гукали. Им любо в такую темень поскакать, покувыркаться: стрекочут, посвистывают, хохот подняли.

Одноухая сучка Бойда оцетинилась, не любит шайтанью свадьбу, хвост промеж лап поджала.

А из болота: гук да гук. Ощерила Бойда зубы, тявкнула да прямо под ноги Ивашке.

— Геть!

Надо оленей скорей собрать, да прочь с этого места, куда глаза глядят, чтоб хворь не догнала да не слопала вместе с бабой.

Ивашка зачерпнул из болота в берестяное ведерко воды и просунул на рогульке больному отцу в чум. Баба оленины вяленой

в тряпицу завязала. Ивашка поддел узелок рогулькой и тоже в чум, под самый рот старому Илейке.

— Эй, отыркон — старик! — крикнул Ивашка и заглянул в щелку чума.

Старый Илейко лежал вниз лицом, тяжело мычал и чавкал губами. Перед ним теплился, угасая, костер.

— Пойдем скорей, — заторопилась баба.

Солнце еще не проснулось, — знать, глаза росой промывает, знать, в зарю рядится, а свет уж выпил тьму: засерело кругом, туманы заclubились, дятел топором стучит.

Принюхивается Ивашка — грибами пахнет, мокрым мохом; принюхивается Ивашка, куда путь править — смолистый ветерок трясет — обсушивает хвой. Хорошо бы тут стать, на поляне, отдохнуть. Поляна вся в цвету, красной земляникой, как кровавым дождем, обрызгана, ключик течет, такой светлый.

— Чего стоишь? Пойдем! — кричит баба.

Дальше пошли. Солнце сквозь вершины смотрит. Наступило утро, Ивашка вздрагивал и хватался за голову.

— Ты чего? — встревожилась жена.

— Голова...

— Ой! Надо дорогу заломать, а то нагонит.

— Йе, — подтвердил Ивашка и, прикрикнув, срубил острой пальмой елку. Елка упала поперек тропы. Он сделал в ней расщеп и стал подманивать собаку.

— Бойда, нох-нох...

Бойда поджала ухо — не поглянулся ей хозяин — и только хотела в сторону, а баба скок:

— На, держи... тащи!

Собака заскулила. Ивашка сгреб ее, сунул в расщеп собачий хвост и крепко-накрепко скрутил концы вицей.

Бойда визжала, дергалась, выла жалобно: чуяла Бойда, кинут ее люди. Взглянул на нее Ивашка: черные глаза ее стали влажными, плачущими, как у человека.

— Ты самый друг. Кто верней тебя? Карауль, не пускай болезнь, лай пуще, — в последний раз погладил он собаку.

— Айда! — крикнула баба.

Караван дальше двинулся.

И под гору спустились, и на лысую вершину взобрались, а собачий страшный вой разрывал тайгу.

— Ой ты, как скучает... Пойдем скорее! — зажала уши баба.

Двадцать дней тунгусы тянулись. Далеко ушли. Болезнь не нагнала, сзади осталась.

Пождали-пождали старика — не пришел. Ну, значит, слопала его болезнь. Это ничего, зато сами живы.

Осень проходила с красным листом, с желтым листом, с морозом. Травы сединой взялись, зори были в золоте, с севера белые тучи наплывали, и уж на вершинах каменных сопок выпал снег...

Набрел на Ивашку хороший его товарищ, Чумго, белку промышлял, и говорит:

— Вот я у торгового был, чудо видел.

Ивашка зачмокал губами, с любопытством развесил уши.

— Из города птицу привез торговый. За морем, говорит, такая птица водится. Пятух... Ну и птица. Под мордой борода трясется, на башке гребень. Песни поет. Громко-громко!

— Продажный, нет? — сплюнув сквозь зубы, спросил Ивашка.

— Нет, — уверенно сказал Чумго. — Уж очень занятная птица. Ночью поет. Как схлопает крыльями, да «ку-ри-ку!» — так все шайтаны, сколько есть на свете, сразу скрозь землю проваливаются. Страх как бояться.

— А может, продажный? — спросил Ивашка, и глаза его заблестели.

— Однако нет, — раздумчиво проговорил Чумго. — Я так думаю, она и хворь у русских прогоняет: как гаркнет «ку-ри-ку!» — хворь разом из избы вон, да и бежит без передыху, покамест на кого из наших не набросится.

— Йе, — радостно сказал Ивашка. — Такую птицу надо купить. Как такую добрую птицу не купить.

Ивашка далеко проводил в тайгу своего друга Чумго. Всю дорогу разговаривали о неслыханной птице и решили: чего бы ни стоило — добыть ее.

Торговый человек, Петр Абрамыч Трындин, уж седьмой год живет на вершине речки Бирьякана, в глухой тайге: до ближнего села и то верст полтыщи, как не больше. За все время лишь два раза выезжал в село — очень труден путь. Сначала один жил, потом жену приплавил, приказчика Спиридона с семьей, обзавелся хозяйством: корова была с лошаденкой, кошка, шесть собак. Бывало, придут тунгусы за покупками, только языком прищелкивают, удивленно разглядывая лошадь и корову, — впервые видят.

— От так зверь!

А прошлой весной приказ торговый молодого горластого пе-

туха и двух молодых. С курицами как-то веселее стало: клохчут, яйца несут, цыплят выводят.

Зима отлютовала, весна идет, понесло дурманным хвойным духом. Но приказчика Спиридона, долгобородого, на кривых ногах мужика, ничто не радовало: баба всю зиму хворала, лопата-лопатою сделалась, а с весны их ребенок все животиком скучал, да на второй день пасхи и... пришлось гробовину ладить.

— Не тужи. Еще трое остались у тебя, хватит,— утешал его хозяин. А хозяйка, Домна Степановна, обнявшись с Дарьюшкой, сидели на завалинке и выли в голос. Горько без священника зарывать, без отпеванья. Вот она, тайга. Вот оно где, горе-то.

И вечер прошел, и ночь. Гробик в чистой комнате поставили: по углам зеленые пихты укрепили, на пол набросали хвой.

В ночь весенним туманом обволокло тайгу, и утро было в тумане.

Спиридон могилу на угорине под вековым кедром рыл.

Слышит сквозь туман переливчатый гортанный крик, словно песня:

— А-гы-ый-ле! А-го-о-ой!

Прислушался, бросил лопату да бегом к хозяину.

— Орда идет!

— Ну! Неужто тунгусы? Ах, черт те дери. Вот беда,— засуетился Петр Абрамыч, и его румяное лицо побагровело.

— Малютка-то! Гробик-то!.. Ах ты, боже мой.

— Эй! Живой ли? Петрушке-ей!— звенели, приближаясь, голоса.

— Живой, живой! Иди!— закричал торговый, приставил ко рту сложенные щитком руки.— Ах ты... Как же быть?— обратился он к приказчику.— Прикрой плотней дверь-то в комнату... В кухне почаем. А то увидят гроб, сбегут.

— Все ли хорош? Здоров ли?— показались Ивашка с Чумго.

— Все благополучно, заходите,— улыбаясь, пошел им навстречу.— А у вас как?

— Плохо,— сказал печально Ивашка.— Вот батько сдох маленько... совсем кончал. У Чумго брат сдох да matka. Плохо.

— А-я-яй, а-я-яй,— притворно крутил рыжей бородой Петр Абрамыч, шагая с тунгусами к дому.

На столе кипел самовар. Домна Степановна плавала вперевалку по кухне с тарелками, бутылками, а у печки копошилась с заплаканными глазами Дарья.

— Якши,— сказал Ивашка, нюхнув вкусный воздух, и закрестил на бутылку.

— Ну, с праздничком,— сказал торжественно хозяин.— Пасха ведь, праздник. На-ка, выкушайте водочки. Христос воскрес! Распоясались, вспотели. Вино крепкое. Пили молча. В головы хмельной угар вползал.

Вдруг Чумго подмигнул Ивашке и заголосил: — Куре-куку-у!

— Пьютух!— прыснул смехом Ивашка.— Кажи пожалуйста, давай сюда птица! Купить будем.— Он вытащил из-за пазухи большой кожаный кисет и звякнул.— Во!

У торгового глаза зашмыгали, как мыши в клетке. Он подбоченился, перекинул ногу на ногу и, глядя в сторону, забарабанил по столу.

— Что ж... можно. Эй, Дарья, поймай-ка скорей петуха! Можно и продать. У нас заветного ничего нет,— равнодушно тянул он, но голос его вилял.

Тунгусы нетерпеливо задвигались, закашляли, поглядывая вслед скрывшейся кухарке.

Вот раздалось тревожное хлопанье, отворилась дверь: крупный, красивый петух, спрыгнув с руки Дарьи, гордо огляделся и пустил горлом хрипунок.

— Йе!— восторженно закачали головами тунгусы и захохотали, когда петух вдруг клюнул проползавшего таракана.

— Эй, Петрушка! Вели: пущай гаркат. Ку-ре-ку!

Петух захлопал крыльями, привстал на цыпочки и так громко скукарекал, что тунгусы разинув рот схватились друг за друга.

— От так рывкат. Ровно медведь,— испуганно шептали они.

— Вы чего ж, чудаки, боитесь? На, гляди. Он смирный,— поднес Петр Абрамыч петуха.

Петух вдруг клюнул желтую бусину на груди Ивашки.

— Заест!!— блажью заорал Ивашка и стукнулся затылком в стену.

Купец захохотал:

— Что ты, бог тебя люби!

— Вели: пущай опять гаркат!— храбро крикнул Чумго.

— Ха, вели. Ведь он не человек. А вот он ночью запоет так запоет... Как полночь, так и хватит.

— Неужто правда? Ах ты...— причмокнул Ивашка.

— О-о, да еще как! Всем чертям погибель от него,— хвастал торговый.— Ну, сколько дашь?

— Много дам... Тайга больно надо такая птица... Борони бог. Больно шайтаны долят, оленей пугают, хворь пущают. У-у-у...— Ивашка даже закатил глаза.— Сколько хошь бери — птица давай. Шайтан гонять будет.

— Ну дак чего. Клади десятку серебром да парочку соболь-

ков, што ли,— загнул купец и с опаской посмотрел на дверь к покойнику.

Тунгусы шепотом совещались.

А петух, взлетев на скамейку, всхлопал крыльями, заголосил,— и это решило все.

— Давай, друг! Пожалуйста, давай!

— Так и быть. Берите. Царский петух... Прямо царский. Только уж для вас. От самого царя.

— О-о? Неужто?! Давай скорей!— еле дыша звякнул Ивашка денежной мошной.

В эту минуту из комнаты, где гроб, распахнув дверь, выбежала босоногая Акулька, Спиридона-приказчика дочь.

— Закрой дверь!— бросил торговый.

Но Ивашка успел увидеть стоящий гроб. Дико, как под ножом, он вскрикнул:

— Плут!! Обманщик! Хворь у него! Чумго, убегай!— вскочил на стол, выбил ногами раму и выпрыгнул за окно. За ним — ополоумевший Чумго.

Дробно стуча сапогами по лестнице, торговый кинулся им вслед.

— Дружки! Стой! Ведь маленький, маленький! От животика! Не бойся!

Сверкая пятками, тунгусы мчались во весь дух, с треском, с хрустом, с диким воплем.

Запыхавшийся Петр Абрамыч ввалился в дом, как грозовая туча.

— Дьяволы! Погубили!— заорал он и грохнул по столу.— Ведь теперь они по всей тайге разблаговестят! Ни один черт носа не покажет!— Он схватил забытую Ивашкой рваную шапчонку и с размаху хлестнул ею приказчика.— У-у, дьявол!— и с яростью бросил ее в лохань.

У приказчика хлынули слезы, он закрыл ладонями лицо, повалился на стол, всхлипнул:

— Петр Абрамыч, побойся бога... Пасха... Горе у меня... Младенчик.

— Пасха? Горе? А у меня радость? Плясать, может, велишь, а?!— Он сорвал с гвоздя ружье, прицелился в стоявшего на одной ноге петуха и, выстрелив, снес ему голову. Обезглавленная царская птица долго летала по избе, обливая пол кровью.

ЖУРАВЛИ

I

Ах, и ночи бывают ранней осенью — задумчивые, мудро-грустные. Крепко спят живыми снами осиротевшие леса, нивы, луга, воздух. Но земля еще не остыла, в небе стоят звезды, и через широкую реку протянулся зыбкий лунный мост. На середине реки большая отмель, и через голубоватый полумрак слышны долетающие оттуда странные крики журавлей. Осенние птицы крепки, сыты, веселы и перед отлетом в теплый край затеяли игру.

— Танюха, чу!.. Пляшут... — сказал Андрей.

— И то пляшут, — ответила девушка. — Давай в лодку, поплывем.

— Не подпустят. Сторожкие они. Вот с ружья бы.

Горит костер. Татьяна в горячую золу сует картошку.

Черная шаль накинута на ее льняные волосы, густая прядь их свисла через загорелый лоснящийся лоб к голубым глазам.

— Я видал, как они пляшут, — говорит Андрей, вырезывая на ольховой палке завитушку. — В прошлом году с дедом лучили рыбу. Ну и тово... Еще русалку видели. На камне косы плела... Голенькая... А красивая, вроде тебя. Я тебя, Танюха, разок видал, как ты купалася.

— Ври, — полные губы девушки раздвинулись в улыбку.

— Видал, видал... Все на свете высмотрел. Рубашонку хотел украсть.

— Бесстыжий.

Андрюха потянулся за угольком, трубку прикурить, но вдруг опрокинул девушку и с жаром стал целовать ее. Девушка вырывалась, вертела головой, не давала губы и, придушенно хихикая, шептала:

— Услышит... Брось... Не балуйся...

По ту сторону костра зашевелилась нагольная шуба, и вырвался тяжкий вздох. Андрей отскочил прочь, Татьяна тоже поднялась. В ее глазах горела страсть, руки дрожали. Андрей, пошатываясь, громко сопел.

— Чу, пляшут...— сказал он. Черные цыганские глаза его не отрывались от алых раскрытых губ девушки.

Ночь, костер, луна и журавлиные крики за рекой опутали девушку и парня пьяным хмелем. Земля качалась под их ногами, как на реке ладья, и быстро побежавшая в жилах кровь неотразимо толкала их друг к другу.

— Пойдем к воде... под обрыв... Журавлей смотреть,— жег ее сердце Андрей.

— Не пойду. Ты целоваться полезешь,— улыбочиво шептала девушка, придвигаясь к парню.

— Истинный бог — нет. Пойдем.

— Врешь. Станешь.

Андрей, подмурлыкивая песню, зашагал к реке. Татьяна проводила его долгим цепким взглядом, постояла, окликнула:

— Настасья... спишь?

Нагольная шуба не шевелилась. Девушка тоже замурлыкала песню, щеки ее то вспыхивали зноем, то бледнели. Она вытащила из золы картошку, забрала ее в подол и, не оглядываясь, побежала свежей росистой тропкой.

Стало безголосо, тихо у костра. Беспризорный, брошенный огонь вдруг заленился, ослаб и задремал. То здесь, то там позвякивали боталами стреноженные лошади. Сорвалась звезда, осияв на миг голубую ночь.

И сильной мускулистой рукой рванула с себя шубу вскочившая Настасья.

— Дьяволы!.. Карауль их...— бросила она гневным голосом, огляделась и, как молодая кобылица, крутобедро помчалась к обрыву, крича:

— Танюха!.. Танька!.. Бабушке скажу!..

II

Риги осенью топят жарко: надо успеть к утру просушить снопы. А кто ей будет помогать? Кто привезет из лесу смоля, кто завтра подсобит молотить? Она одна. Второй год идет, как ее мужа убил под Ямбургом злодей Юденич-генерал. Кто поможет молодой Настасье жить?

Поздняя, после третьих петухов, седая ночь. В риге жарко. Андрюха-парень, ее сосед, снял меховую безрукавку и ворошит в печи дрова. Пахнет дымком и дурманным потом ядреных ржаных снопов.

— Спасибо тебе, Андреюшка. Нет-нет да и пособишь мне, сироте.

— Вот еще подброшу истоплево, да и будет... Спать пойду. Эти снопы снимешь, другие посади.

Настасья сидела возле печки на снопах грустно и не отвечала. Короткая ситцевая кофта колышется на ее высокой груди как живая, и крепкие щеки цветут.

— Только чур, уговор: Танюхе молчок,— говорит дрожащим голосом Андрей и щурит глаза на грудь Настасьи.

Настасья задышала пуще.

— Боишься?— насмешливо протянула она.

— Боюсь,— сказал Андрей и привычной рукой опрокинул Настасью на снопы.

...Было в риге очень жарко, душно. А на просторе стоял туман и сквозь туман бельмасто намечался месяц в широком круге.

Когда Андрюха шел домой, покрытая инеем трава шуршала. Чрез гряды, от сладких кочерыжек, из тумана в туман стрельнул длинноухий заяц.

— Улю-лю, косой!— заорал Андрей.

Близился рассвет. Творя молитву и сугорбившись, шла за водой к колодцу Татьяна бабка. Кое-где желтели в избах утренние огоньки.

III

Михайлов день пришел с большим снегом. Село справляло съезжий престольный праздник восьмого ноября по старому календарю. Много пива, самогонки, всякой снеди,— песни, плясы, ругань, кулаки и колья.

Гуляла вся сельская знать, даже сам председатель исполкома прикатил из соседнего села. Священник отец Семен после обедни обходил с крестом все по порядку избы, к вечеру его водили под руки, самосильно уже стоять не мог, служил молебны на коленях, сидя и кой-как. К ночи водили под руки по почетным хозяевам и захмелевшего председателя исполкома. К утру и председателя и попа укладывали в крайнем, под железной крышей, доме на одну кровать.

— Как бы греха не вышло,— тыкаясь носом, бубнил хозяин.— С попом вместе вроде зазорно, до кого хошь доведись...

— Ни хрена, сойдет...— мямлили гости.— Он, кутья, советскую власть эвон как на словах-то превозносит.

Веселей всех у молодой вдовы Настасьи. Ей надо веселиться, надо парней да неженатиков прельщать: время уходит, бабье

хозяйство — не хозяйство, и сердце бьется под холстом, как птица.

Встань, молодчик, прибодрись.
Ай-люли, прибодрись! —

гремели крепкие молодые груди. У кривого кота звенит в ушах. Вздрагивают золотые хвостики самодельных свечей.

Андрюха изогнулся, сложил калачом руки и красуется средь хоровода.

Кого любишь, выбирай,
Кого любишь, выбирай!

Низкий поклон, суконная железная рука вцепилась в мягкую, шелковую руку:

Да покрепче поцелуй,
Да покрепче поцелуй! —

и выхваченная из голосистого круга Татьяна жеманно подставляет Андрею сомкнутые губы.

— Довольно играть! — звонко, надрывно кричит вдова. — Э-эх! — Щеки ее вспыхивают, она хватается за черноволосую свою голову. — Э-эх!.. Девоньки, выпьем по стакашку... Молодчики!.. — Глаза ее ревниво взглянули на Андрея, и с злобным хохотом она ударила его по спине рукой. — Андрюша... Э-эх!.. А помнишь?

И заходил хмельной стакашек. Бледная, опечаленная, Таня подошла к окну. За окном крутил снег, и рывкала гармошка.

— Плясать! Девоньки... Гуляй, вдова! — разжигающе кричала Настасья, помахивая красным платком. — И коего черта замуж не берете?.. Э-эх!.. А уж поцелую... А уж прижму...

От гармошки, гиканья и плясов дрожала печь.

Татьяне как-то по-особому, впервые стало плохо. Она быстро вышла, по дороге ее мутило, она глотала пушистый снег. И вдруг мгновенный ужас всю сковал ее.

IV

Целую неделю Татьяна ходила как безумная. По глухим почам она прислушивалась к себе и тихо плакала. Бабка Дарья как-то ночью окликнула ее:

— Ты что?

Татьяна молчала.

Наутро бабка Дарья долго и пристально щупала ее взглядом из-под хохлатых сердитых бровей.

— Лихо тебе? Ой, девка...

Старуха поплелась к Настасье.

— Слышь-ка, вдовуха, слышь-ка,— затрясла она головой в черном повойнике.— Так-то ты караулила внучку-то мою. А я-то, старая псовка, как с путной с тобой пускала в почное девку-то. Слышь, говори, с кем она?

У Настасьи упал из рук косарь.

— А что?— И губы ее побелели.

— Что, что? Вот те и что!

— А черт ее укараулит!— вдруг закричала вдова в сморщенное старушечье лицо и загремела ухватом.— Поди узнай с кем...

Бабка Дарья трясла головой, беззубо жевала ввалившимся ртом:

— Тьфу!— и, хлопнув дверью, вышла.

Настасья повалилась на кровать, завывала в голос. Ну конечно, теперь Андрюха на Татьяне женится.

Андрей же, похрустывая морозным снегом, шел в волисполком газету почитать и думал: «У Настюхи два самовара, две коровы и лошадь добрая. Татьяна победнее. На ком же? А жениться надо обязательно. Вот дьявол-то. Нешто к колдуну сходить да погадать?»

Идет, насвистывает сердитую, опять про Настасью дума:

«Ежели жениться на Танюхе, Настька убьет... Отчаянная баба... Ведьма».

А навстречу Татьяна, на маслобойку льняное семя относил:

— Здравствуй, Андреюшка!— И оба остановились среди лесной дороги.— Как живешь?

— Ничего. А ты?

— Плохо. Тоскую все.

Она глядела в его цыганские глаза голубыми печальными глазами и пыталась улыбнуться.

— А ты ничего, Андреюшка, не знаешь?

— Ничего.

Татьяна вздохнула. Милое лицо ее померкло. Она опустила голову и глядела в землю.

— Ну, скоро узнаешь, Андрюша... Прощай.

Парень поглядел ей вслед, жалко стало, крикнул:

— Эй, Тань! А помнишь журавлей-то? Вот придет весна, соловьев слушать пойдем.

Девушка молча удалялась.

Татьяна продолжала ходить на посиделки, но в плясы не пускалась — мол, голова болит,— а пряла пряжу и пела с подругами песни печальным голосом. Со всего села, из ближних деревень со-

биралась на игрища молодежь: кончался Филипповский пост — скоро начнутся свадьбы. И немало парней метит на Татьяну — краше, ласковее, работающее девки нет, — даже как-то трое из-за Татьяны по пьяному делу за ножи взялись.

Андрей еще в своем сердце не решил, держит себя с девушками ровно, только Татьяну семечками угощает и, когда, обнявшись, сидит с ней на беседе, шепчет:

— Ни хрена... Оженемся... Советским браком хошь?

За Настасьиним хвостом тоже много трепалось женихов. Но Настасья только одного прикармливала блинами да угощала самогоном — Андрюху.

— Я знаю... На Таньке жениться ладишь, — говорит она, провожая его ночной порой. — Женись, женись... Девка, кажись, с приплодом... вся волость погопочет на тебя, на дурака.

Бабка же Дарья однажды поутру взяла кошель да клюшку и поковыляла через лесок к колдуну на мельницу.

Про Ерофеича давно шла по селу слава — сильный колдун: когда отряды рыскали, хлеб с добром отбирали — черта с два найти им колдуна: шарились-шарились — не только колдун, а и вся мельница пропала, даже одного из отряда холера задавила — в одночасье сдох.

А третьеводнишь встретила бабка Дарья у батюшки отца Семена с женой председателя исполкома, Оленой Митриевой.

— Ох, бабушка Дарья, сходи, сходи. И такой-то колдун, что страсть. Муженек-то мой как закрутил с Михайлова дня, так все влежку, влежку. А из города ревизия обещала быть, того гляди под суд. Говорю, напиши господу зарок, — мол, укрепи, господи, брошу пить, — да запечатай в конверт, пускай батюшка под святой престол положит. Куды те тут, — как начал костить! «Кутья! Обманщик, пиум народа». Я к колдуну, дал мне волчьего помету с наговором. Гляди, ведь проблевался мой-то, — две недели прошло, не пьет.

Пришла бабка Дарья к Ерофеичу. Колдун сидел у печки, толлок в ступе кошачью печенку, а ворона по избе ходила, каркала.

— А крест сняла?

— Сняла, милостивец-батюшка, сняла. Присуши ты парня к девке.

Колдун принял от бабки холст да серебряный полтинник, а ей дал старый веник-голик и разъяснил, как надо приступать.

В радости вернулась бабка в свою избу на другой день к вечеру. Только за порог, а Андрюха шашть:

— Я к вам по сурьезному делу. Здравствуйте!

Бабка Дарья размахнулась и ударила его по спине колдовским веником:

— Шйльцы-вйльцы-цыгорцы-ходйльцы!..

— Ты чегой-то, бабушка? — обернулся опешивши Андрей.

— Шйльцы-вйльцы-цыгорцы-ходйльцы! — стеганула его бабка во второй да в третий раз.

Андрей захохотал — знать, спятила старая старуха, — сел за стол и, просмеявшись, сказал отцу Тани:

— Вот что, дядя Григорий, желаю на вашей родной дочери, Татьяне Григорьевне, жениться.

— Матушка, покличь-ка Таньку, — торопливо сказал Григорий.

Бабка Дарья бежала за внучкой и захлебывалась радостью.

— Вот он, колдунище-то, какой... Ну, колду-ун...

VI

Прошло больше месяца, как записались Андрей с Татьяной по-советски, при свидетелях. И, конечно, раз не в церкви, не по-христиански венчаны, никак нельзя мужу и жене вместе жить — жили новобрачные, как и прежде — порознь.

Бабка Дарья — что это за свадьба за анафемская, тьфу! — бабка все еще в наговорный веник верила, то Андрюху по спине хлестнет, то внучку:

— Цыгорцы-ходйльцы!

Но толку нет. Рассердилась бабка, изрубила со злости веник топором, в печку бросила, а сама в волость, милицейскому на колдуна жалобу нести.

— Он, леший, — сказал милицейский, — и меня здорово нажег: украли у меня барана, пошел к колдуну, а он, сволочь, меня на ложный след навел. Хотел его под арест взять, опасно все-таки: живо грыжу припустит.

Заплакала бабка, не о холсте с полтинником заплакала, — о внучке Тане.

А внучка тем временем — эх, скоро и зима пройдет! — Таня со слезами пеняла своему невенчанному мужу:

— Андрей... Что ж ты не женишься по-настоящему? Пойдем к венцу.

— Леригия мне не позволяет, вера... Почитай-ка газеты-то...

— Живем порознь, как чужие. Ни работник ты в нашем доме, ни кто.

— Ха! — хакнул по-сердитому Андрей. — Я в согласье хоть завтра перейти жить к тебе. Хоть сей минут.

Григорий, войдя в избу, поймал ухом, крикнул:

— Я те перейду. Много таких мужьев поганных найдется... Отлыниваешь ты, черт... Испакостил девку, да и...

— Она не девка. Она жена мне. Почитай-ка декрет.

— А подь ты с декретом-то!.. Декре-е-ет... Твое ли мужиковское дело декреты знать?.. Совесть-то есть ли у тебя ай нет?

— Дурак ты, Григорий, больше ничего.

С тем и ушел Андрей.

А Григорий стал ругать неистово: и бабуку, и Татьяну, и советскую власть, и весь белый свет.

— Чего ж, тятя, разгневался? Ведь Андрей согласен жить, сам не пускаешь.

— И не пущу!.. Легко ли дело! Записались скрадом у какого-то Абрашки. Тьфу твоя свадьба чертова! Сводники проклятые... Иди к Андрюхе в избу, в гражданский брак!

— Давно бы ушла, да его старики меня не принимают.

И бабука накинулась:

— Сама виновата, вот что! Девкина честь на волоске висит, а потеряешь, так и канатом не привяжешь.

Таня упала на лавку, заплакала, завизжала как помешанная.

— Ага, родимчик! А ну-ка, бабука, кнут...

VII

Плыли весенние зори в небесах, сменяя одна другую. Дни становились длинными. С юга тянули журавли.

Татьяна никуда не выходила. Лицо ее скорбное, в пятнах, и мысли скорбные. Настасья щеголяла по весне в новых полсапожках, в желтой с разводами шали. За Настасью сватались парни и вдовцы. Отказывала.

У Андрея были крупные нелады со своим отцом: ходил пасмурный, задумчивый, к Татьяне заглядывал редко. Поругается с Григорьем и уйдет. И отец и Григорий напирали на него:

— Женись на девке по-настоящему, вокруг налож.

— Я по декретам желаю жить,— говорил Андрей.— Раз новые права, надо уважать.

— Декрет-то твой, видать, в скрипучих полсапожках ходит... Вот твой декрет,— хрипел Григорий, и глаза его наливались желчью. Андрей краснел.

Как-то Григорья не было дома, бабука Дарья тоже ушла — белье полоскать. Вернулась — нет внучки. Она в чистую половину: дверь на крючке.

— Открой!

Не отворяет. Забила бабуку дрожь. Грохала-грохала, только стон из-за дверей. Бабука в огород, поставила к окну лестницу, влезла.

Татьяна корчилась в родах, грызла подушку и стонала.

— Ой ты, мнѣшеньки! — заголосила бабка. — Она, паскуда, и дверь на крючок!.. Она, непутевая, задушить ладила ребенчишка-то... Ой, грех, грех... — И бабка поковыляла вон, руки вымыть.

А в сенцах Настасья полсапожками скрипит:

— Здравствуй, бабушка Дарья... Не забежала ль курочка моя к вам? Кого это задушить хотите? А?

— Тебя, желта шаль! Тебя, потаскуха! Не приваживай гражданских мужиков к себе. Уходи, уходи!

Вымыла бабка руки, принесла в чистую половину к изголовью Татьяны икону старинную, зажгла богову свечку четверговую, настезь ворота распахнула, чтоб было легче дите рожать — надо бы царские двери в алтаре, да некогда — и опять к внучке, принимать новоявленного правнука.

В это время Андрей стоял пред Григорьем, сняв шапку, и, помигивая цыганскими глазами, говорил:

— Надумал я, дядя Григорий, папаша, нарушить декрет. В церковь дак в церковь. В согласье я... А то мне дома голову отгрызли.

Григорий в гумне сошник к сохе прилаживал. Сурово выслушал Андрея, сказал:

— Дело.

Сели, закурили.

— Ты куда это собрался ехать?

— В лес, — сказал Андрей, — нехватка в дровах.

А меж тем младенец родился чуть жив и на другой день умер.

VIII

Хлопот, хлопот бабке Дарье. Взяла холст да полтинник серебряный, последний, пошла к попу. Отец Семен попробовал полтинник на зуб, пощупал холст, согласился. И в ночное время, радуясь, похоропили младенца на погосте.

Ночь была темная, теплая, поля дышали.

Бабка слегла, Григорий стал пить, Татьяна поправляться.

На третий день вечером Андрей встретился с Настасьей в кооперативе: вдова селедки покупала, Андрей — табак.

Защемило сердце у Андрея. А вдова чоботами скрипит, красуется, грудь так и выпирает. Андрей домой. Вдогонку Настасьин ведьмин скрип:

— Чтой-то загордился, Андрей? Когда свадьба-то?

— А тебе на что?

— Ну как же, поди пригласишь. Ну что, сына или дочку бог дал Татьяне?

— Чего мелешь! Я не знаю... Только что из лесу приехал.

— А ты сходи... Смотри, задушат... Слышала я, грешница... Ой, нехорошо слышала...

Андрей сопел, дико озирался и, весь похолодевший, плелся по дороге как во сне.

— Пойдем чай пить... Под селечку,— масляно заглянула в его глаза Настасья.

Как за ведьмой, неотрывно, против воли шел за вдовой Андрей. Она что-то говорила, он не слушал, весь был там, у Татьяны: и хотелось сына, и не хотелось, а на душе тоскливо, скверно, как пред большой бедой.

И только после первых петухов, развеселившись крепким вдовым самогоном, шел Андрей вдоль села, примурлыкивая песню.

— Стой. Надо постучать.

На стук выглянул в окно Григорий.

— Здравствуй, папаша предбудущий!.. Тесть. А где гражданская жена? Сказывают, ребенок у вас? Где ребенок?

— Нег никакого ребенка.

— В каком случае нет?— покачиваясь, запыхтел Андрюха.— Есть!.. Только посмейте задушить с бабкой, прямо в тюрьму... Зна-а-ю, брат!

Караульная тетка бросила бить в колотушку, притаилась во тьме, слушает.

— Иди, парень, проспись,— сказал Григорий и стал закрывать окно.

Андрей вцепился в раму, заорал:

— Тогда даю письменный отпор: не желаю! Вот как... в порядке дня. Раз задушили — к чертям! Венчайся сам на ней...

Когда подошел к своей избе, как огнем опахнула его вдова Настасья: в глаза, в лоб, в губы иступленно целовала его, шепча:

— Миленький... Цветик алый... Отказался... Сама слышала... Ну, теперь по гроб мой будешь.

IX

Андрей перебрался на жительство к вдове. Татьяна погрузила недолго: не любит и не любил ее Андрей. Ну что ж. Есть и другие хорошие ребята на примете. Мало ли красноармейцев возвратилось: разговоры, обхождение, выправка. Вот это женихи!

Быстро стала Татьяна оправляться, расцветать. Налилась Татьяна ядреным крепким телом, и глаза стали такие, что не оторвешься. Эх, девка — красота!

Цвели зеленые луга, цвела Татьяна, а по задворью, по проулочкам, чрез грязь, чрез бабий слух, чрез старушки слюни ка-

тилась про Татьяну сплетня: придушила девка дите свое. И вот пришла Татьяне гибель.

Птицы гнезда выют, соловьи всю ночь в черемухе тюрлюкают, молодежь игры, плясы, хороводы водит. Этим летом особенно усердно женихались, свадеб будет много.

И Манька, и Палашка, и две Дуньки, двадцать девок на селе — все веселы, все пляшут, от парней отбою нет. Только Татьяна не пляшет, никто не берет ее. И сидит Татьяна одна как зачумленная. А вернется домой, неутешно плачет. Третья пьяная гулянка, — как отрезало: ни один парень не взглянул. Пришла Татьяне гибель.

Бросила Татьяна на гулянки ходить, заперлась, сидит, волосы рвет, плачет. У Григорья, на дочь глядя, руки опускались, и в сердце чернела кровь. Бабка Дарья с горя умерла.

— А в вековухах сидеть я не согласна, — как-то вечером всерьез сказала Татьяна отцу, всхлипнула и вышла вон.

Отец ужинать кончал. Ему эти слова как ножом по горлу. Зашлось у Григорья сердце, выполз из-за стола и за дочкой следом. В сенцах тьма.

— Татьяна!

Тьма жутко закачалась, и возле раздался хрип.

— Ой! — пискливым диким голосом вскричал Григорий. — Господи Сусе!! — затрясся, снял дочку с петли, понес, — ноги подгибались, — положил на кровать.

И лишь пришла в себя, стукнул в окно кто-то. Борода.

— На-ка, Григорий Митрич!.. Писулька тебе. Чрез волость... заказным.

«От сына», — растерянно подумал Григорий. Сын на фабрике в Питере, в больших делах. Эх, не до письма!

Только утром прочла Татьяна письмо. Брат приехать не обещает — делов выше головы, — зовет сестру в столицу:

«Что ты в деревне киснешь? Чего тебе деревня может дать? Раз сама пишешь, что жить тяжело, собирайся ко мне. Я тебя определяю на курсы, человеком будешь».

И загорелось вдруг у Татьяны — ехать.

— Хоть прискорбно мне, — глотая слезы, сказал отец, — а поезжай.

Х

Прошло лето, сборы в Питер кончились, наступила осень. И все по-старому: грязь, бедность, самогон. По утрам дробными ударами на токах молотили рожь. А на песчаном острове в ноч-

ных потемках играли журавли. Андрюха подкрался на лодке и грохнул из ружья.

И вот теперь у Андрюхи дома живет с перешибленным крылом журавль. Он не подыметсЯ больше в небо, он до самой смерти будет жить с Андрюхой на земле.

Утро. Туман. По дороге тарахтит телега.

— Прощай, родимое село!

Настасья едва оттащила смущенного Андрюху от окна.

Григорий, надвинув шапку, помахивал кнутом и весело насвистывал, но его сердце ныло. На телеге Татьяна. Она собралась искать судьбу. Милое лицо ее свежо и радостно. Просветленные глаза упорно смотрят вдаль. Но даль туманна, и над головой висит туман.

И сквозь туман падают на землю вольные крики перелетных журавлей. Летят на юг, прямо к цели.

Что им туман, когда в вышине простор и солнце.

ОТЕЦ МАКАРИЙ

I

Декабрь. Я сижу на берегу Черного моря и прислушиваюсь к ритмическому гулу его волн. Где-то, вероятно возле Новороссийска, вырвался из-за гор яркий освежающий норд-ост, кинулся на море, взмесил необозримую морскую синь, а здесь, в тихом Сухуми,— лишь отзвук шторма. Но море все-таки гудит.

Здесь тепло, здесь и в декабре лето: всюду цветут розы, дозревают мандарины, набирают цвет древовидные камелии. Но моя мысль по каким-то неведомым путям переносится в любимую Сибирь, в тайгу. И вижу я: это не в море злятся волны, а гудит вершинами тайга, такая же безбрежная, такая же таинственная, как море.

Я гляжу вперед, к анатолийским берегам: вдали, култыхаясь меж валов, блуждает одинокая, в белых парусах, фелюга. А мне грезится, что это бродяга идет по таежным сугробам, какой-нибудь варнак, убивец, Ванька Конокрад.

Ветер ходит над тайгой, гнутся пихты, стонут сосны, и если взлететь на крыльях,— зеленые валы хлещут по тайге. Но кругом зима, декабрь, у бродяги нет крыльев, туго приходится ему, и он спешит к жилищу.

И припоминается мне таежный рассказ. Кто сказывал его — не помню. Может быть, медвежатник дядя Пров за кашей в зимовье, может быть, тетка Акулина, а то какой-нибудь варнак — со многими из них я курил трубку табаку за время многочисленных своих скитаний.

II

Ветер ходит над тайгой, гудит тайга, как море. Вяхлястой снеговой тропинкой плетется сутулый человек. Бороденка, длинные волосы, постное, со втянутыми щеками лицо, монашеская скуфейка колпаком, за плечами котелок и торба. Одет человек в рванье, в тлен.

Морозный вечер. Холод сушит щеки, знобит глаза.

Бродяга вдруг заулыбался: близко протявкала собака, понесло жилым дымком.

Семейство старого Вавилы садилось ужинать. Вошел страпник, сдернул скуфейку и закрестился плохо гнувшейся, онемевшей на холоде рукой.

— Проходящий, что ли? — сурово, по-лесному, спросил Вавила.

— Стра... страпник я, — выдохнул пришелец намерзшие слова. — Так точно, милостивец... Страпник.

Вавила заслонил глаза от света, крепко прищурился на пришедшего, сказал:

— Ночуй.

За ужином жаловался Вавила человеку:

— Так что совсем без попа, словно собаки. Два года как опился вином отец Семен, превечный покой его головушке! На моих памятях пятый поп спивается у нас. А теперича к нам в такую глушь ни один священник не пожелал пойти. Кругом лес, трущоба, до ближнего жилья больше сотни верст. Сами кой-как женим, кой-как крестим да хороним, гаже некуда, помахаешь кадилом да поорешь, что в башку взбредет, — ну и ладно. Все думаем: вот уж новый поп объявится, все осветит, всю чертовщину нашу божественную, и похороны, и свадьбы. Какие мы, к лешевой бабушке, попы!.. Да... А я в церковных старостах хожу... Эх, стрель ты в пятку!.. Грехи!..

Блеклые глаза прохожего заострились шильцем. Поерошил пятерней длинные лохмы, елеяно, назидательно сказал:

— Что же, православные... Будем так говорить, к примеру: я, к примеру, божий иерей, хотя и плохонький, а поп. И, к примеру, изгнан бысть на поселение по ошибке. Но, по благодати божьей, коль скоро та судебная ошибка обнаружилась, аз, многогрешный, возвращаюся домой, питаюсь подаяннем.

Восемь ложек дружно опустились, и все семейство старого Вавилы уставилось изумленным взглядом бродяге в рот.

— Я, известное дело, не навязываюсь. А послужить мог бы в сани иерейском. Ежели понравится вам служба моя, оставите меня попом, ежели не понравится — дальше двинусь.

На другой день расторопный Вавила метелицей носился по селу:

— Мужики, на сход! Поп объявился! Батюшка...

Сход недолго думал: оглядел священника, обнюхал, постановил:

— Взять на пробу.

Только поперечник — парень Тимоха — сказал с насмешливой ухмылкой:

— А пускай-ка взрывает многолетье погромчей, чтоб оглушительно!

Но Вавила сразу парня оборвал:

— Цыть! Засохни! Всяк щенок в собаки лезет... Дурошлеп!..— и, обратясь к священнику, спросил: — Дозвольте узнать, батюшка, как святое имечко ваше будет? Отец Макарий? Так-с. Очень даже подходяще.

Мужики сдернули с голов шапки и — под благословение. Священник залился краской, благословляющая длань его дрожала.

В воскресенье — проба. В церкви густо, духовито, как в квашне. Отец Макарий взывал к богу благолепно, со слезами, старухи плакали, бабы сморкались, мужики сопели, отирая пот. Многолетие батя дернул с треском — за всех православных христиан, за приютившее его село Сугробное, за всечестного старосту, благочестивого Вавилу Карнаухова. Староста Вавила за казенкой приятно улыбался, и белая борода его ползла по тугой синей поддевке, как снеговой вьюнок. Служба кончилась быстро, весело, не как у прежних попишек-пьяниц. Радостные прихожане под трезвон колоколов всей гурьбой повели отца духовного во дворять на жительство в обширный церковный дом.

— А есть ли у тя матка-то, кормилец?— участливо спрашивали бабы.

— Увы! — И отец Макарий с великим сокрушеньем возвел очи к небесам.— Увы, дошел до меня слушок, попадья изменила мне, обрета вздыхателя.

— Ах, ах, ах,— закрутили носами бабы.— Мысленное ли дело — попу без матки жить!

Село три дня на радостях предавалось пьянству и гульбе. Отец Макарий хотя и выпивал, но в меру.

— Мы тебе, батя, солдатку пока что командидуем, Анисью. Бабочка она молодая, чистоплотная. Мужа ейнова убили на войне. Бабочка подходящая, ничего.

Отец Макарий смиренным голосом сказал несмело:

— Собственно, мне по сану надлежит в супруги целомудренницу брать...

— Каку таку целомудренницу? Девку, что ли? Навряд которая пожелает,— подмигивали друг другу, смеялись мужики.

Солдаточка Анисья повела поповское хозяйство превосходно. Мужики вразумляли ее:

— Смотри не подгадь, Анисьюшка! Ублажай попа всячески... Золотой нам достался священник! Прямо — клад.

И потекла попова жизнь в довольстве, в холе.

Так прокатился длинный год, опять легла зима. Отец Макарий отрастил изрядное брюшко, стал осанист корпусом и взгля-

дом. У Анисьи Иннокентьевны от сладкой, сытной пищи тоже округлилось чрево, и бог даровал ей дочь. Крестьяне отнеслись к ней с полным уважением, начали без ухмылки величать Анисью «матушкой».

Священник проводил дни в больших трудах, достатки его незримо множились.

Как-то матушка расхвастывалась бабам про попа:

— Он шибко набожный, он даже чудо может сделать. Чирей у меня, родные мои, повыше коленки был; поп благословил, дунул, плюнул — и прошло.

Бабы сразу же поверили, и отец Макарий действительно с тех пор начал помаленьку чудеса творить: у кого живот дуновением излечит, у кого зуб заговорит, лихоманку снимет, из трех же кликуш, трех толстобоких теток: Дарьи, Марьи да Лукерьи, что в церкви кукарекали, великими молитвами изгнал дьявольских нечистиков.

И все больше укреплялась вера в отца Макария, все туже становился кошелек его, а матушка, осиянная славой своего владыки, вновь принялась усиленно полнеть. Валом валило счастье отцу Макарию. Но враг рода человеческого, как известно, никогда не дремлет, он рыщет на земле, «иский, кого поглотити» вместе с сапогами.

И вот на рождестве, после обедни, когда праздничный народ разошелся по домам, последним вышел из храма и отец Макарий. Когда, постукивая посохом, священник величественно пересекал сумеречную паперть, вдруг словно громом:

— Стой!..

Священник вздрогнул и остановился. От мрачной, сырой стены отделилась огненного цвета борода, широкие плечи, два жадных, с волчьим блеском, глаза, и все это вплотную придвинулось к священнику. Отец Макарий обмер, словно мертвеца увидел перед собой.

— А, батя! Здравствуй, с праздничком...

Отец Макарий отпрянул и затрясся так, что дрожал весь пол, и паперть от его дыхания гудела.

Был предрассветный час. В мгlistом небе звезда стояла. Проснувшийся на березе ворон каркнул, взмахнул крылом, и, как лебяжий пух, посыпался с ветвей куржак.

Рыжий верзила, страшный, оборванный, сутулый, емко шагал рядом со священником, поскрипывая снегом. Фигура отца Макария стала жалкой, пришибленной.

Оба заперлись в комнату. О чем там говорили — неизвестно. Анисья Иннокентьевна слышала лишь сиcлый, озлобленный кашель бродяги.

Три дня, три ночи прожил верзила в доме священника. Он сидел под замком, в каморке, жрал водку, орал песни, скверно ругался. Отец Макарий был мрачен, удручен.

В третьей ночи, когда Анисья Иннокентьевна крепко почивала, отец Макарий звякал ключами, вынимал из сундука накопленные деньги, долго считал их, пересчитывал. Утром верзила скрылся.

— Кто это был?— спросила Анисья Иннокентьевна.

— А это... это брат наш во Христе... Нищий, к примеру.

Отец Макарий повеселел, но ненадолго: ровно через две недели верзила ночью постучал в окно.

— Не рад гостю?— прохрипел он, обнажая широкие гнилые зубы.

— Нет, отчего же... рад,— по-злому сказал священник, и желчь закружилась в нем.

И опять шептались тайно. Жил верзила целую неделю, теперь уже на свободе, в светлой комнате. Священник же свою с супругою спальню крепко запирает и в головы клал остро отточенный топор.

За эту неделю священник пожелтел, как тыква в сентябре.

Однажды ночью... Впрочем, и на этот раз все обошлось мирно: бродяга ушел. Отец Макарий отдал бродяге последние деньги, часы, серебряные ложки, шубу, самовар. Верзила скалил свои лошадиные зубы, что-то бормотал, плевался и, кривоплече сугорбясь, вышел вон. Сказывали потом, как он нанял лошаденку и уехал.

III

А время подвигалось. Подули теплые ветра. Тайга шумела по-особому, шелковым шелестящим шумом. Зима снимала с земли горностаевый полысевший мех. И вот журчат ручьи, чернеют пашни, тайга оглашается весенним ревом сохатого, дробным стуком дятла, посвистом печальной иволги.

На страстной, в четверг, после стояния, в поповский дом вновь припожаловал бродяга. Лицо его горело пьяным огнем, нос разбит, глаза разбойничьи. Как разбойник, вломился он в дверь, крикнул: «Деньги, сволочь!» — и, бросившись на отца Макария, стал его душить. Анисья Иннокентьевна с визгом — на улицу к соседям.

Священник отшвырнул пьяницу, схватился за топор. В руке верзилы сверкнул длинный нож. Вооруженные враги яростно стояли лицом к лицу, как змеи на хвостах. Крутя ножом и наступая, верзила скрежетал:

— Убью!.. Деньги!!

— Нету денег, кровопивец!.. Все отдал тебе, мучитель мой!..

Верзила с рычаньем прыгнул на врага. Священник увернулся. Нож разбойника с размаху вонзился в стол. Миг — и злодей опрокинулся плашмя на пол; его глотку намертво стиснули костистые поповы пальцы, бродяга закатил выпученные стеклянные глаза и захрипел.

Вдруг:

— Вставай, злодей! Идут!

За окном густые, угрожающие голоса, топот в сенцах, ввалился вместе с Анисьей Иннокентьевной народ. Верзила и священник, шумно дыша и стуча зубами, мирно сидели за столом. Верзила зажал в горсть свою раненую руку: по штанам, по сапогу бежала кровь.

— Вяжи его, варнака! — заорал старик Вавила, потрясая ремennыми вожжами. — Айда в каталагу!

Народ двинулся к столу. Но отец Макарий, бледный, желтый, еле переводя дух, сказал:

— Остановитесь, православные... Это так... Это он выпивши, мало-мало пошумел. Он мой гость... Христос велит принимать странников... Идите с миром по домам...

Крестьяне удивленно, открыв рты, мигали, и у всех радостная мысль: «Ну и батя наш!.. святой!» Однако раздались сверкающие гневом голоса:

— В случае чего дай нам восточку. В землю втопчем варнака!

Народ ушел. Священник с ненавистью взглянул на верзилу:

— Слыхал? Пока цел, убирайся вон!

Верзила встал, подошел вплотную к быстро поднявшемуся священнику, покачался, попыхтел, густо плюнул в попову бороду и, ругаясь, вышел.

Священник теперь по ночам не спал. Он часто выходил с топором во тьму, дозорил сеновал, амбары: боялся, что варпак пустит красного петуха и все предаст огню. Не раз отпирал сундук, оглядывал опустошенный кошелек и, перхая, плакал..

IV

Пасхальную заутреню совершал поп благолепно и по-своему: прихожане сроду не видали такой службы. Все исцеленные старухи, бабы: Марья, Дарья и Лукерья и с ними дедка Нил — молились впереди. Лица их сияли. Сиял галунами и прибывший из волости урядник. В маленькой церкви духота.

Весь в огненных парчах, отец Макарий третий раз поднялся на амвон с курящимся кадилом.

А верзила меж тем невидимкой карабкался с улицы в алтарь, через окно, открытое для воздуха.

— Христос воскрес!— торжественно возопил священник, кадя и осеняя всех крестом.

Тут как из-под земли вырос верзила, он развернулся, ударил попа в висок и крикнул:

— Воистину воскрес, Ванька Конокрад!

Поп бревном повалился на пол.

— Дурачье!— хрипел верзила, жег взглядом ошалевшую толпу.— Какой это Макарь! Это Ванька-каторжник, со мной на Соколином острове сидел, варнак, убивец!..

Народ оцепенел; каждый думал — это сон. Вдруг, опомнившись, с гвалтом хлынули вперед, смяли кричавшего урядника, настигли обнаглевшего верзилу и тут же растерзали. Умирая, он шептал:

— За правду погибаю... А поп ваш два семейства в Расеи вырезал...

Отец Макарий, он же Ванька Конокрад, в свалке скрылся. Крест и кадило валялись на полу. В исцеленных старух и баб снова мгновенно вселился бес: катались клубком, выли, лаяли, кукарекали, у двух теток живот схватило, у дедки Нила сразу пересекло в поясах.

Ванька Конокрад пропал бесследно. Анисья Иннокентьевна горько плакала: из почтенной «матушки» она снова превратилась в несчастную вдову. Православные проклипали попа-прощелыгу, искали убить его, но не нашли.

V

Спустя месяц староста Вавила ездил в город. Там составили бумагу и отправили в синод, в Питер. В бумаге говорилось, что беглый каторжник, под видом священника Макария, свадьбы правил, грехи отпускал, хоронил, крестил,— дак как же, освящено все это или проклято?

Из синода пришел ответ: «Освящено — по вере вашей».

Мужики на радостях устроили всем селом русскую широкую гульбу.

А растерзанный верзила (уряднику взятку дали) был тайно погребен в кедровнике. На его могиле белел среди сугробов крест. Старый солдат с березовой ногой сделал на кресте надпись. Солдат очень старался: пыхтел, сопел, кряхтел. Надпись гласила:

«Святы боже святы крепки святы бессмертны спи новопреставленный неизвестный проходящи за веру царя и отечество живот свой положивши а паршивый Макарка приبلудный поп будь он трижды анафима проклят! Аминь!»

АЛЫЕ СУГРОБЫ

Есть на свете такая диковинная страна, называется она — Беловодье. И в песнях про нее поется, и в сказках сказывается. В Сибири она, за Сибирью ли или еще где-то. Скрозь надо пройти степи, горы, вековую тайгу, все на восход, к солнцу, путь свой править, и, если счастье от рождения тебе дадено, увидишь Беловодье самолично. Земли в ней тучные, дожди теплые, солнышко благодатное, пшеница само собою круглый год растет — ни пахать, ни сеять, — яблоки, арбузы, виноград, а в цветистом большетравье без конца, без счету стада пасутся — бери, владей. И эта страна никому не принадлежит, в ней вся воля, вся правда искони живет, эта страна — диковинная.

Молола бабка Афимья — безрукий солдат при медалях ей быдто сказывал: «Беловодье под индийским царем живет».

Врет бабка Афимья, врет солдат: Беловодье — ничье, Беловодье — божье.

I

Когда-то, и не так давно, жили в селе Недокрытове два закадычных друга, Афоня Недокрытов да Степан Недокрытов, так по селу и прозывались. Оба в самом прыску, молодые, только по обличью не схожи.

Афоня — мужик как мужик, обыкновенный: запах от него крепкий, речь нескладная, весь он какой-то белесый, точно из крупчатки с мякиной сляпан. Степан же — угрюмый, черный, присадистый, голосом груб, взором грозен. Афоня тихий, задумчивый, весь в мечте, весь в сказке. Степан — черту брат: повстречается медведь-стервятник — хватать ножом, как пить даст. Сте-

пан самый заправский охотник, медвежатник, Афоня же с дудочкой соловьев любил ловить, а ружья боялся.

И этих-то разных по виду людей судьба скрутила вместе в тугой аркан, вывела в чистое поле и, завязав глаза, стегнула кнутом мечты и отваги — «иди!».

Дело случилось так.

— Ну, так вот, с богом, ребята, со Христом,— сказало все согласие села Недокрытова.— Не жизнь нам здесь, а гроб. Эвот, поглядите-ка, что покойников-то на погосте: крестов, что в лесу деревьев, сами понимать должны. А земля наша — сквозь песок. А дождей который год нету, сами знаете... Чистая смерть, господи помилуй...

— Еще вот что, ребята,— сказал староста Нефед, ласково поглядывая на Афонию со Степаном из-под широкополой жеваной шляпы.— Ежели найдете Беловодье, век не забудем вас. Ей-бо... переселимся и работать не дозволим: сидите себе дома на печи, милуйтесь с хозяйками да малину с медом кушайте. Ей-бо!

Поклонились путники всему согласию в ноги, помолились на церковь, на родительские могилы, вскочили в седла и — в дорогу.

Степан еще раз попросил мужиков:

— Не забывают баб-то наших. В случае чего так...

— С богом! Езжай без сумленья. Сказано — поможем.

Их жены разливались слезами, выли ребяташки.

Мать Афони, сморщенная, маленькая, прытко бежала за сыном, заглядывала в лицо ему, стараясь улыбаться, но глаза захлебывались горем, в глазах качался, вянул белый свет.

— Буди благословение мое... буди благословение...

— Не плачь, мамушка, брось... Ох, и сказок я тебе расчудесных привезу.

Долго крестила иссохшая старая рука взвившуюся на дороге пыль. Поворот, пригорок — и всадников не стало.

II

Сначала в седле тряслись, потом на пароходе Волгой плыли — вот так река! До чугунки добрались — как пошли отмахивать да как пошли крутить, Урал — вот так это горы! А там и Сибирь — плоская, ровная, а дальше опять река, да не река, речища — Обь... А за речищей опять горы начались, не горы, а горищи — сам Алтай! Господи помилуй, господи помилуй, этакie чудеса на свете есть.

— Куда же это ваш путь принадлежит?— спросил их в селе Алтайском дядя сибиряк-чалдон.

— Правильную землю ищем, Беловодье,— робким Афоня ответил голосом.

— Беловодье?— переспросил сибиряк и насмешливо при-свистнул, нахлобучивая картуз на брови.— Это сказки. Старухи на печи сказывают. Беловодья, братцы, нет. А езжайте-ка вы, братцы, вот куда... Езжайте вы прямым трактом в Онгудай, такое село есть. А там покажут — куда. Много вашего брата, само-ходов, в тот край прет.

Долго ли, коротко ли ехали — горы, речки, луга, калмыки — и всех встречных спрашивали:

— А скоро ль Возгудай-то?

— Какой Возгудай?

— А этот самый... как его...

Юрты, деревушки, церковка. Цветы, трава, дикий козел ревел на сопке поутру. А ночью в густо-синем небе — звезды. Афоня весь в порыве, в трепете: вспорхнуть бы, облетать бы, а крыльев нет.

— Степан, господи Сусе... Степан? Глянь-кось, глянь-кось.

Степан едет передом в седле, угрюмый, гложет на ходу баранью кость.

— Степан!

Но всему бывает свой черед: за рекой Урсул засерело на пригорке Онгудай-село. В Онгуде их снова опажули холодом.

— Где это видано, чтоб такая земля была: реки молочные, берега кисельные. Эх вы, лапотоны! Ничего вы, лапотоны, не смыслите. Эх, Расея-матушка!

Афоня было в спор, турусы начал разводить. Степан же отсек сразу:

— Киселей нам не надо никаких. Мы добрую землю ищем.

— Так и толкуй,— сказали сибиряки-чалдоны.— Добрую землю вам покажем. Это надо за Кемчик идти, в Урянхайский край.

— Чей же это край?— спросил Степан.

— Не то китайский, не то наш. Попросту сказать — ничей.

— Слава те Христу,— перекрестился Афоня.— Его-то нам и надо. Это самое Беловодье-то и есть. Оно!

Прожили в Онгуде путники целую неделю. От Онгудая через горы, сказывают, суток шесть пути; они заготовили провианта вдвое: сухарей, крупы, масла, пару хороших коней достали, выносливых, калмыцких, их и ковать не надо: сталь, а не копыта.

Хозяйственный Степан суров, смекалист, быстр. Афоня же так... все про пустяковину: а красива ли дорога? а какого, мол, цвета горы? а какие распевают там птицы, громко ли грохочет

гром в горах? Даже о том спросил Афоня, не водится ли в тех местах летучий змей с хвостом,—сказывала, мол, бабушка Афимья.

Только на прощанье по-серьезному проговорил Афоня:

— Ну, а ежели заблудимся да погибать начнем?

Ему ответили:

— Тогда — аминь. Кругом безлюдье.

— Ни-ичего,— бодро протянул Степан.— Несчастья бояться — счастья не видать.

Выехали в солнечный воскресный день. Через первые хребты провожал их бывалый зверолов Иннокентий. Солнце блестело вот как. На перевал вздымались целый день. Солнце ниже, ниже, они все вверх, гнались за солнцем, не спускали с солнца глаз. Вот зацепилось оно за сопку, еще чуть-чуть — и нет его. Степан как гикнет: «Айда!» — как вытянет коня нагайкой: гоп, гоп! Глядь — солнце опять над сопкой, снова светлый день.

Долго гнались за солнцем, долго не давали ему пасть на дно.

Остановились на ночлег в горах.

— Вот так это горы! — радостно, таинственно говорил Афоня, сидя у костра.

— Настоящих-то гор еще и не нюхали,— возразил провожающий Иннокентий.— Что буде завтра.

Утром выбрались путники на самый перевал. Глянул Афоня — и все внутри его заплясало: весь Алтай всколебался перед ним. Горы, как хребты страшных чудовищ, высились над землей: ближние — в ярко-зеленой щетине леса, на ободренных боках кровавые подтеки; а там — черные ребра обнажились, там — осыпь серых камней — курум. Дальше же яркая зелень блекла, голубой закрывались горы завесой, гуще, гуще завеса, и уж в правую руку, куда летел очарованный Афонин взор, — было синим-синим. Налево лежали хребты нагие, словно звериные спины облысели от времени или словно вся шкура была содрана с чудовищных хребтов до самого до мяса.

Все они вздымались серой массой, с черными впадинами балок и ущелий. Какие-то легкие тени скользили по освещенным солнцем склонам. Афоня догадался, что это тени плывущих в небе одиноких облаков.

А небо было голубое, спокойное, солнце недавно поднялось из-за хребтов и... что это там впереди блестит — больно глазами глядеть?

— Снег! — вскричал Афоня.— Гляди-ка, Степан, снег!

— Это вечные снега, вечные льды. Спокон веку так,— внушительно сказал Иннокентий.— По-нашему называется — белки.

Весь горизонт уставлен белыми хребтами, только ниже скло-

ны голубели в сизой дымке, а вершины гор хлестали глаз резкой белизной.

— Через эти снега вам придется идти. Ничего, не бойтесь. Вот эту сопочку-то видите, — эвот, эвот чернеет?..

Инокентий толковал им целый час, все обсказал подробно, куда идти, в какой балке ночевать, какие речки вброд переходить, а там вот то-то будет, а там вот это-то. Ну прямо отпечатал.

— Самое трудное вам — до белков добраться, — сказал сибиряк. — Как белки перевалите, близехонько и Беловодье ваше.

— До этих белков мы поди завтра же и доползем, чего тут, — проговорил Афоня, поглядывая из-под ладони козырьком на четко видневшийся снеговой хребет. — Рукой подать.

Сибиряк с презрением посмотрел на него, — он видел в нем человека никудышного, — сказал:

— Нет, паря, дай бог на четвертые сутки подойти к белкам-то. Поболе сотни верст до них.

— Да ты сдурел! — крикнул Афоня.

Действительно, хребты казались совсем близко. Афоня поднял камень, раскорячился, швырнул.

— Нет, паря, не докинешь.

Афоня стал сибиряка просить:

— Инокентий, проводи нас, чего тебе.

Тот сверкнул глазами, как ожег:

— Каждого провожать — подохнешь. Поди хозяйство у меня. Эт ты, лапотон, чего сказал. Башка с затылком!

Степан сурово тряхнул головой.

— Не хнычь! Найдем и сами. Не в таких местах хаживали.

Афоня сразу поверил в силу друга, знал Афоня — в разных переделках бывал Степан, жизнь Степана для Афони сказка, Афоня поверил другу, и весь испуг его прошел.

III

К следующему утру друзья осиротели. Они в глубокой котловине. Каменные стены окружили их со всех сторон так плотно, что, казалось, некуда идти: вот залегла едва приметным стежком их узкая тропа, а там упрется в стену и — шабаш. Громады каменных хребтов, клок неба сверху. В небе плавает орел. Зорко видит: две козявки еле движутся вниз. Ринуться камнем, ударить грудью, выклевать глаза? Зачем? Орлу — простор и высь, и нет ему дела до земных козявок. Солнце, воля!

А в глубокой котловине сырой, обманный сумрак, остатки ночи еще не ушли отсюда, и жар-птица только к полдню вздымет над козявками свой палящий ослепительный костер.

Афоня видит и орла в выси, мечтает о жар-птице за хребтами. Но главная дума там, в Беловодье, по ту сторону белков.

— Степан! А где же белые-то хребты? Со снегом-то? Ой, сбились мы с тобой.

Степан только улыбнулся.

— Настоящий ты Афоня.

Действительно, в их сегодняшней тюрьме взгляд упирался в стены, и только орлиным взорам был не заказан мрак и свет.

— Он ви-ди-ит,— улыбнулся и Афоня, подморгнул парящему в выси орлу.

Афонин чалый конь след в след шел за конем Степана. Степан сидел в седле прямо и уверенно, был с круторебрым конем своим одно. Он внимательным взглядом щупал все кругом, он чутьем охотника угадывал, куда вильнет тропа и что таится вот за тем зубчатым черным мысом, будет ли завтрашний день ясен и погож. За широкими плечами — наискосок ружье, переметные кожаные сумы набиты туго, конь гриваст.

Афоня же сидит мешком, ссутулился и будто дремлет. Он сорвал травинку, жует ее, рассеянно поплевывает, мечтает. Но визна поражает его ежечасно. Вот перед ним райское место, глаз не оторвать. Но стегнула тропка крутым взлетом вверх и вправо — ахнула душа Афони: все не узнать, все стало по-новому, занятней, краше.

И кричит Афоня:

— Степан! Степан! Чего это?

Отдаленный шумливый гул вдруг проник в тенистое ущелье, где ехали путники. Все креп и надвигался этот гул, все мрачней, непроходимей становилось ущелье. Афоня недоуменно прислушивается, стараясь задержать дыхание. Но вот кони вынеслись на залитую солнцем равнину, всадники враз повернули вправо головы и остолбенели: с поднебесной высоты возле самых путников грохотал осатанелый водопад. Падучая вода яростно била в камни, вся дробилась в облачную пыль, пыль взлетала туманными крыльями: вот один, вот другой крылатый призрак отделяются, тихо плывут под легким ветром, протягивают к путникам седые ласковые руки, плавно поворачивают в сторону и манят за собой куда-то вдаль, в волшебную долину между гор. И вновь, и вновь без конца встают из грохота и дыма белоснежные видения, их зрак и все кругом в тумане, крутая радуга мягким кольцом обхватила все, призраки преклоняют головы с разметающимися волосами, осторожно опускают крылья, чтоб не коснуться самоцветной радуги, плывут в неведомую даль и исчезают.

Водопад крошил всадников золотой, в блестках солнца, пылью;



их лица были мокры, алмазный бисер горел на траве, на иглах беззвучно шумевшего кедра. Суровым грохотом был оглушен весь свет, от земли до солнца. От грохота колыхались горы, и, казалось Афоне, тряслась земля.

— Степан, голубчик!— что есть силы заорал он.— Вот так чудо!

Но голос его умер, грохот сдавил горло, запечатал слух. Афоня перекрестился.

— Ой, ты, чудо-то какое,— бормотал он.— Вот так диво!

Он не мог и не пытался понять, что в нем творится, он весь во власти этого дьявольского грохота, этих невиданных чудес, ему хотелось и хохотать и плакать, точно он распался надвое и обезумел. Торопливо и словно во сне, он крестился, крутил головой, сморкался в подол рубахи, взглядывал сквозь радугу на живую сказку, и вновь его душу охватывал непереносимый трепет, тяжкая радость мешала ему дышать.

— Ой, смерть! Ой, поедem скорее, господи!— карабкался он на коня.

И долго озирался на радугу, на встающие в тумане уплывающие призраки; грохот глуше, глуше, и, когда уткнулись путники в стену гор, было совсем тихо, безмолвная стояла ночь.

IV

Прошло три дня. Конь Афони рассек камнем ногу, стал хропать. Степан встревожился. Афоне ни о чем. Он все мечтал о Беловодье, о радуге, рассуждал сам с собой, по привычке размахивая руками, иногда крестился и шептал молитвы. Степан был хмур: запасы убывали, дичь не попадалась на пути, а главное, чем ближе подъезжали путники к снеговому перевалу, тем дальше, казалось, отодвигался он.

Теперь ехать поневоле приходилось шагом. Да и тропа стала капризной, озорной: как будто нарочно, играючи, она заманивала человека вдаль, крутилась меж огромных камней, подпрыгивала вверх, на уступ скалы, чтоб вновь упасть в бездну и там где-то схорониться в серых россыпях курума.

Путники поняли, что началась опасность, что горный дух Алтая — человеку враг.

— Ну, Афоня, теперича держись.

— Держусь.

Конец четвертых суток караулил их. У Афони с утра щемило сердце, лицо бледное, напряженное, взгляд растерянный и странный.

Солнце в горах садится рано: горный дух Алтая любит прохладу, одиночество и мрак.

Солнце садилось. Гребни гор обрамлялись золотой чертой заката. Стало вдруг холодно. Тропа предательски манила путников на высокую скалу. Они послушно поддавались. Тропа шла обрывистым карнизом, бомом. Внизу гремела речонка. Вода в ней кипела белой пеной. Из ущелий к речке выползал туман.

— Степан, чего-то боюсь я.

Путники были на большой высоте.

— Гляди мне в спину, не гляди вниз, — не поворачивая головы, проговорил Степан.

Горы на западе стали черными, туман поседел, обозначился резче. Солнце скрылось, и лишь световые мечи рыхлыми пучками шли от него из-за гор в пространство. Сумрак вырастал со дна, поднимал свой горб — вот выпрямится, встанет и растопырит над Алтаем расшитую звездами хламиду.

Скала, по откосу которой карабкались лошади, почти отвесно падала в невидимую речку. Тропа лепилась сбоку, как карниз, по случайным, созданным природой, выступам, а скала вздымалась над тропой и уходила вверх, в хмурую глубь небес. Иногда ширина тропы была в сажень и больше — кони шли вольготно; то она суживалась до аршина: тогда даже Степана кидало в оторопь, сердце же Афоня обмирало, он холодел, дрожал. Чтоб не загреметь в пропасть, кони в опасных местах шли в наклон, норовя прижаться к скале. Всадники помнили наказ сибиряка — сиди, не шелохнись, не мешай коню; всадники сидели смирно, Афоня чуть дышал. Кони отрывисто всхрапывали, бока дрожали; напряженный шаг их осторожен, точен. А тропа забирала выше, выше.

— Повернем назад, — слезно взмолил Афоня.

— Дурак, — ответил Степан. Голос его сердит, безжалостен. — Как же назад, ежели коню не оборотиться?

Афоня понял, что обратно повернуть пельзя.

Кони всхрапывали все чаще, в горах переливался, прыгал ответный храп. Копыта цокали о камень резко. Резко цокали в ответ копыта где-то там, в пространстве. И в пространстве, за хребтами, уже začínалась ночь.

Афоня боялся глянуть вниз, но круча под ногами с правой стороны тянула неотразимо. Афоня вскидывал голову, искал в небе звезды, ощупывал глазами широкую спину Степана, но все нутро кричало, орало: взгляни вниз! — и не было мочи противиться. Афоня видел внизу серую мглу: то наползали на речку туманы. И еще он видел, не глазами, а чем-то другим — видел такое, что...

— Ой, Степан, я слезу... Я пешком пойду.

Степан молчал. Степан сам был не в себе. Темнота сгущалась, а где конец тропы?

Конь его идет ощупью, дрожит, прыдет ушами. Ступь все медленней, все осторожней. Сорвался из-под копыт камень, гулко покотился вниз, задняя нога коня скользнула. Степан ахнул и враз облился холодным потом, едва удерживаясь в седле. Он быстро обхватил коня за шею. Коню передался ужас всадника, он всхрапнул и, остановившись, привалился боком к скале. Степан не знал, что делать. Охваченное мраком пространство как бы исчезло: стало совсем темно. А сзади молил Афоня:

— Степан, голубчик! Погибель наша.

— Стой, дожидай! В потемках куда,— дрожащим голосом проговорил Степан.

Афоня вплотную подъехал к нему, но тот боялся повернуть голову: ухнешь с конем в пропасть.

Впервые в жизни Степан почувствовал полную беспомощность. Он ясно понял, что весь его жизненный опыт, отвага, сила — ничто. Может налететь ночная птица, может сверху оборваться камень — конь вздрогнет, неверный шаг и — смерть. Конь стоял смирно. Степан не смел понукать его. Но как же быть? Дождаться до утра в седле? Задремлешь. Слезть с коня? Опасно: тропа в этом месте так узка, что четыре лошадиных ноги едва умещаются на ней. Степан терял присутствие духа.

Он уже ничего не мог различить перед собою: горы сгрудились вместе, враждебно придвинулись к путникам, черные, немые. Обложенное облаками небо мрачно. Слева едва серела скала, в холодный гранит которой упирался дрожащий локоть Степана. Мысль работала напряженно, она вся без остатка увязала в этой тьме, выхода не было, и Степан, зло сопя, скрипел зубами:

— Будь оно проклято, это дьявольское Беловодье.

И неизвестно, шло или остановилось время. Степан перестал чувствовать коня под собою, не ощущал земли, не знал, жив он или нет. Мрак убил его, он как в могиле, весь холодный, недвижимый. Грудь переставала дышать, мысль пресеклась, он — мертвец.

«Фу ты, леший... Неужто смерть?» — вдруг вздрагивала вся его душа.

Степана бросало в мгновенный жар, волосы на голове шевелились, сердце ударяло полной силой. Степану тогда представлялось, что кругом пусто: ни земли, ни неба, одна тьма, и что он среди этой тьмы подвешен на гнилой веревке, в пустоте. Один, совсем один. Веревка вытягивается, потрескивает, еще

минута — и веревка лопнет: враз засвистит в ушах ветер, обмерет дух, а тело будет падать, падать, падать — хрясь!

— Ох, ты...

Вот раздался грубый трубный звук. Тьма откликнулась и замерла. Это ревет горный козел. На душе стало легче — не умер, жив.

Аффоня хныкал, бормотал:

— Экие страсти, батюшки мои... Голова чего-то у меня кружится.

— Ну?..

— Тово гляди сорвусь.

— Держись. А то костей не соберешь.

— Пресвятая ты моя богородица... Заступница...

Вдруг облака стали серебриться.

— Никак месяц, — радостно сказал Степан.

Из-за хребтов взнялась луна, облака разорвались, пространство посерело, потом вдруг наполнилось ровным голубоватым светом. Столпившиеся горы враз отпрянули на свои места, внизу засверкала серебристым шнуром речка, из мрачных провалищ плыл туман.

— Батюшка Степан... Сорвусь!

— Завяжи глаза.

— Страшно шевельнуться.

Степана покорило. Он чувствовал, что Аффоня вот-вот опрокинется в пропасть, и не было силы помочь ему. Степан шевельнул повод, лошадь вздохнула и осторожно двинулась вперед.

— Поезжай полегоньку. Ежели страшно — зашурься! — крикнул Степан и привычным ухом поймал, как сзади цокают о камень копыта.

Тропа быстро пошла книзу, стала шире, от сердца Степана отлегло. Облака то наплывали на луну, то разлетались. Тропа чуть поднялась вверх и круто стала спускаться. Речка здесь разлилась широко, была молчалива и тиха: рухнувшие скалы подпирали ее течение. При лунном свете Степан ясно различал над ее поверхностью мокрые, блестящие лысины камней.

«Слава богу, выбираемся», — облегченно вздохнул он.

Но вот его лошадь приостановилась, подобрала все четыре ноги в одну точку и скакнула вниз. Степан едва усидел, схватившись за шапку.

Еще прыжок — Степану больно стукнуло ружье о спину.

— Эй, держись! — закричал он Аффоне.

Но в этот миг что-то загрохотало сзади. Степан круто обернулся, обмер: лошадь Аффони сплеховала — всхрапывая и цепляясь

передними ногами о край скалы, она грузно сползает задом в пропасть.

— Афоня! Афоня!

Еще мгновение — и, высекая копытами искры, лошадь со ржанием покатилась вниз.

— Афоня!! — чужой, отчаянный крик вылетел из груди Степана. Он соскочил с коня и бросился к краю пропасти. — Афоня, где ты? Эй!

Лунный сумрак молчал. Только разрывало сердце смертельное лошадиное ржанье внизу, сменявшееся тяжким кряхтением и почти человеческими ее стонами. Конь Степана тревожно ржал в ответ и бил копытом о камни.

— Степан, умираю... Степан... — слабо раздавалось возле Степана, немного ниже, во тьме.

Степан, как лунатик, стал осторожно переступать с карниза на карниз. Он не думал об опасности, его кто-то вел, указывал, куда ступить, он сделался легким, бездумным, странным, ноги враз прозрели, руки к скале — магнит к железу, крылья опасности поддерживали его над бездной, страх вел книзу бесстрашным для души путем.

— Помоги... Ради Христа.

Степан склонился над Афоней. Тот завяз в расселине скалы. Степан догадался: на том проклятом месте Афоня не усидел, упал и этим сразу нарушил точно рассчитанный прыжок коня.

— Руки, ноги целы? — спросил Степан, ощупывая старавшегося приподняться товарища.

— Кажись, целы... Ведь я не высоко летел, сажени с две... Бок зашиб, голову.

— Сиди. Дождидай...

Степан, так же по-кошачьи карабкаясь, стал быстро спускаться к лошади.

Он не знал, долго ли и как спускался, — он был не свой, не здешний, он спустился в пропасть, широко открыл глаза. И содрогнулся. Чалая лошадь Афони, падая с огромной высоты, напоролась животом на остро торчавший ствол сломленного крепкого деревца. Она упиралась в камни передними ногами, зад же лошади, подпертый пронзившим ее стволом, висел в воздухе. Она ржала мучительно, с смертельной тоской, била задними копытами по воздуху и крутилась, стараясь освободиться. Но крепкое острие все глубже уходило в распоротый живот. Рот ее был оскален и покрыт пеной, голова бессильно моталась во все стороны. Степан с маху ссек топором лесину, лошадь стала на все четыре ноги — и зашаталась. Степан потянул из живота ствол —

вместе с хлынувшей кровью вывалились внутренности, как кольчатые змеи. Лошадь протяжно охнула, опустила голову и застонала по-человечьи; задние ноги ее отказывались служить, подгибались, словно она собиралась сесть. Степан засопел. Лошадь повалилась на бок. Шатаясь и скривив рот, Степан зашел спереди, опустился на колени и обнял лошадь за шею.

— Миленькая моя... Лошадушка... Детишка моя, лошадушка... Лошадушка!

Он целовал ей глаза и лоб. Глаза ее были влажны и под луной блестели умоляюще. Она вся затихла, чего-то ожидала покорно.

— Миленькая, лошадушка.

Степан глухо крикнул, перекрестил ее, вскинул ружье и выстрелил ей в ухо.

Глухо, перекидисто загрохотал в горах выстрел, долго перебрасывался от горы к горе, и последние отзвуки его где-то зарылись в туманах.

V

Теперь приятели плелись пешком, Степанов конь тащил на себе весь груз. Торбы с хлебом и сухарями стали тощи, а сказочное Беловодье не подавало о себе никакого голоса. Путники приуныли. Афоня шел с обмотанной головой, припадая на правую ногу. Тяжкая дорога и ушибы мешали ему молитвенно настроиться, но он все же молился молча и за убившуюся вчера лошадь и за свое спасенье. Шли ровными лугами, блестело утреннее солнце, красовались цветы в траве, от самоцветных гор веяло теплым, смолистым запахом. Вчерашний ужас еще не иссяк в глазах Афони, бледное, постное лицо его сосредоточенно, все думы его там, среди мрака ночи, и слух наполнен липкими звуками предсмертного ржанья. Он не видел солнца, не замечал росистых трав кругом.

— Хоть бы черт повстречался,— буркнул Степан.

— Что ты такое слово вымолвил!— ответил Афоня и взглянул в хмурое, озлобленное лицо Степана.

Степан сказал укорчиво:

— У тебя ведь душа коротка. Ты все над землей привык порхать, по-птичьи. Сказки бы тебе бабьи слушать, а не... Я знаю, о чем ты думаешь... Вот ужю тебя богородица или ангел божий на крыльях прямо в Беловодье, к кисельным берегам. Нате, кушайте, Афанасий Митрич. Хы! А своими ногами не хочешь пошагать?

— Вовсе даже не об этом я думаю,— печально молвил Афоня

и, помолчав, спросил: — Степан, отчего Чалка так ржала? Сердце за нее болит. Это я сгубил ее.

— Ничего не ржала. Тебе погрелилось... Сразу насмерть зашиблась.

— Пошто ты выстрел дал? Пристрелил?

— Ничего не пристрелил. Козла увидал, да промазал.

Афоня вздохнул, испытующе поглядывал в притихшие глаза друга.

Обедали у ручья, в тени густого кедра. Степан набрал грибов, хлебово было вкусное. Афоня повеселел, взор вновь окрылился сказкой, мысли отлетели от земли. Но Степан отрезвил его:

— По расчету, вчера на месте должны быть, а еще и белков не видно. Шестые сутки путаемся. Поколеешь тут.

— В Беловодье отдохнем.

— Плохой ты товарищ. Беловодье... Кажись, сказано тебе ясно, что Беловодья на свете нет! — отрубил Степан.

— Куда же оно девалось? Есть. Мне видение было, сон. Вот уснем в беде, а проснемся у молочных рек.

Степан насупил брови и махнул рукой.

Тропа опять ударилась в горы. Шли каменистыми россыпями. Путь труден, неподатлив. У коня из сбитых ног сочилась кровь.

Вдруг на повороте внезапно вырос всадник. За ним шла в поводу свободная, незаседланная лошадь.

Мрачные морщины на лбу Степана разлетелись, лицо ожило. «Ну, теперь доберемся, — подумал он, с надеждой поглядывая на приближавшегося всадника. — Кровь пролью, а лошадь будет наша».

— Куда? В Урянхай, что ли? — зычно спросил всадник, поравнявшись. — За хребты?

Путники рассказали ему все. Афоня захлебывался от радости, умильно поглядывая в свинячьи глазки великана всадника, и юлил перед ним, как повстречавшая хозяйина заблудившаяся собака.

Всадник пудовой горстью огладил круглую бороду, сказал:

— Вертайте, самоходы, назад. В белках вам крышка.

— Выберемся, — возразил Степан, оглядывая огромную фигуру мужика. — Взад оглобли поворачивать не рука нам.

— За смертью идете, — угрюмо проговорил мужик. — Выюга была, путь в снегах перемело.

— Продай, пожалуйста, коня, выручи нас, — стал просить Степан, чувствуя, как в сердце закипает неприязнь.

— Ты умен,— раздраженно ответил всадник.— Для себя его купил, эвот какую путину сломал.

— Продай!— решительно отсек Степан, глаза его сверкнули.— У тебя два коня... на одном доедешь.

Мужик, не ответив, тронул коня.

— Продай!— с отчаянием заорал Степан, хватаясь за ружье. Мужик обернулся и, вмиг сорвавшись с седла, в два прыжка был за выступом скалы. Щелкнул затвор ружья, дуло нащупало Степанов лоб.

— Бросай ружье, язви тебя! Убью!!!— взревел из-за скалы медвежий голос.

Афоня пал на колени, взмолился:

— Дядя! Дядя!!

Степан подался назад, заскрипел зубами и покорно повесил ружье за плечи. Его била дрожь. Лицо налилось желчью и подергивалось.

Мужик вперевалку подошел к Степану и спокойно сказал:

— Мой совет — назад. Упреждаю. Было бы сказано. Садись на мою лошадь — и айда... А промежду прочим... Знаете дорогу?

И опять подробно рассказал им, как идти. Сел в седло и, не оборачиваясь, поехал.

Афоня кричал ему вслед:

— Ежели погибнем, на тебе ответ перед богом!

— Всяк сам за себя ответчик!— гулко бросил тот.

Степан с ненасытной злобой сек взглядом широкую удалявшуюся спину, руки чесались пустить вдогонку пулю, но мощь и звериное бесстрашие всадника были защитой ему.

— Ну и дьявол...— скрипел Степан зубами.

Афоня проговорил:

— Господь с ним.

— А подь ты к праху, фля! Тьфу!!

VI

На следующее утро, пробудившись, Афоня закричал спавшему товарищу:

— Степан, Степан! Глянь-ко, белки!

Степан приподнялся из-под шубы. Перед ними, совсем близко, высились громады гор, их подол и взлобки опущены густым лесом, выше — полоса леса обрывалась, обнажая серые, истерченные черными ущельями склоны, а вершина хребта придавлена пластами снега, приветливо розовевшего в нежных потоках утренней зари.

Афоня был в одной рубахе. Не чувствуя холода, он дивился

на вознесенные к облакам снега. Все гуще алели снежные вершины, все голубей становились сугробы на обрывах и кручах, в ребристых же гранях снег до боли глаз блестел расплавленным стеклом.

Афоня сложил молитвенно руки и шептал, умиляясь:

— Господи, господи, снег-то какой... красный... Так бы и погулял там.

— Может, там смерть наша сидит,— сурово сказал Степан, разжигая костер.

Но Афоня не слышал, не замечал его. Афоня опустился на колени и гнусаво, по-старушечьи, запел:

— «Заступница усердная, мать господа выщая».

— Выщая, выщая,— брюзжал Степан и крикнул:— Где у тебя чайник-то? Ишь замерзла в нем вода-то. Оболокись¹, заколеешь!

Степан знал, что эта видимая близость белков — прямой обман, дай бог хоть на вторые сутки дойти до снегового перевала. Сегодня путникам придется пересекать топкое болото, отделявшее их от грани лесных тущоб, и сегодня же последний сухарь будет съеден.

Степан угрюм и молчалив, Афоня радостен.

— Ты не беспокойся. Вот помяни мое слово: как в лес вступим, живность найдем — рябков либо зайчишек...

— Мерблюда на сосне,— буркнул Степан и почувствовал, что желудок его пуст.

Шли каменистым болотом целый день. Ноги вихлялись на кочках и проваливались по колено в воду. Сапоги текли, промокшие ноги зябли. Болото местами покрыто вереском, баданом, клюквой и брусникой: для куропаток — рай. Степан держал ружье наготове, но — странное дело — кругом мертво.

Тропа то пропадала, то оборачивалась снова, были видны следы лошадиных ног, путники двигались уверенно. К вечеру тропа исчезла. Искали, искали — не нашли. Решили ночевать на сухом взлобке: что скажет утро. Разделили остатки сухарей, пустые мешки разорвали на онучи. Афоня целую шапку прошлойгодней клюквы набрал:

— Птица век ягодой кормится.

— А ты птица, что ль?— возразил Степан.— Сдохнешь...— Голос звучал печально, как ни старался бодриться Степан.

— А ты верь, ты верь!— выкрикнул Афоня, ударяя себя сухим кулаком в грудь; голубые глаза его вспыхивали и белая бороденка, хохолком, тряслась.— Тогда, Степанушка, все будет хорошо.

Степан поднял на Афонию тяжелый взгляд, собираясь ударить

¹ Оболокись — оденься.

друга злобным словом, но чувство нежности, поднимавшейся от самого сердца, останавливало его. Он только вздыхал, дивясь беспечности товарища.

Утром моросил дождь, и белки задернулись тучей, голодные путники вновь принялись отыскивать тропу. Все выползали, вынюхивали — нет.

Степан сел верхом и взад-вперед ездил по опушке леса — нет. Поиски длились очень долго, неудача злила Степана, плевки и ругань летели из его уст.

Весь мокрый, от неудачи позеленевший, Степан подъехал к Афоне. Тот приподнято сказал ему:

— Идем! Я знаю. Идем скорей.

Тайга разинула колючую пасть и поглотила их. И в яркий-то день в тайге живет сумрак, теперь же все небо в тучах: путники подвигались наугад, вслепую. Степан то и дело припадал к земле, шарил мох, пушистый и мокрый, — не было никаких следов.

Прошел вечер, прошла ночь.

Кружили еще целый следующий день тайгой и закружились окончательно: снеговые хребты пропали. Дождь все моросил.

— Надо солнца ждать. А то... — не докончил Степан и, отвернувшись, засопел.

Сделали шалаш из хвои. Лежали рядом с закрытыми глазами. Не спалось. Думали каждый о своем. Глухая ночь.

— Ты спишь? — спросил Афоня.

— Нет.

— Я все думаю. Деда-прадеды эту землю-то праведную спокон веку, сказывают, искали — не нашли. Вот уж, кажись, тут и есть, уж звоны слышны колокольные. Только бы войти — а нет, лукавый сомустил: грех вышел, перегрызлись деда и — прощай, земля святая! Идут назад ни с чем.

Помедлив немного, говорит Степан:

— Я звонов твоих колокольных не ищу.

— А что же ты ищешь?

— Чернозем. Да всякое угодье чтобы... Пущай мужики на землю крепко сядут. Отъедятся хоть.

— Эх, брат, брат... Ты все о брюхе...

— О чем же еще?

— А ты о душе бы...

— Душа попу нужна.

— Ведь в той земле живут народы без греха, по правде. А у нас как? Сердечушко во мне все изболелось. Бывало, уйдешь по весне в бор соловьев ловить, да и думаешь... Я люблю думать по ночам...

— Ночью спят, днем работают,— попыхивал трубкой Степан,— а ты все в размыслах каких-то бабьих... Анхимандрит...
Афоня вздохнул и проговорил негромко в нос:
— Какие вы все обидчики!

VII

День был пасмурный, накрапывал дождь. Степан тщетно искал с ружьем добычи, принес к обеду только двух малых дятлов. Тайга на всем пространстве покрыта мохом и лишайником, бока у лошади от бескормицы ввалились.

Беспокойство в душе Степана все нарастало, сердце ныло нехорошим предчувствием. Ослабевший Афоня дремал в шалаше и сквозь дрему посматривал на друга, как больной ребенок на отца.

Степан начал перебирать вещи в мешке. Ему нужна коробка с пистонами и пороховница. Сначала движения его были неторопливы и уверенны, потом стали быстрее и суетливей, потом... Дрожащие руки его судорожно хватались за тряпье, как за раскаленное железо: трепал, встряхивал, швырял, обшарил все карманы, вытряс сапоги, шапку, сорвал с себя и перетряс всю одежду, вновь кинулся к мешку. Лицо сделалось мертвенно-бледно, волосы прилипли к запавшим вискам, в глазах безумный страх.

— Что ищешь?— тоскливо спросил Афоня.

— Ножик, маленький такой,— помедля, дрожащим голосом проговорил Степан.

— А эвот он, эвот...

Степан сел на пень, под морду лошади, обхватил колени и весь согнулся. Долго глядел в землю, потом сердито плюнул, кого-то ругнул с плеча и завалился спать. Сон его был глубок и крепок.

Афоня охал, бредил, звал мать с женой.

На другое утро засияло солнце.

Степан поднялся нехотя. Глаза его были потерянные, пусты, но рассеянный Афоня не прочел в них ничего.

— Жрать, Афоня, жрать,— хриплым басом буркнул Степан в бороду и приподнялся, большой и крепкий, как медведь.

— Нету,— уныло вымолвил Афоня.— Вот заячьей капустки, травки кисленькой пожуй.

Молчаливо, отчаянно пили пустой чай. В животе бурлило.

Пошли на восход, чуть левее солнца.

— Солнышко красное, укажи путину верную,— приговаривал Афоня.

Шли напрямиком. Попадались огромные, скатившиеся с гор обломки скал и в три обхвата валежины. Ругаясь, обходили. Сапоги истрепались вдрызг, одежда о сучки трык да трык — в клочья.

Начался пологий подъем — тянигус. Афоня охал, хватался за бок, отставал. Он весь сделался каким-то шершавым, взъерошенным, согнулся и походил на старика.

Степан бодрым, но вкрадчивым голосом спросил:

— А не попала ли к тебе коробочка с пистонами? Да порох еще?

— Куда мне? Не брал.

Ну да, дело ясно, значит обронили на прежних стоянках. Только чудо могло спасти их теперь. Но Степан в чудеса не верил. В усах и бороде его едва промелькнула язвительная улыбка.

— Да, Афоня, любезный друг, — начал он тихо и подавленно. Его поджигало брякнуть сразу всю страшную правду, чтоб ошеломить Афонию, но опять кто-то заградил уста, и сердце Степана облилось последней любовью к другу. — Теперича мы, Афоня, оживем... лишь бы снега перевалить.

— Бог поможет. Только бы вот маленечко поесть, — откликнулся Афоня и тяжело вздохнул.

Вдруг Степан бросил повод:

— Козел... — и быстро пал за валежину, взводя курок.

Афоня взметнул глазом на высокую, торчавшую поверх сосен скалу. На остряке прямо и неподвижно стоял круторогий зверь, подставляя грудь. Степан волновался. Решалась судьба. Руки дрожали.

— Не торопись, промажешь, — шепнул Афоня. Устремленное к скале лицо его вытянулось и застыло.

Раскатился выстрел, хохочущий, нахальный. Козел подпрыгнул и кувыркнулся рогами вниз.

— Готов, готов! — закричал Афоня и, забыв про ушибленную ногу, побежал к скале.

Степан же сердито поднялся, сорвал с головы шапку и бросил оземь. Лицо озверело, рот плевался и шипел:

— Анафема. Пропастина... Змей.

Он видел: пуля ударила возле козла в скалу, от камня брызнула мелкая пыль осколков. Остался единственный дробовой заряд. И неизвестно, для чего теперь его беречь.

«Для себя. В рот», — без всякой жалости подумалось.

Афоня возвращался медленной, вихлястой походкой, сгорбившись, обхватив живот.

— Сам видел, как он мякнулся. Все обползал — нету, — сказал Афоня скрипучим, задыхающимся голосом.

— Целехонек. На рога пал, да и умчался. Они завсегда на рога кидаются.

Аффоня лег на траву и прикрыл глаза рукою.

— Измаялся я, Степанушка... Тяжелехонько мне.

— Пойдем, валяться некогда.

На ходу Степан поддерживал его. Голод морил их, высасывал соки, как жоркий клещ. Аффоня опустил голову, шагал нетвердо, враскачку.

— Трое суток не ели мы с тобой.

VIII

Лишь к позднему вечеру истомленные путники выбрались на край тайги; к густому большетравью. Впереди было мрачно, взор упирался в серый склон хребта, заслонявшего почти все небо.

Вот он, хребет со снеговой спиною: перевали его — и вступишь в теплый, безмятежный край. Надо бы радостно кричать и целовать камни, скатившиеся с заоблачных высот, но путники угрюмыми, почти враждебными взорами встретили эту мрачную твердыню: в них все приникло, ослабело, съежилось.

Степан лениво и вяло, двигаясь как во сне, стал разводить костер. Аффоня в бессилии лег, укрылся шубой, у него звенело в ушах, ныла грудь, дрябло трепыхалось сердце. Хотелось напиться холодного, кислого. Он взглянул в сторону хребта и порывисто повернулся к нему спиною, как к врагу.

Думы Степана были тяжелы и черны. Ему казалось, что смерть ходит по пятам за ним. Но кто же накликал ее? Он — Степан.

Он так загяз в этих думах, что, обрубая сучья, ударил себя топором по руке и долго сосал липкую кровь из пальца. Аффоня застонал. Степан покосился на него.

«Аффоня, друг... Желанный мой...» — мысленно прошептал Степан и засопел. Он подошел к спящему товарищу, пощупал его голову: голова пылала.

— Сидеть бы тебе дома, с бабой, а я, черт, дурак, сманил тебя — пойдем, мол, чужие края усматривать... Да в могилу и завел, — вслух думал он. — Э-эх!

Едва нашел воды, вскипятил чаю, а в другом котелке сварил какую-то бурдомагу: ягода, трава, неизвестные корни и грибы. Есть хотелось неимоверно. «Аж от голодухи пупок к спине присох». За эти дни он очень исхудал, плотно пригнанная к его фигуре синяя поддевка висела мешком, ноги дрожали, руки обессилили, и весь он одрях, словно разбитый хворью старец.

«Хоть бы ломоть хлеба черствого, покрытого плесенью! Не-

ужели больше не суждено досыта наесться? Мяса бы, мяса вареного, с желтым жиром!»

Степан сплюнул и вытер рукавом свисавшие в бороду усы.

— Нет, врешь,— бодрясь, шептал он, помешивая бурдомагу.— Авось фартанёт. Жизнь — штука темная, словно лес в ночи.

Но сердце не верило обману слов, сердце мучительно сжималось, и Степан рычал, как раненый зверь, уносящий в себе пулю.

«Вот и обед, ха-ха! Будить иль не будить?»

Афоня подал голос:

— Я кусочек съел бы. Дай мясца. Горяченького. Козлятинки...

— Нету, браток, нету, милячок.

— А?— поднялся на локтях Афоня.— Ты чего, Степанушка, сказал?

— Нету, мол. Какая козлятина? Вот суп без круп.

Афоня сбросил шубу, сел:

— А козел? Я нашел. Я притащил. И спереди и сзади по башке... А рога в сапсгах... Э-эвот какие!..

Он снова повалился, почавкал пересохшим ртом, сказал:

— Пить...

Степан вытаращил глаза и на четвереньках подполз к нему.

— Ой, ты... Никак огневица. Заговаривается... Афоня, Афоня!

Больной лежал с закрытыми глазами, будто спал, на пылавшем лице улыбка, губы шевелились, вытягивались, искали чего-то. Льяные волосы нависли шапкой на белый потный лоб.

— Вот грех...— горько сказал Степан, вздыхая.

Потом помочил в холодной воде утиральник, обмотал голову товарища.

Бурдомага была отвратительна. Но Степан жадно пожирал, по-волчьи, горькие коренья и грибы глотал целиком. Достал бутылку с водкой и, разглядывая, повертывал ее перед пламенем костра. Водки было немного, она искрилась желтым и синим.

— Чертово пойло... А?

Он берег ее для перевала через снега, но соблазн огромен: скулящая тоска и голод требовали дурмана. Степан задрал вверх голову и, не отрываясь, выпил. Последний глоток долго задерживал во рту: было жаль расстаться. Зажал в горсть бороду, искоса посматривал на костер, не видя его, и прислушивался к себе, ждал волшебства. Как будто стало легче, веселей, но эта веселость не настоящая, она обуяла лишь голову, а там, на сердце, в исподе, все так же одиноко, мрачно.

— Только разбередила... Тьфу!

Где-то надрывно стонала выпь, поухивал филин. Над голо-

вой теплились звезды, крупные, четкие. Выплыл месяц. Склоны хребта стали видимы сквозь сизую мглу ночи, от каменистых гребней и деревьев пала густая тень.

Степану показалось, что воздух вдруг похолодел, а жаркое дыхание костра ослабло. Он уставился на месяц и начал вслух думать, роняя бессвязные слова:

— Эвот ты куда взобрался, месяц-батюшка, какую высь. Поди и деревню нашу видишь? Известно. Вот и скажи, крикни нашим-то, ведь рот у тебя, и глаза, и нос... Усмотрел, мол, я человека у костра, прозывается Степан Недокрытов, не вашей ли деревни он?

Степан помахал месяцу шапкой, силился улыбнуться, но улыбка вышла жалкая, плаксивая, язык заплетался, в отуманенной голове пляс и чехарда.

— Да ты ничего, понимаешь, такого не сказывай. Эй, месяц! Все, мол, честь честью... очень примечательно... Любви Офросимовне скажи, хозяйке моей... Сидит, мол, твой супруг, Степан Недокрытов, у костра, жив, здоров, и таковы ли радостные думы у него во всех мозгах... очень даже радостно у него на кипучем сердечушке... Так все чередом, брат, и обскажи... Могилкам тоже посвети, батюшке с матушкой. Пускай не дожидаются гостя во сыру землю, пускай одни полеживают... вот, вот... А ты зубы-то не скаль, знай слушай!

Степан огляделся кругом и зябко повел плечами: ему почудилось — живая тень бродит меж деревьев, прячется. Не медведь ли стервятник? Пусть, Степан не струсит. А может, леший-лесовой?

— Эй! — вскочил Степан, в сердце его бурлило. — Черт! Леший! Бери душу! Продаю! Отрекаюсь! Себя не жаль, товарища жаль... Бери! Только укажи дорогу. Брось водить. Не озоруй... Бери душу! Черт, сатана с хвостом! Кажи харрю! Эй!!! — И Степан по-цыгански свистнул.

— Степан. Степан! — резкий раздался Афонин голос. — Какие слова мелешь... Окстись!

Степан покачнулся. словно проснувшись, он сразу отрезвел, пнул ногой пустую бутылку, подошел к Афоне и присел возле него на корточки.

— Тяжело чего-то стало, — тоскливо сказал он. — У души ноги ослабели, Афонюшка, не держат, в шат пошли.

В голубоватых зыбких далях посвистывало, пересмеивалось, нискливо завывало.

Афоня заохал, с боязнью перекрестился.

— Ну, как? — спросил Степан.

— Плохо. Порешился я весь.

Степан долго не мог заснуть. Месяц укатился за горы, Сохатый¹ перекинулся вправо. Степан лежал у потухшего костра, не смыкая глаз. Чертово гуканье затихло, тягучая настала тишина. Степан ворочался, приподымался, жадно затягивался трубкой, валился вновь. Он не находил себе покоя. Все внутри ныло, тосковало страшно. Хотелось схватить нож и разом покончить неодолимую тоску. Такого душевного состояния он сроду не знал. Впрочем, года три назад его мучил сгнивший зуб. Степан бросался тогда от боли на стену, брал в рот ледяную воду,— боль вдруг стихала, но через мгновение с удесyтеренной силой валила его с ног. Потом, помнит, загнул железный гвоздь, вбил его под корень зуба и вырвал наболевшую гниль вместе с куском десны. Страдание кончилось.

— Ничего не остается,— сказал сам себе Степан, и рука его крепко сжала нож.

«Не смей»,— ясно отпечаталось в самых ушах его.

Он боднул головой и стал напряженно вслушиваться. Было тихо. Над лесом тянули птицы, крылья их торопливо свистели в ночном воздухе. Отфыркивался конь.

— Матушка, матушка... Родимые мои детушки... Женушка ненаглядная,— шептал из-под шубы Афоня.

Степан различил ухом, как Афоня плачет, и настороженная рука Степана выронила жадный до крови нож.

IX

Утро было теплое, яркое, веселое. Степан встал бодрый. Отчаянье перегорело в нем и провалилось вместе с ночью в тартар. Он верил в настоящий день — будет удача; в жилах гуляет взбудораженная кровь, в небе горит солнце. Светло, тепло. День будет удачный, верный.

Степан выпил ледяной воды, взял ружье с последним зарядом дробы и, посматривая на сверкавшие снега перевала, уверенно зашагал сквозь лес. Он сейчас принесет козленка, либо зайца, либо большую птицу.

Последний выстрел будет смертелен.

Чтоб не заблудиться, он делает на деревьях затесы топором. Вот только мучает голод, подтянуло живот. Ничего, сейчас. Горячее варево, парное мясо. А пока он обламывает молодые нежные верхушки у приземистых елок, очищает их и с аппетитом ест.

¹ Сохатый — Большая Медведица, созвездие.

Полянка, мох. Степан бросил взгляд в можжевеловый, облитый солнцем куст и замер. Под кустом кормилась крупная тетеря с цыпленком. Сердце заработало безостановочно, буйно. В глазах замелькали мухи, по пищеводу прокатилась судорожная волна, рот наполнился слюною.

«Афоня, Афонюшка, голубчик». И, припав к земле, Степан, как ящер, стал красться к добыче. Тетеря совсем близко. От нее наносит ветерком вкусный дух. Так, так. Сейчас зажарят и съедят.

Хрустнул под коленкой сук, тетеря сорвалась, заклохтала и, описав круг, вновь села к тетеревенку. Сзади чуфыркнул тетерев-черныш, тетеря чуть растопырила крылья и завертела головой. Степан, вновь вминаясь в мох и не дыша, ползет все ближе, ближе. Осталось шагов десять... Пора.

Цыпленку захотелось поразмяться: он вытянул одну ногу, потом другую и весь встряхнулся, как молодой щенок. Тетеря позвала его: «Клу, клу», — и клюнула ветку с кровавыми ягодами.

В Степане ожил голодный хищник, но от волнения, от бессонной ночи руки тряслись, и направленное в тетерю ружье ходило, как солома в ветер. С пихты, под которой притаился Степан, вдруг посыпалась хвоя: над самой головой его предупреждающе крикнул подлетевший тетерев. Тетеря тотчас отозвалась и приготовилась сорваться.

«А ну!»

Степан спустил курок и вместе с грохотом кинулся вперед. Тетеря снялась с места и полетела низом, в чащу, маня за собой тетеревенка. Тот с испуганным гвалтом носился меж кустов, удирая от настигавшего его врага.

«Врешь, не уйдешь!.. Стегнуло!»

Степан пал на него, он выскочил, понесся, Степан за ним.

«Ага! Папороток перешиблен!.. Папороток!»

Тетеребенок взлетел на сук, отдышался и, перепархивая с дерева на дерево, улетел на зов матери.

Степан, сжав кулаки, долго смотрел им вслед. Рот его был полуоткрыт. Потом свирепыми прыжками бросился к ружью, сгреб его в обе руки и, рыча, со всех сил стал бить им о дерево. Ложе — вдребезги, ствол изогнулся в колесо. Он отшвырнул изувеченную сталь и привалился плечом к сосне. Закрыв ладонями свое крупное бородатое лицо, ссутулил широкую спину, съежился и стал жалок видом. Крепкий, своевольный мужик не мог сдержать малодушного язвительного стога. Чтоб заглушить его, Степан до боли стиснул зубы, тогда из ноздрей вырвалось звериное мычанье. Степан хрипел, плевался. И вдруг сразу захотелось

выкричать все, что накопилось внутри за сорокалетнюю жизнь его.

Тут представилась вся его каторжная участь, с малых лет и до последнего месяца, вся русская мужичья жизнь. Безземелье, голод, нищета. А кругом: болезни, смерть, тяжкий, черный труд впустую, из-за корки хлеба. И единая радость — царев кабак. И единая радость — на шею петля. Для чего ж родился, для чего он жил, слепой и темный? Ведь вот другие люди, в городах, — те все знают, им многое дано, вся мудрость жизни у них как на ладони.

«А мы кто? Ни зверье, ни люди... Эх! Скотинка, тварь...»

И лишь одна особая мысль кружилась над сердцем Степана. Издали, намеками, она хотела ему открыться — и не открывалась, не могла: так ласточка среди бушующего океана безнадежно ищет, куда присесть.

«Жалеючи шел. Для миру старался. Мужиков жалел...» — скользнуло было в сознании и пропало. Самое главное, огромное. И не осенило большим светом, и не оправдало: слишком темна была ночь в душе.

И вновь на маленькое, ничтожное, внутрь себя, внутрь своей личной жизни: тетеря, потерянная коробка с пистонами и порохом, неудачи.

Ноги его подгибались, плечо скользило по древесному стволу, он присел к самым корням и, стиснув голову руками, выл. Вой был темный, страшный, необузданный: все человеческое, все вечное тонуло в нем, оставалась одна земля, один допотопный зверь.

Потом быстро встал, вздохнул, отмахнулся рукой — разом все свалилось с крутых плеч — и твердым шагом пошел к костру. Был в душе холод, мрак, яркая ненависть к самому себе. Будь что будет, но он расквитается с собой. Он отрубит свою проклятую, предавшую его руку, он выткнет себе оба глаза. Он... О, погоди, погоди!

Аффоня лежал с открытыми глазами.

— Что, милячок, каков? — спросил Степан ласково.

— Нemoжется мне.

— Ничего, как-нибудь. Недалечко теперь. Да и солнышко...

— Степанушка, мне плохо.

Губы Аффоня белы, лицо желтое, скуластое, щеки ввалились.

— Ничего, как-нибудь, — утешал его Степан, свернул шубы в торока и навьючил лошадь. — Пойдем.

— Не выдюжить мне... Я бы тут подождал тебя.

— Пойдем!

Аффоня повиновался. Степан взял его под руку, Аффоня поша-

тивался, охал. Степан ощущал через свою рубаху, как от тела друга пышет жаром.

— Как же мы с тобой в снегах-то поплетемся? Афоня, друг...

— Не знаю. Заслабел я шибко.

— А там, за хребтом,— кисельные берега, радуги, петухи индейские, калачи крупичатые на берегах...

Степан говорил, как сказку сказывал, улыбаясь, заглядывая в его глаза. Афоня не говорил ни слова. Степан недоумевал: почему Афоня не спросит — где ружье?

Вот луга кончились, пошел крутой подъем, усеянный обломками скал и крупными откатными камнями. Начинался взъем хребта. Афоня едва переставлял ноги. Степан выбивался из последних сил, в глазах от голода темнело, голова кружилась, позванивало в ушах.

По пути в полугоре одинокая приземистая сосна. Она словно вышла из лесу прогуляться, да тут и расселась лениво: крут подъем. Афоня со стонами повалился в ее тень.

— Не пойду... Хоть зарежь...— и заплакал.

Солнце палило. С хребта струились по склонам ручейки — дозорные вечных снегов. Над разогревшимися камнями дрожал, переливался воздух. Под ногами Степана прощмыгнула зеленая ящерица. На соседний камень вскочила маленькая зверушка и посвистывала. Ей откликались другие свистунки.

Вверху, под бледно-голубым небом, кружился орел. Он видел холодные снега, тайгу, край неба, еще видел за хребтами — вот тут и есть, рукой подать — жилища людей, табуны, зеленое приволье. А вот и эти две серые, припавшие к земле козявки... живы! Раскидистым винтом, плавно орел спускался, орлиный клекот слетел к земле. Свистунчики стремглав, вниз головой, — за камни.

— Орел,— сказал Степан, подымая к небу взгляд.

Афоня молча лежал с открытыми мокрыми глазами.

— Как же быть, Афонюшка? Надо идти.

— Силушка кончилась. Нету силушки.

— Ты сам посуди, милячок: назад идти — об одном коне, без корму, ближний ли свет? И помыслить страшно. Нежить кругом, безлюдье.

— Ку-у-да тут,— уныло протянул Афоня.

— А тут, может, два шага — и жительство. Сказывал крестьянин, снега не широко лежат. Авось как ни то... А может, и повстречается человек какой, как знать?

— Может, и повстречается.

Степан говорил ровным голосом, улыбался через силу: хорошо он знал, что снеговой путь — убойный и человека встретить —

не придется. Степан понимал, что с полумертвым другом далеко не уйдешь, что их жизнь оборвется скоро. Но не лечь же под сосну, вот тут, да скрестить на груди руки, ждать конца. Нет, Степан со смертью еще поспорит.

И вдруг:

«Убить коня».

Лицо его сразу прояснилось, глаза загорелись. Вот оно! Отъедятся, отдохнут, а там разыщут путь: с сытым брюхом куда угодно: вперед, назад.

— Посади ты меня на лошадь, — скрипуче заохал Афоня, — может, усижу.

— Дело, — согласился Степан, и мечта его камнем в омут.

«Нет, действительно не гоже... Назад без коня — голод замучит, вперед пешком — прямая смерть в снегах».

Едва хватило сил посадить в седло безжизненного Афоню. Степан задохнулся от натуги, присел на камень, обливаясь холодным потом. Мучил голод, ни на что бы не смотрел. Заморенный в тайге конь тоже обессилел: велик ли груз — высохший Афоня, а коню в тягость.

Подъем делался все круче, израненные ноги лошади отказывались служить. Пойдет, пойдет да станет... Степан понукает — стоит, дерет — стоит, только глазами говорит Степану: «Пожалей».

— Зарезать падину, съесть! — кричит Степан...

— Да я лучше на осине удавлюсь... Что я, турка, что ли? Тьфу!

Согнувшись в три погибели, обхватив лошадь за шею, Афоня был как мертвый, голова моталась.

— Привяжи! Свалюсь я... Ой, смерть... — как сквозь сон, тянул Афоня.

Становилось холодно, из балки, по которой подвигались, несло зимой.

Измученное тело Степана тоже требовало покоя, но, пока солнце высоко, надо залезть на хребты: авось сверху что-нибудь и досмотрит глаз. Авось...

Х

Вот и снега. Белый, ослепительно сияющий погост. Степан щурится, едва перенося резкий свет, у Афоня глаза прикрыты тряпкой. Вначале, по северному склону, плотный наст снега вздымал коня, но лишь перешли на солнце, конь сразу увяз по брюхо. Больших трудов стоило освободить его. Степан стал искать твердого места, но и сам провалился: снег раздразг от солнца. На Степана напало равнодушие и желание все это ра-

зом кончить. Ему припомнилось предостережение мужика — не сворачивать с тропы: путь опасен, в ледниках встречаются огромные трещины, обманно перекрытые снегом: шагнешь — могила. Уж если сбились, надо друг с другом связаться веревкой, идти гуськом. Где она, тропа? Где веревка? Скорей бы провалиться.

А солнце снижалось, может быть, ночью станет твердый наст, но разве можно дожидаться ночи? Куда во тьме пойдешь, как заночуешь без огня?

Афоня совсем стал плох. Он стонал, хныкал, валился с лошади.

— Погубитель, погубитель... Что ты со мной делаешь? Куда завел? — бессвязно шептал он и, сорвав с глаз повязку, позвал шагавшего рядом Степана. — Степанушка, где ты? Не давай ему, не давай...

Степан шел, увязая вместе с лошадыю, безжалостно хлестал ее по глазам плетью и не откликался. Лошадь вдруг ухнула передними ногами, с маху ударившись мордой о камень. Из рассеченной губы лилась кровь, лошадь вылизнула два выбитых зуба. Степан изозлился, истегал ее. Выдираясь из густо рассеянных, прикрытых снегом камней, она оборвала себе все копыта, щурила поврежденный плетью глаз, поджимала больные ноги. Степан плюнул, бросил плетку, сел. В душе пустота: ни одного желания, ни одной мысли. Лицо его вспыхивало и бледнело, белки глаз покрывались желтым налетом. Он перестал себя чувствовать, обратился в пень: дерево срублено, пень будет торчать серой кочкой, пока метель не навеет над ним сугроб.

Афоня сполз с лошади и, скрючившись, валялся возле, прямо на снегу.

Вечерело. Лучи солнца косо ударяли в снег. Все заалело кругом. От грудастых сугробов и неровностей по алому полю лежались голубые тени, алмазы горели в снегу огоньками. Разливался зимний холод. Лошадь дрожала, от нее клубился пар. А позади, внизу, было лето, зеленела тайга, шумели травы.

— Мороз на дворе, зима... На печку бы...

Это Афоню мучила хворь, он бредил. Рука его самовольно поддевала снег, прикладывала к горячему лбу.

— Степан, — тихо позвал он, очнувшись. — Поди ко мне...

Степан взглянул на солнце.

— Ого! Фу ты, черт... Вечер! — и подошел к Афоне.

Афоня дрожал, глаза были возбужденные, большие, в темных кругах.

— Вот и отходили мы с тобой, Степанушка. Беловодью конец. Умираю. Трудно. Дух сперло.

«Баба...— подумал Степан.— Из-за тебя гибну»,— и колючим взглядом в Афоню, как стрелой. Потом сказал, кривя губы:

— А ты верь. Что же ты хнычешь?

— Верю.

— Верь, верь. Авось бог валенки тебе пришлет, ангелы в баню поведут: парься! Эх, дура!

Молчание. Потом тусклый, рыхлый, как вата, голос:

— Смерть так смерть... Когда-нибудь надо же... За мир старались.

Трудно. Больной замолк, глаза закрылись, дышал тяжело, прерывисто.

Степан стоял в одеревенении.

— Жене моей кланяйся, батюшке кланяйся...— Афоня замотал головой.

— Отец твой давно померши. И жена также.

— Все равно кланяйся.

Степана что-то ударило в сердце.

— Скажи им, скажи...

Тут полились у Афона слезы, и лицо его исказилось.

Степан сказал:

— Пойдем.

— Закрой шубой, перекрести... Ступай.

— Пойдешь или нет?

Афоня молчал. Алые снега и небо вслушивались в человеческую речь, но были спокойны, холодны.

— Коня бросим. Я тебя поведу, пойдем. Я тебя, Афоня, на закукрах. Слышишь? Солнце закатится. Слышишь?!

Афоня заметался:

— Домой, домой! Я вперед тебя... Ковер какой — жар-птица... А ты верь, Петрованушка. Петрович... Ваня...

Степан снял с себя полушубок и сел перед умирающим на корточки. От Афона шел жар, дыханье вылетало хриплое, горячее. Степан укрыл товарища своим полушубком, огляделся вправо, влево и в одной рубахе неторопливо пошел вперед.

Идти было недалеко: громадная трещина саженной ширины пресекла путь. Она удалялась от Степана в обе стороны, и не видно ей конца-краю. Снег тут сдуло, обнажился темный лед. Острые, словно обсеченные, грани льда отвесно спускались в бездну, они отливали зеленоватым цветом, как бутылочное стекло.

Степан боялся подойти к обрыву: скользко. Он стал ползти. Заглянул в провалище. Бездонная тьма. Сделал руки козырьком, смотрел вниз пристально, долго. Тьма. Стало жутко. Вздрыгнул и — ползком назад. Руки заоченели. Всего облепило холо-

дом, сжало, заморозило. Степан взмахнул несколько раз руками, подпрыгивая и стараясь ударить себя по спине, чтобы согреться. Из груди мужика помимо его воли рванулся какой-то лающий, скулящий крик. Еще и еще. Зубы стучали. Степану ясно: это он скулит, его замерзающее тело мечется, требует: спаси, спаси. Вдруг как-то все ожило, все, что было позади, все вспомнилось. Назад бы, в жизнь бы! Глаза Степана расширились: «Помоги-и-те!» И другая, в левое ухо, кровь огнем кричит: «Так тебе, черту, так... Торчмя башкой... Ну!»

— Помоги-и-те!!

Резкий, отчаянный голос упал тут же, в поги, и подхлестнул и взвил душу. Напряг Степан всю силу, какая еще оставалась в нем, какая была в этих алых сугробах, в морозе, в полумгле. Он решительно повернул назад и на бегу, не чувствуя пути, твердил одно и то же:

— Сам сдохну, а тебя, Афоня, выручу... Выручу, выручу, выручу...

Подбежав, он выхватил нож и полоснул в горло дремавшую лошадь. Рухнула, задрыгала ногами и, вывалив язык, грызла снег. Перерезанное горло ее хрипело, хлестала кровь в подставленные ковшом пляшущие пригоршни Степана. Жадно глотал кровь, захлебываясь и урча. И все закровенилось: лицо, борода, рубаха. Глаза пьянели, разжигались. В них быстро нарастала буйная, звериная мощь.

Степан перевел дыхание: «Сыт».

Афоня лежал под двумя шубами недвижимо.

— Афонюшка, товарищ... Повремени чуть-чуть, запри дух... Выручу, не умирай.

Осторожно стащил с него свой полшубок, оделся, плюнул в пригоршню теплой кровью, ударил ладонь в ладонь:

— Айда! Рrrrrработай!

И, не оглядываясь, только борода тряслась, ударился бежать вперед. Он знает: вот и край перевала. Увидит впризу: дым, огонь, жилище. Он будет звать на помощь, он скатится с кручи к жителям. «Братцы, спасайте человека! Человек замерзает, Афоня... Братцы!..» И чувствует, как коченеет, замерзает сам. Руки совсем зашлись, грудь едва дышит от усталости. Опять та проклятая щель. Как попасть? Волку не перепрыгнуть, широка... Дьявол!

И видит: там, за провалищем, на посеревшем небе, четко маячит всадник.

— Эй!.. — не веря глазам своим, радостно закричал Степан. Но всадник не остановился.

— Эй! Стой! Стой!

Откуда-то пронесся ветер, взметнул снега, готовил к ночи вьюгу. Степан бросился вдоль бесконечной черной щели, отыскивал узкое место, чтоб перескочить.

— Стой!.. Стой!.. Стой!..

Ветер еще раз ударил вихрем, и не понять: сюда идет или удаляется всадник. Уходит. Ага! Вот, кажется, здесь поуже. Надо перескочить... Уйдет, уйдет...

Вся кровь ударила разом в голову, огонь метнул в глазах: «Спасай». Вложил пальцы в рот, свистнул оглушительно: «Сто-о-ой!!» — перекрестился.

— Эх, пропадай, душа... — и взвился над провалищем.

Страшный, смертный крик пронесся к всаднику. Всадник враз остановил коня.

XI

Сугробы алели.

Афоня подходил к нездешней, райской земле. Он шел по облакам, по тучам.

Настухи попадались, гнали овец, шерсть на овцах серебряная. «Куда?» — «Туда». А тут медведь с исправником в орлянку бьются. «Поддайся, мишка, я исправник». И Афоня: «Поддайся». Глядит: медведь знакомый, — в третьем годе валенки ему, Афоне, подшил. «Маши крыльями, маши!» — кричит орел. «А скоро?» — «Бог даст, к вечеру».

Поля, поля... Будто все выжжено. Саранчи много на нивы пало, надлетают, ударяют Афонию в лоб. Афониин лоб звенит, как колокол: ба-а-ам. Мир поет: «Радуйся, Афоня, великий чудотворец!» — «А я ведь земли-то, братцы, не нашел... Сугроб нашел». Тут его схватили, начали трясти, бить, ругать. «Пустите! Эй, посторонитесь!» — взрывкал медведь.

В это время стало так темно, так одиноко. Кой-где, кой-где огоньки.

XII

— Нишяво, нишяво, лежи...

Было тепло и чисто. На столе шумел самовар, горы белых лепешек с творогом, кринки, мед. Против Афони, свернув ноги на лачиком, сидел на полу татарин в тюбетейке, ласково смотрел на него.

— Помогать надо друг дружке, жалеть надо.

— А где товарищ мой, Степан?

— Какой товарищ? Нету товарищ.

Едва шевеля языком, Афоня объяснил.

— Яман дело... Совсем наплевать... Уж десять дней притащил тебя... Давно... Нишяво, нишяво, лежи. Мой пойдет искать. Соседа забирал, шабра, с ним пойдем. Яман дело.

— Он за меня душу положил, Степан-то мой,— проникновенно, горестно сказал Афоня.— Сам загинул, а я живой... Собака я.— Он прикрыл глаза ладонью и всхлипнул.

— Который за людей сдохла, эвот-эвот какой большой, шибко якши,— дружески сплюнул татарин.— Шибко хорош, ой, какой хорош!..

— Из-за меня он... Собака я...— замотал головой Афоня.— Сидеть бы мне, собаке, дома.

Татарин опять сплюнул и сказал:

— Земля шибко якши тут... А-яй, какой земля, самый хорош. Работать мало-мало можна, денга колотить можна.

Афоня слушал, то закрывая, то открывая глаза. Хотелось повалиться в ноги этому черномазому скуластому человеку, что спас ему жизнь, и плакать, плакать.

— Нишяво, ладно. Конь твой кидать надо, махан, мало-мало помрил, горлам резал. Двух коней тебе дам: все равно зверь, все равно ветер... Вот какой. На! Денга не надо... Помогать надо. Вот-вот.

Афоня увидел на окне пороховницу Степана и коробочку с пистонами... Как?! Значит, они были у него, у Афони?! А где ж ружье? Но не спросил.

Опять вспомнился Степан, вспомнился белый погост в горах. Но волна ликующей радости, все побеждая, гулко била в берега.

ТАЕЖНЫЙ ВОЛК

I

Я познакомился с ним в предгорьях Арадана, на верхнем Енисее.

Звать его Леонтий Моисеевич Бакланов. Он среднего роста, мускулистый, коренастый, ему шестьдесят два года, но седины мало. Борода большая, нечесаная, в крупных кольцах.

— Я гребень не пошу с собою: бороду мою хвоя чешет.

Его знают кругом на сотни верст. Одни уважают в нем человека справедливого, верного, искателя правды, другие, в особенности жепщины, чтут его как вещего старца, колдуна. Его зелено-голубые глаза с мудрым лесным огоньком светятся из-под густых бровей весело и лукаво. Впрочем, иногда они становятся сосредоточенны, строги, и если он в упор взглянет на человека, вдруг почему-то делается пеловко, жутковато. Он, видимо, обладает большой гипнотической силой. Говорят, ежели он положит человеку руку на плечо да поглубже уставится в глаза, — человек уснет.

Однажды, после лесной прогулки, я пил в его опрятном доме чай. Пришла женщина с ребенком, ребенок плачет, криком кричит.

— Ты выйди ненадолго, — сказал мне старик Бакланов. — Надо ребенчишка попользовать.

Вскоре действительно ребенок затих, мать ушла радостная.

Бакланов, смущенный, с беспокойным взглядом, какой-то весь взвинченный изнутри, опять присаживаясь за восьмой стакан чаю, сказал мне:

— И сам не пойму, что это делается со мной. Вот придет баба. И воды в миску нальешь, и чертовщину всякую плетешь над водой, вроде — наговариваешь для виду. Ведь сам не веришь, а на ребят действует... На человека.

Во время чаепития пришел его сын Степан, парень лет шестнадцати, такой же краснощекий крепыш, как и отец. Он молча повесил ружье, поздоровался со мною и сел к столу. Его мать, моложавая, с красивыми крупными глазами, придвинула ему кринку с молоком.

— Убил чего-нибудь?— спросил Бакланов сына.

— Нет, папаша. Ходил-ходил — нету ничего. Глухаря, тетерева видал.

— Дак что же,— проговорил Бакланов.— Ты бы показал ему, как надо падать.

При этом старик взглянул на меня, как бы ожидая одобрения за картинно сказанную фразу.

Я прожил у таежного отшельника пять дней. Не раз хаживал с ним на охоту. Бакланов всегда с топором сбоку, в особых скобках, у ремня, и с ружьем. Если нужно сходить в амбар или в сеновал на гумне, всегда берет с собой ружье.

— Без ружья цельзя,— говорит он.— Наше дело лесное, таежное. Как-то посылаю я сына Степку на ключик за водой, а он мне: «Да сходи, папаша, сам». Вот пошел я без ружья и только стал к воде спускаться, глядь — с той стороны ключа, в кустах, сохатый воду пьет, смотрит на меня. Потом как взвьется — марш! — только земля заохала. Обидно стало. Пришел домой, стукнул Степку чайником по башке. С тех пор за лучиной иду — ружье беру.

И вот собираемся мы с ним в тайгу. Едем на лошадях верхами. Конь его Бурка — нечесаная грива чуть не до земли, сам круторебрый, пузатенький такой, и ноги неуклюжие, но копыта, как кремь: Бакланов никогда не подковывает своего коня, а горные пути Бурки зачастую сплошной камень.

Своей сноровкой, сметливостью и повадками Бурка не менее замечателен, чем и сам Бакланов. Во-первых, удивительная его привязанность к хозяину. Где не проехать конем, хозяин слезает, пригибается и пролезает меж стволами под гущей хвоя, а конь пробирается за ним, идет след в след, как умная собака.

Медведя Бурка не боится: учует звериный дух, запрядет ушами, всхрапнет и морду повернет в ту сторону. Хозяин к медведю — и конь за ним. На бегу конь боек. Бакланов относится к коню по-дружески, почтительно, любовно, даже больше того — как к равному себе. Значительную долю своих охотничьих удач он приписывает Бурке, и, рассказывая о каком-нибудь таежном эпизоде, Бакланов всегда говорит: «мы» и «мы с Буркой». Или так:

— Не укараулим зверя — так выследим, не выследим — так догоним.

Бурка знает тайгу великолепно, зрительная память у него на диво. Едем с Баклановым таежной тропой.

— Эту тропку я называю — Козлиный прощект: козлы ходят тут на водопой.

Вдруг Бурка сворачивает, идет напролом в тайгу. Моя лоша- денка послушно за ним.

— Что такое? — спрашиваю я.

— Сам не знаю. Погляжу, — отвечает Бакланов.

И вскоре, едва выбрались на прогалинку, Бакланов радостно кричит с коня:

— Батюшки-светы! Да ведь мы с Буркой в третьем годе пя- теро суток на этом самом месте прожили. Вот и шалаш, и голов- ни, и щепки.

Мы вновь сворачиваем на тропу и вскоре спускаемся к пото- кам шумной каменистой речки.

Блистал солнечный знойный день, в глухой тайге стояла духота, но здесь, в речной долине, была прохлада: резвясь, сквоз- ные шалили ветерки. И назойливых комаров как не бывало.

— Стой, Леонтий Моисеич! — крикнул я и соскочил со своей лошаденки.

Среди окатных камней горел под солнцем ослепительно белый камень — кварц с золотыми блестками.

— Не золото ли? — сказал я и стал вкрапленные в кварц бле- стки выковыривать ножом.

Бакланов, не слезая с Бурки, глядел на мою работу сверху вниз. И я услышал укорчивый его голос:

— Брось. Не за тем, дружок, в тайгу идем. Зверя промыслять идем. Пусть за золотом другие люди ходят.

Эти слова его показались мне вескими, мудрыми, и, подчиня- ясь ему, я подумал: «Видимо, у Бакланова все предусмотрено, каждый шаг рассчитан, и жизнь свою он разыгрывает как по но- там, не сворачивая в сторону от раз намеченного пути».

Но в дальнейшей дороге, когда я высказал Бакланову свои мысли, он сразу же меня разбил:

— Какие такие планы могут в лесной жизни быть у чело- века? Как вступить, да как шагнуть, да где ночевать будешь. Нет, дружок. Вот мы мекаем с тобой рассестся да чайку всласть попить, а взовьется ураган да хлобыстнет на нас дерево стоя- чее, тут и гроб нам. Нет, дружок, тайга все планы человечья мо- жет перепутать, с толку сбить. Идешь в тайгу — помалкивай в тряпочку; только звериный нюх имей да сам зверем притворись, забудь, что ты есть человек, а зверь и зверь, только по-лесному умный, в сто разов умнее человека.

И, повернувшись ко мне, по-крепкому добавил:

— Только таежную правду надо помнить, она превыше всех небес.

Он видел во мне человека хотя и хорошего, но городского, для таежной жизни никудышного, несмекалистого, темного и, пожалуй, глуповатого. Над таким чудаком не грех и подшутить и даже слегка поиздеваться: ничего-то он не знает, ничего не подмечает, ни во что не верит, ни в таежные приметы, ни в леших, может заблудиться в трех соснах, может ни за нюх табаку погибнуть. Да разве это человек?!

Однако ироническое отношение ко мне сквозило лишь в его зелено-голубых глазах да в едва уловимых нотках голоса. Когда я нес какую-нибудь, по его понятиям, очередную околесицу, он только крикал или тихо посмеивался в бороду и презрительно крутил носом.

Впрочем, искоса взглянув на меня и улыбнувшись, однажды он сказал:

— Это очень хорошо, что у тебя шляпа белая и новая: пусть медведи да олени подивуются на настоящего питерского франта.

Я не мог в данной фразе подметить желание обидеть меня, поиздеваться, нет. Это была просто приятельская шутка.

Иногда он любил поразить мое воображение своей дьявольской таежной наблюдательностью. Например, едем высокой, выше коня, травой. Он всматривается в траву, говорит:

— Гляди, недавно медведь прошел. Нет,— вглядываясь пристальней, поправляет он себя.— Нет, не медведь, а кони шли некованные и люди.

— Почему?

— А разве не видишь? Как раз вровень с лошадиной мордой трава кой-где общипана, лошади на ходу срывали.— Он осмотрелся по сторонам и, указывая вправо, сказал:— Значит, вот на том пригорке они делали привал: больше нигде — кругом болото. Вот и мы там каши сварим.

Действительно: пригорок, полянка, потухший костер.

— Человек пятнадцать было в артели,— говорит Бакланов.

— Почему?

— А разве не видишь?— И он, играя глазами, вопросительно смотрит на меня, как на простофилю.

Я со всех сил стараюсь разгадать секрет, насколько возможно проникательно ощупываю смущенным взором головни, пепел, землю, небо, облака и никак не могу постигнуть тайны следопыта.

Бакланов, попыхивая носогрежкой, берет меня за рукав и начинает поучать, как тупого школьника:

— Гляди... Четыре дырки вокруг костра, значит четыре пал-

ки — тагана — были воткнуты в эти дырки, на каждом тагане по чайнику висело, каждый чайник на троих, на четверых, вот тебе четыре раза по четыре — сколько?

Я быстро сделал удовлетворившую его арифметическую выкладку и, краснея, спросил:

— Когда же они были? Сегодня, наверно?

— Ха-ха... Вот так угадал! — Бакланов разгреб сапогом пепел, пощупал землю. — Три дня назад, вот когда.

— Тоже скажешь, — засмеялся и я. — Подумаешь, какая точность. Может — пять дней, может — четыре... Может — месяц.

— Нет, в точности три дня. Земля под костром холодная, значит — не сегодня. И не вчера, потому что на углях седой налет сдуло. А три дня назад шел дождь. Если бы до дождя чаевали здесь, пепел смыло бы, — значит — после дождя. Понял?

II

Однажды я приехал к Бакланову ранней весной. Отправились в тайгу. Еще кругом снег лежал, лишь на оплешинах и взлобках бурела прошлогодняя трава.

Нашу охоту прервала жестокая метель. Мы залезли в палатку, а лошадей пустили в тайгу на волю.

Прошло добрых часа два, метель не унималась. Бакланову наскучило безделье, он взял ружье и вылез из палатки.

— Жди. Я лошадей погляжу.

Да и пропал. Ждал-ждал я, сил не стало. «Куда, — думаю, — в такую метелицу ушел?»

Хоть не хотелось выбираться наружу, однако какое-то тревожное чувство заставило меня покинуть походную, такую уютную в непогоду, палатку. Ветер унимался. Снег сыпал густо, не спеша, большими влажными хлопьями. Было мутно кругом и тихо. Очертания тайги за поляной неясно серели, и не понять — лес это или горный кряж? Где ж, однако, Бакланов? Неужели заблудился? Часы мои показывали ровно семь. Еще немного — и ночь прикроет тайгу и небо мраком. А вдруг Бакланов не выйдет вовсе? Вдруг его задрал медведь, или сломал он себе ногу и умирает где-нибудь от нестерпимой боли и отчаяния?

И мне стало жутко. Мне ж не выбраться одному отсюда. И конечно же я должен погибнуть голодной смертью или пасть жертвой своей неопытности, поставленный лицом к лицу с неотвратимым случаем. Спускавшийся сумрак ослеплял мои глаза и мозг. Сердце мое дрожало, голова пламенела, охваченная роем малодушных предположений.

И вдруг... Сначала слышался родной такой, милый голос,

затем показался и сам Бакланов: вот он, едва видимый сквозь испещренный снежной сетью сумрак, движется на меня, желанно отделившись от загадочной опушки леса.

— Бакланов! Бакланов! — кричу я весь в радостном каком-то ослеплении.

— Ну, как? — слышу его ответный голос, бегу ему навстречу, поскользнувшись, падаю, вскакиваю... Но — Бакланов исчезает. Что же это, галлюцинация?

— Бакланов! Бакланов!! — надрываю глотку.

Но Бакланова не было и нет. Галлюцинация.

Я возвращаюсь обратно в палатку, выпиваю вина; руки мои дрожат, и тело в легком ознобе. Выхожу. И вновь вижу Бакланова, идущего емким шагом прямо на меня, и вновь это не человек, а призрак, сотканный из ничего моим взбудораженным воображением.

Когда наконец вышел из тайги настоящий, живой Бакланов, с ног до головы запорошенный снегом, и двигался на меня плывущей тенью, я тоже принял его за призрак, но все-таки окликнул:

— Бакланов, ты?

— Я самый.

— А костер погасает, чай остыл, — проговорил я спокойным голосом, стараясь скрыть недавние свои страхи.

— Костер погас — это не беда, — сказал Бакланов, отряхивая снег с себя и сдирая для огня бересту. — Костер живо запылает, а вот я сам едва не погас, вот это да!.. За оленем шел, за оленем бежал... Я бы выстрелил, да боялся: Бурку ушибешь; он возле меня все крутился и теперь за мной пришел... Эй, Сивка-Бурка!.. Один раз все-таки выстрелил, не утерпел, знал, что не попаду: темно, — а чтоб олень помнил, что я с ружьем хожу. На костер твой вышел — дымком наносило; ежели бы не костер, заночевать довелось бы в тайге. «А ведь дружище-то мой чай кипятит», — думаю, да ну шагать. Так и выбрался. Все рассчитывал, что ты гул сдогадаешься ружьем подать. Ну, ладно.

Костер вновь буйно разгорелся.

Бакланов спросил:

— Ну, а что б ты стал делать, ежели я совсем пропал бы? Как ты стал бы выбираться отсюда?

— По балке я прошел бы, — говорю я, — и по горе прошел бы, и в Тетерью-речку спустился бы, а как с речки выбраться, пожалуй, не сумел бы. Впрочем, я на Бурку твоего сел бы... А оп...

— Нет, дружок, — перебил меня Бакланов. — Мой Бурка только меня принимает да разве сына, Степку, когда бочка с водой запряжена. А вот и вода вскипела. Кроши чай.



III

Как-то в разгаре лета мы предприняли с Баклановым длительное путешествие в нагорную тайгу.

Нет ничего приятнее, как после страдного, наполненного приключениями дня вольготно расположиться у костра на отдых и, попыхивая трубкой, слушать певучую речь Бакланова.

— Годы мои длинные,— обычно начинал он,— а жизнь короткая: нечего и рассказать тебе.

На эту излишнюю его скромность я только улыбался: еще до знакомства с ним слышал я, что он рассказчик замечательный, что жизнь его богата опытом, событиями, встречами. Но надо же Бакланову немножко поломаться. Наконец он начинает изда-лека вспоминать.

Однажды, много лет назад, к его таежному жилищу подъехали верхами знатные люди: это экспедиция Академии наук. Его наняли проводником; да кого же еще и нанять, раз Бакланов знает всю округу на большие сотни верст? Недаром его зовут — таежный волк.

— Сто рублей на месяц положили,— гордо говорит Бакланов.— Сто рублей! Правда — харч мой. А какой у меня харч — табак да спички! Мой харч в тайге гуляет: стрелил — вот и харч. И был в этой самой экспедиции человек один, Залогов назывался. Хоть бы путное чего, а то вот этакенькую букашку ловил. Всякую. Смешной этот человек — Залогов, никудышный.

— Не Залогов, а зоолог, ученый,— поясняю я.

— А тут вот еще что случилось,— вспоминает Бакланов.— В экспедиции планщики ходили, планты плантовали. А главный-то — полковник. Натакались как-то его солдаты на медвежий след. «Вашескорodie,— сказали они полковнику,— разрешите облаву на зверя сделать». Узнал я про это, подумал: «Что за облава за такая может быть? Нешто порядок это: на одного беззащитного зверя двадцать мужиков с винтовками?.. Кошунство это!» Говорю набольшему: «Допусти меня, твое благородье, одного: оглянуться не успеешь — медведя тебе доставлю, двадцать пять рублей жалованья тебе в залог кладу». Через час медвежье сердце теплое притащил, говорю: «Вашскородие, попробуйте *сердешного*».

Мы с ним только что аппетитно пообедали, пьем кирпичный чай. Его Бурка и мой конь траву у дымокура щиплют: комары не любят дыма, злобным облаком толкуются в ожидании.

Мы на мягкой, покрытой зеленовато-белым мохом прогалысинке, кругом тайга. Солнечный день, и лес сегодня тих, задумчив. Я пристально взглянул на ближайшую сосну, удивился:

ствол этой сосны, от земли аршина на два, блестел на солнце огненно-красными рубинами.

— Эго комарьё,— сказал Бакланов.— Насосались лошадиной кровушки, пока ехали мы, а вот теперь от дыму и тово... Ужюко я камедь устрою,— он улыбнулся, вскочил и пошел шнырять по тайге.

Я приблизился к дереву. Как спелой брусникой, ствол унизан набухшими кровью, готовыми лопнуть комарами. Я шевельнул одного-другого комара: ни с места, не летит — пьян иль сладко дремлет.

— Ужо, ужо,— подошел Бакланов и посадил в комариное алое стадо двух головастых муравьев.

Те осмотрелись, подбежали к соседним комарам, тщательно ощупали вздувшиеся их брюшки, деловито ознакомились с топографией населенного поживой места, произвели приблизительный учет скоту, сбегались вместе — лоб в лоб, посоветовались усиками и пустились вниз головами в бег к земле.

— Сейчас начнется,— сказал Бакланов, щуря на солнце свои веселые глаза.

Через четверть часа к комариному стаду пробирались организованные отряды муравьев. Немедленно началась горячая работа. Муравьи попарно подползали к пьяной комариной туше, ловко подхватывали ее передними лапками и клали на загорбок третьего муравья. Тот, пыхтя и придерживая комара за лапки, пер его, как пьяного мужика в участок. Упарившись — это уже на земле,— муравей сбрасывал с себя кровопийцу и, покачиваясь, стоял на месте. Двое других муравьев клали ношу на загорбок третьему, свежему своему товарищу и — дальше. Вскоре сосна была чиста.

— Доброе дело сделали,— заметил Бакланов,— подлый гнус умной скогинке дали — муравью. А раз добро с тобой мы оказались, значит и нам добро будет: козулю ухлопаем, а нет — марала. Ты что, не веришь в это самое? Напрасно, мил человек, напрасно! — Он снял шляпу, положил широкую ладонь на мое плечо и, обдав меня ясным взором мудрых таежных глаз, сказал внушительно: — Человеку ли, зверю ли, ничтожной твари ли какой — все единственно — сделаешь добро, тебе так же будет. А зло — и тебе злом обернется. Запомни, милый друг. На этом вся видимая жизнь стоит. Если б принял человек в свое сердце эту заповедь хорошую да по поступкам поступал, тогда рай на землю снизошел бы. В это я крепко верю. Я в размышлы люблю башкой уйти: время здесь в тихости плывет, не торопясь, не то что в городах больших: думай себе на свободе, прикидывай так и так, умствуй. Начальник экспедиции, бывало, говаривал: в книге муд-

рость; а я говорю: в природе мудрость. Только не вдруг ее, природу-то, поймешь. И пытаться природу надо благословясь, да с толком, а то в дураках оставит тебя природа, в такую душевную пропасть заведет, как липку тебя обворует, всю душу разденет догола, в глаза тебе насмеется, плюнет. Щенком заскулишь тогда, удавки себе попросишь, какого ни на есть конца. А ты верь, милый человек, верь в добро, тогда и благо тебе будет. Верь!

Как любимого сына своего, шершавой, мозолистой ладонью он гладил меня по голове. И свет из-под нависших его бровей пронизывал меня, взвешивал, пытал, дорого ль я стою. И показалось мне, что передо мной не человек, а одухотворенная скала, древняя и мудрая, и что не человеческий детский взор, а лучи древнейшего от века солнца окутывают меня таинственной и нежной лаской, как любимого сына своего.

— Например, послушай, парень, как я одну зверюгу пожалел, джайрана¹. Такой случай со мною на Кавказе был.

— Как же ты, Леонтий Моисеич, попал туда, на Кавказ-то?

— Долго сказывать... А впрочем... Отдал меня батька, донской казак, по обещанью в монахи, в Старый Афон, место свято. Однако, как подрос там, бежал оттуда, через Турцию в Персию пробрался, из Персии на Кавказ. На Кавказе с горцами в дружбу вошел, охотой промышлял с ними. На двадцать шестом году оженился, а как стукнуло двадцать шесть, сказал жене: «Пойдем в Сибирь-землю, слушать, как тайга шумит, усматривать, как дикий зверь рыщет». И перебрались мы сюда, к великой Енисей-реке. Вот и все житье мое. Теперь слушай. Охочусь это я на Кавказе, иду карнизом по высоченной горе. И такая тропочка случилась, в аршин шириной: слева — стена в небо, справа — пропасть. Гляжу — встречу мне джайран осторожненько бежит. Остановились оба; он на меня взирает со страхом, я — на него. А разминуться нам никак нельзя — узко. Обрато ему тоже никак нельзя: собака настигала, влаивала где-то под горой. Хотел я застрелить его либо в пропасть спихнуть. А он возьми и взолись ко мне глазами: «Дядя, уступи дорожку, не убивай, спаси меня!» И повернула меня какая-то сила назад. «Иди, — говорю, — дурачок, иди!» Выбрался я обратно на широкое местечко, гляжу — и джайран мимо меня стрелой стегнул да в лес. Вскорости собака промчалась, за ней — охотник верховой. Радостно мне стало: спас животную. А день жаркий: над камнем воздух колыхался, камень теплом дышал. Разомлел я, прикорнул возле тропки под чинарой в тень. Закрыв глаза, сон на меня напыхом пошел. И как теперь слышу — где-то внизу струи говорили. Лежу, ду-

¹ Д ж а й р а н — козуля.

маю: «Вот хорошо, доброе дело сделал. Пусть живет джайран, и пусть живет Бакланов. Хорошо, шибко хорошо!» А сон уже, чую, навалился на меня совсем, могильной пеленой закрыл. И вижу мертвым глазом — тропинкой мышь, словно комочек, катится. И слышу мертвым ухом — звенькнуло что-то на каменной тропе. «Эге! — вынырнул я из сна, как поплавок. — Эге! А ведь этот самый мыш какую-нибудь серебрушку обронил». Я знал, что мыш серебрушка дорога, все к себе в норку тянет. Стал я ползать по тропе, искать-искать: не наших времен денежка серебряная. Давай я норку мыша отыскивать. Норку не нашел, а еще четыре денежки нашел. Ну, думаю: «Клад поблизости». На другой день привел двух товарищей своих. И верно: на пещеру натолкнулись, разворотили камни, а там два гроба из плитняку. В одном гробу великан лежит, кости одни, и через весь гроб — меч громадный. В другом гробу — женщина-покойница в парче: два браслета золотых, серьги, кольца, разные висюлечки, на лбу обруч, все золотое, в камнях дорогих. И черная коса, длинная, густая. По такой косе — писаная красавица должна быть эта женщина, княгиня либо кто. Взять мы ничего не взяли — кому продашь? — сразу влопаешься, — а заявили в городе ученым людям. В награду нам дали триста рублей...

И в ту же ночь, как получил я деньги, сама княгиня явилась мне во сне. Будто сидит княгиня возле меня на камушке во всех нарядах пребольших и моего мыша на ладошке держит. Мыш встал на дыбочки, свистнул, джайран явился, тот самый, мой. А княгиня будто вся голубая сделалась: и улыбка ее голубая, и голос голубой. И все заголубело вдруг: мыш, джайран, княгиня, вся земля, все небо, и сам я голубой. И уж ничего не разобрать: все мчится, крутится, словно вихрь-метель. И через голубую выюгу чую голубые короткие слова княгини черноокой: «Смерть, джайран, мыш, я, золото, жизнь. Купи коня, бери жену, иди за Урал, в жизнь. За благо — благо». И вот все голубое сложило крылья, чезнуло, как чезнет туман от бури, все сгнуло, нет ничего: ни неба, ни земли, и меня нет. Чисто.

Долго-долго я после размышлял над этим, и по сей день случай тот с ума нейдет. Так и сяк мекаю, ищу ключ от двери потайной, от сна. Смерть, жизнь, мыш, джайран, княгиня, я, золото, земля и небо — словом, все, — не едины ли мы в видимостях разных? Так полагаю темным розмыслом своим — едины. Ну, почему ж мы все заголубели, заструились, как пар, как дым? Так полагаю коротким розмыслом своим — вся видимость из единого месива сляпана. И месиво то — воздушная пустыня. И всё, весь мир голубой — воздушная пустыня, дух. Только нам по-настоящему смотреть не дадено. Да и слава те, Христу! Ежели б могли

мы по-настоящему на богов мир взглянуть, вчистую, без обмана,— с ума бы спятили, сдохли бы, как льдинка на огне. И выходит, что все умственно подведено. И выходит — нечем и незачем гордиться человеку. Человеку, цветку, букашке, камню — по-мо-ему, одна цена. Бесценная, великая цена.

Как всякий зверолов, как всякий бродяга или странник, Бакланов — поэт в душе. Но поэзия его не от Старого Афона: она дочь азиатских просторов, гор, тайги. Сидя у костра или попыхи-вая неугасимой трубкой где-нибудь на обрыве, откуда открывается дикая картина угрюмых гор, он любит всласть помудрствовать. Его речь то плавна, то бурлива, как поток, но всегда звучит убедительно, красочно, певуче; может быть, уклад древнего монастыря еще с юных лет заковал его речь в грань напевных берегов, и поэт-бродяга даже в старости воздаст всему осяп-ну. Мудрость его проста и трогательна: «Люби все, люби всех. За правду умри».

Он недоверчиво относится к человеческому разуму. Он говорит:

— В башке у человека темный мясной умишко. Над башкой ум. Над умом умище. Умишком жить — носом по земле елозить, хвостом звериным к правде. Умом жить — на корячки встать, мордой человеческой к правде. Умищем жить — на ноги подняться, за сегодняшний краешек сегодняшнюю правду взять. Как это, почему? А очень просто. Людская правда — круг на оси крутится, как колесо. Идет колесо — хватай! А через сто лет другую правду схватишь; а та правда, старая, уж кривдой будет. А колесо крутится, вертится тихо-тихо, и через тыщу лет старая кривда опять в правду обернется. И поймают людишки старую правду-кривду, и снова правдой назовут ее, и за новую кривду-правду большую кровь прольют. Понял? Все на свете крутится, все на свете повторяется: из жизни смерть, из смерти жизнь. А настоящая-то, не межеумочная, не сегодняшняя правда не на колесе скользящем, а на оси пезыблемой. Только не дотянешься до той оси, ось ту солнце стережет: глазыньки от света лопнут. Значит, до всамделишной правды человеку и не дойти вовсе, не дадено человеку это.

Так мрачно заканчивает он лесную, первобытную философию свою и, чтоб развеять одолевающее меня беспокойное смятение, говорит мне:

— Ну, ладно, голубчик... Ничего... Не желаешь ли, происшествие одно расскажу тебе? Знатнецкий случай был со мной: правда на правду наскочила. Хочешь?

Я выразил согласие, и Бакланов, попивая послеобеденный кирпичный чай, начал,

— Лютая зима была. Солнце в рукавичках вставало, потрескивали от мороза деревья, скалы. Вышел я из зимовья, за плечом медвежье ружье — бердан — да малопулька — белок пострелять пошел. И только выбрался на взлобок — глядь: под угорчиком человек сидит в сугробе, голову вниз, воротничкишко кверху, сжужился, и лыжи возле.

Подошел я, гляжу — незнакомый человек; толкать-толкать его: замерз. Опрокинул покойника на бок — он так калачом и лег, застыл. Возился я над ним изрядно, покуда в чувство его привел. Дотащил до зимовья, подкрепился он спиртом да пищей горячей, уснул. На другой день жив-здоров. Как оклемался, говорит мне:

— Я,— говорит,— села Перевального житель, девяносто верст отсель. А сам я портной, тридцать три года от роду. Гарасим Яфимыч Карпов. И надо было мне в Минусинске кой-какой прикладишко купить: уряднику новый мундир я шил. В нашем селе почтарь знакомый, он каждые две недели за почтой в Минусинск на лыжах бегают. Прошу его Христом-богом: купи приклад. Он не хочет: «Пойдем,— говорит,— на лыжах вместе: и приклад купим, и погуляем там — наливочки попьем, пивка, того-сего...» Я говорю: «Нет, я не могу идти, я не привычный на лыжах, сам замучаюсь и тебя задержу». А он — пойдем да пойдем,— чуть не насильно меня тянет: «Я,— говорит,— не шибко пойду. Устанем — отдохнем. Пойдем!» И сунул черт меня пойти. За первый день шестьдесят верст прошли. Я совсем из сил выбился. А еще верст сотни две идти. На другой день ноги у меня задрогали. Говорю ему: «Потише, куда ты вмах?» А он: «Иди, иди, не отставай!» К вечеру отобрал он у меня топор, спички, сухари, сказал мне: «Ты шоркай потихоньку по моей лыжнице, по следу, а я за горку вон за ту спущусь, костер налажу, пожрать готовлю, отдохнем там». Я поверил, отдал все. А сам потихоньку в путь. Почтарь мой живо из виду под горку скрылся. Подымаюсь я на гору. «Вот,— думаю,— перевалю — и сразу к ужину». Поднялся, глянул, а он уже на следующую гору вздымается, верст за десять от меня. Взобрался да как приурежет с горы, только я его и видел. В нутрях похолодело у меня, волосья от ужасу зашевелились. И догадался я, что почтарь меня бросил, что неминуемую смерть дал мне. Слеза меня прошибла: как есть один, помощи ждать неоткуда, того гляди волки разорвут. И решил помирать. Попробовал спускаться — упал, да так уж и вставать не захотелось. А тут кто-то в гармошку заиграл, девки запели, будто баня теплая и будто пьяные олени лесом с вешиками шли... А ты, отец, и спас меня.

Рассказывает так, а сам горько плачет. Говорю ему:

— Не горюй. Я выдам тебе подорожную, укажу до ближайшей заимки дорогу, верст пятнадцать будет.

Бумаги у меня, конечно, не было, а содрал большой пласт бересты белой, камень вап¹ нашел и написал вапом так:

«Этому человеку всякую помощь оказывать. Я его от смерти спас замерзшего. Лошадей давать задаром, кормить задаром. Перевозить его от жителя к жителю, до самого Минусинска».

И расписался: *«Леонтий Бакланов, таежный волк».*

Наградил его всем, вывел на короткую дорогу, и он ушел. Летом дознавался я: приказ мой чалдоны выполнили в аккурате, потому — всяк уважает меня за то, что я всю тайгу наскрозь прошел, что закон тайги держу.

Ну вот. Теперь слушай, милый друг, дальше.

После этого стал я почтаря поджидать, погубителя. Знаю, этим же путем побежит обратно. И знаю — в какое время. В конце пятых суток вышел я на пригорок, жду. Помню, под осиной встал. Тихо было. А на осине прошлогодний листок сухой холпит-шевелится. Что-то шепчет мне. Кругом бело, только лес по горам чернеет, небо тоже белое, солнышко сквозь туман глядит, книзу путины свою правит.

И час, и два я жду — нейдет почтарь. Злоба копится к нему: прислушаюсь, прислушаюсь — кипит в грудях! А осиновый листок сухой холпит-шевелится, по-доброму опять-опять что-то шепчет мне. Не слушаю его: «Отстань», — твержу. Тут летучий ворон возьми и крякни надо мной: «Почтарь!»

Ага, вот он-он! Приструнил я себя, встряхнулся. А тот прямо на меня спешит. Снял я бердан с плеча. Только он ко мне — я: — Стой!!!

Он остановился шагах в тридцати, взором выпить меня хочет, рыжая бороденка в куржаке, из-под оленьей шапки глаза чернеют.

— Бакланов, ты никак?

— Я самый. А где товарищ твой, Гарасим Ефимович Карпов, портной?

— Он в городе остался, подбирает приклад себе...

— Врешь! Зачем ты врешь? Ты бросил его вот на этом самом месте!

Почтарь шапку снял, от потной головы дым пошел, опять нахлобучил шапку. Говорит мне, и слышу: в голосишке овечий хвост дрожит, как перед волком. Говорит почтарь:

— Ты все, Бакланов, знаешь... Колдун ты! Да, действительно он от меня отстал. А мне невозможно было ждать... Неужто умер?

¹ Вап — красящее вещество, краска.

— Умер. Сейчас и ты умрешь.

— Бакланов!.. Что ты?! Леонтий Моисеич!..

— Стой, не шевелись,— сказал я и вложил патрон в бердан.

— Бакланов! Бакланов!.. Нет моей вины!..

А я ему:

— Ты у него топор отобрал, спички отобрал, харч весь отобрал обманом. Убивец ты!

Поднял я бердан, взвел затвор на выстрел. А он на корячки хлоп, ползет ко мне по сугробу, кричит последним голосом:

— Не губи, не убивай!

— Стой!— кричу.— Нешто не Бакланов я? Нешто не должен я правду таежную исполнить? Погубитель ты. Молись, варначина, богу: застрелю, как волка бешеного, и в снег не закопаю.

Прицелился я из бердана прямо в башку ему: шапка евовная свалилась, дым от башки идет, а сам он, словно пес, на четвереньках.

Слышу — взвыл:

— Слово одно!.. Бакланов!! Не губи! Одно слово в оправденье... Тогда поймешь...

Опустил я бердан.

— Ладно. Говори слово. Только умное!

Подошел я к нему. Кровь в его лице сменилась: лико — бы-то снег. И сам дрожит. А глаза пытаются меня: по-доброму или по-злему подошел к нему? Выпытали нужное, обмякли, надежный огонек засветился в них, обмороженные щеки задрожали: всхлипнул мужик. И с той самой минуты чезнула во мне злоба, и подкатился под наши ноги — ковер не ковер, а что-то теплое, может, шкура парная медвежачья, может, еще чего. И в душе сразу оттепело: вижу — ушибленный человек передо мной.

Только мне не захотелось показаться добрым, строго спросил его:

— Ну?!

Он и говорит:

— Ослабел,— говорит,— я со страху, как ты бердан навел. Большой ужас,— говорит,— смерти в глаза глядеть.

— Ах, тебе ужас, а ему не ужас?!

Смолчал он, морду отвернул, мигает. Зажег я кострище из валежника, из смолистой пихты. Усадил его:

— Ну?

— Жена у меня имеется, супруга законная,— говорит он.

— Как звать?

— Любаша.

— Хорошее имя. Складное. А к обличию подходит?

— Подходит вот как: очень даже пригожа из себя. С Николы зимнего двадцать второй год пошел.

— Любит тебя?

— Любила.

— Его любит?

— Да. Его любила, царство ему небесное.

— Про царство помолчи,— говорю ему.— Вместо царства ад, может.

А он и говорит:

— Ежели ему ад, мне — царство: может, Любаша опять ко мне приклонится.

— Твоя Любаша при нем жила?

— Нет, при мне. Бегала к нему. Я накрыл. С того дня грех пошел.

Спрашиваю его:

— Кто ж виноват в том грехе, по-твоему?

— Знамо, он, будь он проклят... Царство ему небесное... Портной этот самый! Гараська Карпов.

— Нет,— отвечаю,— пустопорожние твои слова. Не он, не баба твоя. Ты всему виной: укрепу ослабил, чем ни то оттолкнул жену.

— Бабу за подол не удержишь.

— По согласью, по любви за тебя шла?

— Обязательно по любви... То есть... Эх!..

Говорю ему:

— Иной раз птица на зерно идет, да в силочку попадает. А из силочка в котел.

Прикинулся он, что не понял, вздохнул, а в глазах злобная хитринка. Открыл сумку, вытащил шерстяной отрез.

— Вот,— говорит,— это Любаше своей несу... подарок.

Насунился я, прощупал его из-под бровей взглядом, говорю:

— Не поможет,— говорю ему,— опоздал. Уйдет от тебя Любаша. Укрепы нет.

Тут он у большущего костра в дрожь пошел, опять кровь сменилась в лице. Мотнул головой, закрыл рыло ладонями да в хлипки, в хлипки.

— Ты не знаешь,— говорит,— ты не знаешь, Бакланов, до чего она приятна мне! Дня не прожить без ее. Куда бы я ни пошел, она все возле меня. Иду-иду — со мной! Вот и сейчас возле нас сидит... Любашенька, Любаша, солнышко!!

И ткнулся он, дурья голова, рылом в снег, точно его кто пошее съездил, и пополз на коленях, шапку в костер бросил, волосы рвет на себе, воет, и лик нехорошим стал.

— Стой!— кричу.— Стой, опомнись!! Ежели слова умного ты не мог сказать, зато дорогую слезу пролил. Иди! Твою пулю медведю в сердце подарю. Иди с богом.

Разрядил я бердан. Почтарь слезы вытер, на спокойствие себя поставить хочет, а морда нет-нет да и выиграет, скуксится, белые зубы из-под усов сверкнут.

— Иди. Перед слепой человеческой правдой прав ты. Сумей оправдаться перед правдой светлой.

Вздохнул он, стал на лыжи, повязал башку шалью, распрощался со мной, пошел. Вот обернулся, вот спросил:

— А где ты похоронил его, царство ему небесное?— сказал он и перекрестился.

Не сразу я ответил. Подумал и сказал:

— Нешто поп я? Спроси у мороза да у вьюги.

Он опять перекрестился, отвесил мне поклон, крикнул:

— Бакланов, батюшка! А ты, чур, молчок! Про что мы знаем с тобой — тому гроб, могила... И чтоб больше ни единая душа...

— Гроб, могила!— крикнул я.

И эхо отозвалось в лесу: «Могила!» И ворон каркнул: «Гроб!» А почтарь все дальше — меньше, дальше, скрылся.

Мы с Баклановым снялись с места, двинулись. Нам надо за-светло перейти вброд таежную речонку. Вступили в болото. Подошвы наши скользили по ровному и белому, как мрамор, дну: июльское солнце еще не растопило донный лед. За болотом мы сели на коней. Комары преследовали нас. Бакланов сделал два свежих веника, и мы без передыху отбивались от назойливого гнуса. Из глубокой балки, где сгущался вечерний мрак, подуло ветром. Комары исчезли.

Я спросил Бакланова:

— А о дальнейшей судьбе почтаря ты, Леонтий Моисеич, ничего не можешь рассказать?

Бакланов натянул поводья, остановился.

— Тпру... Я ведь даве молвил тебе: гроб, могила. И слово мое верное: недаром дураки колдуном меня считают. Натакался на почтаря, вскорости же после моей расстани с ним, один зверолов, товарищ мой. Мертвого нашел. Медведь почтаря задрал. На моих памятях отродясь такого случаю не было, чтобы зимой медведь мог человека заломать безоружного. А было по всем видимостям так. Как распрощались мы с почтарем, сиверко подуло, буран зачался. А тут ветролом в тайге ударил, лес корежить стал. Вот и грохни сосна, да прямо по берлоге. Всплыл медведь, а почтарь-то тут как тут. В одночасье ему и карачун пришел. Я полагаю, что именно так могло случиться это все.

Бакланов понукнул коня и убежденно добавил:

— Как хошь, так и мекай. Бакланов оправдал, медведь не оправдал. Одно только наверно знаю: ту самую пулю, что на почтаря готовил, вогнал-таки в медвежачье сердце — невзадолге разыскал я этого зверя и устукал благословясь. На!!

День сегодня простоял жаркий. С горных белков натаило много снега, и речонка вспенилась, шумела. Наши копи, переходя речку вброд, наваливались тугими боками на сшибавшую их воду, пофыркивали и храпели. А дальше, за речкой, зверючья тропа в кедрач вошла. Кудрявые кроны великанов кедров давали густую тень. Смолистая, теплая тишина стояла.

— Леонтий Моисеич! — заговорил я. — А ты всерьез хотел застрелить почтаря-то?

— Нет, — ответил Бакланов, оглаживая русую бороду. — Только острастку ладил дать. Чтоб на всю жизнь зарубина осталась в сердце. Человека убить — себя убить. Слезавай — приехали.

IV

— Я над всем этим краем властитель. Не в похвальбу, а так оно и есть. И глянь, ты только глянь, какая красота крутом, премудрая красота, великая красота! От этой красоты господней, от природы, — вот взглянешь — замрет, замрет сердце, и слезы потекут. Я тридцать два года здесь, в горах, в тайге. Да пусть скажут мне короли земные, вельможные правители: «Бакланов, владей всем нашим богатством, дворцами, городами, пей, гуляй, писаных красавиц хороводь, спускайся с гор, иди к нам, властвуй!» — «Нет, — скажу я, — нет, ваши царские величества, покорнице вас благодарим: околдовала меня мать-природа, угрела, осветила солнцем, обвеяла белыми туманами: здесь родилась новая душа моя, некуда отсель идти и незачем. Здесь смерть приму. Аминь!»

Бакланов Леонтий Моисеевич по-настоящему чувствовал природу, понимал, любил ее. И складные его слова были кротки и страстны, как псалмы. Голубые, с прозеленью, глаза старика блестели молодостью. В их лучистом, то серьезном, то улыбчивом взгляде чувствовалась большая мощь. Ими он мог повелевать, ими же мог согреть, умягчить чужую озлобленную душу.

Мы едем с ним верхами по карнизу полутораверстной кручи. Приземистый, но могуче сложенный, он с конем — одно. Он останавливает своего Бурку и говорит мне:

— Слезавай! Иди за мной.

Я повинуюсь — старик не зря зовет меня. Вот мы на свободном от хвойных зарослей обрыве.

— Гляди, — сказал Бакланов и властно повел по горизонту рукой. — Можешь понять, восчувствовать? — не обертываясь, сказал он тихо.

Мы были на страшной высоте. Прямо перед нашими глазами высилась плавно очерченная цепь гор, прорезанная темными бал-

ками. И дальше, поскольку хватал наш жадный взор, вся земля всколыбалась и вскоробилась: горные хребты застыли в волнообразном беге к горизонту и, постепенно понижаясь, тонули там, окутанные голубоватой пеленой воздуха. Лишь на самом краю земли, приподнявшись над всем миром, ослепительно сверкали вознесшиеся к небу нетленные вечные снега. Это пики Арадапских гор и далее — главный массив — Саяны.

— Просторы вы мои, просторы, — упоенным, мечтательным голосом шептал Бакланов.

Под нашими ногами бурно пенилась река. Ревом ревели пороги, но на нашу высоту звук не долетал. И сквозь неподвижную тишость воздуха, ежели взглянуть влево, вниз, можно видеть: верстах в пяти от нас врезано в горы зеркальное альпийское озеро. Ясно-голубая поверхность его, как нежный с лоском шелк, очаровывала зрение: хотелось лететь на крыльях к этой таинственной волшебной глади и окунуться в нее, и плавать в животворных, очищающих водах.

Пока мы стояли, умиленные волнующим очарованием, картина менялась. Солнце уходило за горы, ясность воздуха стала еще больше, тени в провалищах и безднах — резче; серые, желтые, красные тона горных обнажений и все краски ландшафта освежились, ожили, заулыбались какой-то задумчивой, мудрой и благостной улыбкой. А седовласые великаны на горизонте нагнули по самые бороды свои снеговые шлемы и, замыкаясь в глубь себя, готовились к сторожевой дреме. В этой памятной картине великая искусница природа, казалось, щегольнула всеми красками видимого спектра: от сверкающей белизны до чернильного мрака преисподней. А над всем этим — бесстрастная, глухая тишь небес.

— И глянь, ты только глянь, какая красота кругом!.. Великая красота, премудрая красота!..

Мы спустились на ночлег в долину, развели костер.

За чаем Бакланов стал повествовать. Его жесты характерны, широки. Голос в меру звонок, плавлен, выразителен, речь певуча.

Когда он молчит, его скуластое лицо обыкновенно, буднично: крепкие, загорелые, в мелких морщинах щеки, глубоко сидящие глаза, широкий толстогубый рот, пепельно-русая, в крупных кольцах борода. И какое-то дремотное, обращенное внутрь себя, созерцательное выражение.

Но вот он начал свой рассказ, взнуздал, прищепил память, и, сдерживая страстность речи, он весь преображается. Лицо становится живым, светлым, вдохновенным, глаза горят мудрой веселостью, и хмурые нависшие брови в напряженном движении.

Слова его просты, но убедительны, и все на своих местах; он

знает толк в словах, прислушивается к ним, ясно понимает, что даже за пустяшным словом стоит большая сущность, и поэтому в его речи они начинают светиться внутренним огнем, приобретают значительность и вес. В моменты душевного подъема его голос становится жутким, вещим, и сам он — как пророк. Он начинает.

— Десяток лет тому случилось это, в та поры я еще самосильным был. Сказывал тебе, что я властитель этому месту, один я здесь на сотни верст.

Помню — голубое глазастое утро было, глубокий снег лежал. Месяц ноябрь кончился, скоро Николин день. А к Николину дню надо пушнины добыть изрядно. В Николин день две ярмарки живут, одна в Минусе, другая в Усинском. Вот туда и надо пушнину доставить, долг сквитать: должен я был Абдулу Мехметову, богатому купцу, близко к тысяче. А Абдул Мехметов — человек крутой: не оправдаешь себя — туго тебе будет.

Вот вышел я зверовать на промысел. Перво-наперво лег на новом месте спать, в зимовье своем, и видел сон — будто белки через реку плыли, хвосты вверх, трубой. Хороший сон: добыча будет добрая.

Ладно. Выхожу на поляну. А дело к вечеру, солнце книзу клонит, тени от деревьев в синь пошли, бегучие огонечки по снегу полыхают. Глянь — две лыжницы, две дороги от лыж, в нетоптаном снегу моем. Как так?! Кто мог осмелиться мое царство опоганить?!

Вскозырился я весь, упрямая кровяница заиграла в жилах. Следить, следить: лыжницы под горку. И видно мне с горы — два черных человека: один сидит, этак колени обхватил, будто задумался, другой поодаль на боку лежит, лыжи валяются в сторонке. Смотреть, смотреть: не шевельнутся, будто мертвые.

Вот так раз — да ведь это купчина мой, Абдул Мехметов! И в мыслях твержу себе: «Ну, Бакланов, действуй, людишки погибают!» И стал лыжи укреплять.

А черт и говорит мне:

«Ты погоди, куда ты?»

«Как — куда? Ты вчера родился, что ли? Ведь люди там».

А черт мне:

«Нешто это люди? Один — купец Абдулка, другой — его поводырь-дурак».

«Нет, — отвечаю, — нельзя... Закон тайги не позволяет. Надо спасти людей».

А черт и говорит:

«Эх, Бакланов, Бакланов!.. Закон тайги обормоты выдумали.

Одной правдой не прожить. Не ходи, Бакланов! Обожди немножко, ну немножко!! Стой!»

«Нет, пойду».

«Кого ты спасать хочешь?! Ты ему тыщу должен!.. Ведь он грабитель. Ведь сколько он на тот свет народу сплавил, сколько народу по миру пустил! Его все клянут, а ты спасать хочешь. Дурак ты! Ведь он на ярмарку идет, пять тысяч у него в сумке; все твое будет. Ты только стой на месте, все без тебя сделается. И уж скоро, совсем скоро будет так, как надо. И не будешь ты горе мыкать, в Москву уедешь, сладкая жизнь твоя пойдет. Ты только слушайся меня, стой...»

Огляделся я — туда-сюда глазами шарю, голоса лукавого ищу; пусто, только те двое чернеют в сугробах, да от солнца по снегу алые полосы пошли.

Говорит мне черт:

«Он дочь твою избил, он брата твоего в могилу свел, он и тебя за братом в гроб загонит. Ведь он же враг твой?»

«Враг».

«Пошто ж ты хочешь спасти его?»

«По то, что враг он мне. По этому самому. Друга всякий будет спасать, это не диво. Врага трудней».

«Ум твой пустой, Бакланов. В душе твоей гордыня, Бакланов. И ты только вспомни, что святые отцы рекли: гордыня — дочь дьявола. Убей в себе гордыню, Бакланов, дай околеть купцу».

«Нет! Будет жив, может, добрые дела окажет».

И плюнул тут черт:

«Тьфу! От змеи не родится голубя. Неотмолимый грех тебе, ежели змею не изничтожишь».

Взяло меня за живое, говорю в думах черту своему:

«Не раз и не два сказывал мне родитель: жил в тайге пакостник один, забеглый каторжник, варнак. И так он пасолил крещеным — замыслили крещенные убить его. А тут совесть в нем голос подала: противна варнаку жизнь стала — в крови, в злодействе. И порешил он на себя руки наложить. И только голову в петлю вставил, чтоб глотку затянуть, — бегут тайгой мужики: «А, злодей!» А варнак и говорит им: «Моченьки не стало жить так: совесть мучает меня». А мужики ему: «Ежели перестанешь злодеем быть, тогда живи, запрету от нас нет, живи!» Заплакал в ответ варнак. И сказывал мне родитель не раз, не два: стал с тех пор варнак самым желанным человеком, вся округа узнала о его жизни праведной, вся округа ходила к нему за поущением. И стал варнак святым. Вот так же и с Абдулкой может приключиться».

Примолк черт, не вздышит, видно слюни на клубок мотает. Только кончил я раздумье, он и говорит:

«Чудак ты, Бакланов, ей-богу, чудак! Абдулка твой злодей неисправимый. На душе у Абдулки до самого донышка копоть одна, грязь».

«Нет, скользки твои речи, увертливы,— отвечаю я черту своему.— Ежели дождь неделю поливает, не верь, что солнца нет: скатятся тучи, вот оно, солнышко-то, вот! Так и душа чужая: мрак, мрак и вдруг — светло».

И не знал черт, что ответить, только дыхнул в душу мне:

«Убей змею!»

«Нет!— говорю я.— Не возьму на себя греха».

«Бакланов, друг!— убеждает меня черт.— Ради бога не страшись греха... Ведь дело твое будет бескровное: крови ты ни капли не прольешь, руки своей не замараешь кровью».

«Совесть замараю...»

«И совесть твоя будет бела как снег. Ты только обожди, ну, обожди, Бакланов, прошу тебя, умоляю, не ходи! Сейчас они замерзнут».

«Прочь с дороги!»— ударил я голосом и зашагал на лыжах.

А черт всхлипнул и — чую — сзади меня идет, дышит в затылок жаром, темные искры рассыпает предо мной и сердце мое чавкает, чавкает песьими зубами: больно сердцу, и душа дрожит. Вот-вот схватит меня, вот-вот схватит. И уж схватил, окаянная сила, поймал, за ногу поймал: стоп, левая нога, стоп, правая нога, и я сам — стоп! И стал крутиться черт в моей душе: опять ласковым прикинулся, сердце лижет, из моих дум кайнову удавку хочет вить.

И подумалось мне тут: «Зачем же это я в сам деле хочу своего врага спасти?» Стою, умствую в гордыне.

А черт и говорит:

«Вот и спасибо тебе, Бакланов! Ведь я люблю тебя, ведь я и не требую от тебя: поди, мол, стукни топором по черепу, убей! Раз ты греха боишься, я на убийство тебя не подстрекаю. И крови ты ни капли не прольешь, и руки своей не замараешь, дело твое будет бескровное. Ты только закури трубочку, Бакланов! Пока куришь, все без тебя окончится: разве не видишь, уж к ним смерть идет?»

И верно. Гляжу я: белым пухом смерть по сугробу выюнком перевивает: вьет, вьет, вьет — и прямо к людям. Обличья у смерти нету, а сила есть.

«Врешь!» — крикнул я, да — ходу. Шорк-шорк на лыжах и сразу скатился с горы к Абдулу Мехметову, купцу.

Сбросил свою куртку из собачины, давай пыхтеть над человеком. Возился, возился — фу ты, мать честная! Умер человек! Стою над трупом отошедшим, и черт примолк. Передохнул я ма-

ло-мало, давай опять над покойничком пыхтеть, изрядно ему в рот спирту влил, да ну его, как чурбан, катать взад-вперед, мять руки, ноги разводить. Чую — покойник дух перевел и мертвые глаза открыл.

«Слава тебе, господи!» — перекрестился я и за другого человека принялся.

И возговорил Абдулка мертвым голосом:

— Бакланов!.. Неужто я живой?

— Живой, — говорю, — Абдул Мехметыч, самый живой теперича доспелся...

А он и говорит, и вижу — слезы градом. Говорит купец:

— Тебе ли, Бакланов, было спасать меня? Ведь я враг твой!

— Враг...

— Дочь твою я избидел.

— Дочь избидел.

— Брата твоего в могилу свел!

— Верно, в могилу свел.

— И ты все-таки спас меня? Ты?! Ведь помри я — долг бы твой насмарку. И всеми моими деньгами завладел бы ты. Ведь десять тысяч денег при мне.

— Совесть мою в миллионы не сложишь.

— Верю, Бакланов, большущей совести твоей. Теперича, Бакланов, ты мой самый главный друг. Больше отца, матери!

Тут спросил я купца Абдула:

— Как же это ты, скажи на милость...

Отвечает купец:

— Черт попутал меня, шайтан! Мало-мало скупой я сделался. Просил с меня хороший проводник до Усинска дотащить тридцать пять рублей. А этот трухомёт, кобыла, за пятнадцать согласился. Я деньги жалел, его брал. А он, чалдон, и меня погубил и сам околел, собака! Бросай его!! Подох и ладно!

А черт и шепчет мне:

«Вот видишь, Бакланов, кого ты спас: не сердце у Абдулки, — камень!»

Слава тебе, тетереву: оживил-таки и этого покойника — проводника. Костер развел, чаю скипятил.

Развеселился купец за чаем, распарил брюхо, говорит:

— Ну, Бакланов! Чего хочешь проси, все дам тебе... только сведи меня на ярмарку, в Усу. Сколько долга за тобой?

— Семьсот тридцать два рубля восемь гривен, — отвечаю.

— Будешь должен шестьсот тридцать два рубля восемь гривен. Только веди. Согласен?

— Нет, — говорю, — хозяин, не могу тебя вести. Ты сам знаешь, мне падо весь долг сквитать да еще заработать на про-

житье. А мои деньги в лесу бегают. Потащу тебя — деньги убегут: теперича — самый лов зверю, ты сам, хозяин, отлично понимаешь. Обожди недельку в зимовье у меня, тогда задаром доведу.

— Да ведь мне каждый день дорог. Вот-вот ярмарка.

— Тогда прибавь.

— Нет, не могу. Сто рублей — цена. Ни гроша больше.

А черт и шепчет:

«Вот видишь, видишь, какую змею ты отогрел? Да разве это человек?! Убей его! Двинь по башке колом!»

Эх, засверкали у меня глаза: «А ведь черт дело говорит...»
Однако сдержал шальную кровь свою, сказал:

— Тогда до свиданья, прощай, Абдул Мехметыч. Путь укажу тебе верный: дойдешь с проводником, — сказал я и в лыжи стал.

— Стой, Бакланов, стой! Еще полсотни долгу скошу тебе...
Тащи!

Встряхнулся я, подумал, говорю:

— Согласен. Может, чрез это гибель мне самолично приключится, а все ж таки... Согласен, ладно!

Спать в зимовье ушли. Купец спал крепко, на особицу храпел. Проводник, мужичонка ледащенский такой, все хныкал лежа, — похнычет, похнычет, перекрестится:

— Спасибо тебе, добрый человек, из могилы меня выкопал, от смерти отнял!

А с полуночи я видел сон. Будто черт со мною бьется. Черт весь серый такой, надутый, словно из резины. Лица никакого нет, ни рта, ни глаз, просто мешок тугой, в середине — гадость, гарь. И словно сижу я на пенышке, пригорюнившись, и слезы каплют. Черт как надлетит, кэ-эк хватить мне в темя, чтобы, значит, совесть приглушить. Бьет и бьет с налету. А я ни рукой, ни ногой шевельнуться не могу. «А ведь приглушит мою совесть-то», — подумал я. И только я подумал — встал Абдул. Вот вижу: встал Абдул и зачал в кишку черта надувать. И вижу: черт стал раздуваться, раздуваться, Абдул — хиреть. И сделался черт с корову, Абдул с белку. «Эй, проводник! — запищал по-беличьи Абдул. — Дуй мне в кишку, я — в черта. Лопнет!» Вскочил мужик, стал в кишку Абдула надувать. Мужик Абдула надувает, Абдул — черта. И стал черт с гору, Абдул с корову, мужик с белку.

«Ай, батюшки! — заверезжал по-беличьи мужик. — Ежели черт лопнет да купец лопнет, тогда и мне несдобровать: в собачью блоху обернусь, подохну!»

Тогда я самолично встал, давай мужика надувать в кишку, мужик — Абдула, Абдул — черта. Дули, дули — черт выпучил

глаза, вывалил язык и лопнул. И как лопнул черт, всю местность серый дым окутал. И как окутал всю местность серый дым, мы все вскочили, выбежали из избушки, глядь: всю местность серый дым окутал, мороз стоит, утро зарождается.

Бакланов сделал перерыв, задумался, как бы припоминая, что повествовать. Я уверен, что рассказ, который он не однажды повторял, Бакланов всякий раз ведет по-новому, прибавляя что-то от себя, углубляя смысл отдельных выражений, шлифуя форму: он творит. Его слушаю не я один, его слушают ночь, тайга, костер, небо, вся земля, вся тварь. И, зная это, Бакланов благоговествует в молчаливое пространство, как признанный поэт, которому рукоплещет многолюдный зал.

Ночь насадала на землю, разрасталась. От тьмы стало тесно у костра. И ничего кругом не видно. Но я чувствую, что Бакланов видит все. Он и во мраке не заблудится, пройдет неведомым путем, он сумеет отвести душу разговором со встречным деревом, с камнем, со звездой, а если попадется черт — и с чертом. Ему все знакомо, все понятно, даже смерть.

— Бедному умереть легко, стоит только зашуриться, — мудро изрекает он.

— Ладно. Тихо к утру сделалось, — стал продолжать Бакланов. — И как слиняла восточная звезда, стал людишек своих будить.

— Что ты? — говорит Абдул. — Еще только два часа ночи. Рано!

— В небе-то рано, да в сумах-то у нас поздно, — отвечаю я. — Харч на исходе, а в зимовье бежать — далече очень.

И вот пошли.

Проводник на лыжах кой-как тараканьими ногами сучит, а хозяина я на себе тащу: в нарты посадил его, тащу, совсем ослабел хозяин. А шагать поболее сотни верст, еще взад такая же охапка. Да, главное дело, надо перевалить Араданские хресты, а там всегда пурга живет. Когда вернусь?!

Весь день без передыху шли. Абдул Мехметов — грузный: нарты глубоко врезаются. Сто потов я согнал с себя, небо с овчинку показалось. И нет укороту черту моему, опять надо мной изгаляться стал: «Тащи, тащи!.. Бог, ха-ха, заплатит! Бог любит дураков!»

Остановились ненадолго, погрызли всухомятку сухарей, айда вперед. А проводник плелся, плелся, да и заныл:

— Смерть моя, боле не могу! Задави меня, собаку, брось!..

Брякнул я его с сердцов на нарты: «Садись, анафема!» — и двоих повез.

«Ну,— думаю,— аминь, решу себя, аминь. Все втроем загинем. Да, спаси бог, ежели пурга ударит, выюга». А уж на Арадан-хребет вздымаемся.

Только так подумал — взикнул поземок понизу, и деревья плечами, головами замотали. Батюшки, пурга, гибель, смерть!

— Ребята,— говорю,— верная наша смерть идет! Пурга!

Взмолились мои людишки:

— Бакланов, батюшка, Леонтий Мосеич, отец родной!

А черт хихикает мне в ухо: «Что, дурак паршивый, влопался?! Теперь уж вези, раз продался, спасай людей, лесную правду выполнишь! Ха-ха...»

Сглотнул я нутряные слезы, говорю людишкам своим:

— Вставайте, окапываться будем. Ежели пурга покроет нас, может неделю под снегом придется жить. А где еда? Еды — раз пожрать, и нету.

Как полоснет ветрище, как посыплет сверху сизый мокрый снег; вот она матушка-пурга: ложись — выдюжит сила, будешь жив, а нет — аминь.

А черт и говорит мне:

«Бросай их! Беги домой, жив будешь. Место заприметь, потом вернешься, богат будешь».

Сжал я на черта кулаки, остервенел.

А пурга так и крутит, мокрым снегом свет белый замутило. Вдруг слышу — ну, как во сне услышал, ветер поднес к ушам,— слышу: бубенцы взбрякали где-то недалечко и храпанули кони. Навострил я лыжи — дуй, не стой!

Глядь — дорога, редко кто этой дорогой ездит, глядь — казаки в Усинское возвращаются: сбились с тракта, сюда попали.

Кричу им:

— Станичники, здорово! Узнаете, нет?!

— А-а, Бакланов!.. Ребята, это Бакланов, зверолов! Садись, Бакланов!.. Папаша, к нам! к нам!..

— Вот, ребята,— говорю им,— живность у меня имеется, захватите-ка в Усу!

Словом, коротко сказать, устроил я горемык своих на подводах, сказал казакам:

— Живность чтоб доставить в аккурате, правильно. В Усе с рук на руки сдадите мне. Бакланов вам это говорит, таежный волк.

А сам опять дуй, не стой — на лыжах. Пурга меня любит, будто путь расчищает мне; припустил полным ходом с Араданского хребта — пошел чесать.

Лошадиная дорога вихлястая, соколиная дорога впрямь идет; бегу по птичьему пути, налегке бегу, без груза, а в сердце ра-

дось, и вольные ветерки в спину поддувают. В лес вступил — воет тайга верхним воєм, вьюгу над вершинами несет, а внизу тихость. И темная темень растеклась. Только чур, Бакланова тьмой не удивишь, чертовым посвистом не застрашаешь: сгикает, допустим, черт, а я его, нечистую силу, — матюгом!

Переть, переть — посветлее в тайге сделалось, месяц встал. Переть, переть — кончилась тайга, кончилась пурга, небо в бисере, и Усинская стапца на виду.

Пру, пру, пру, падрываю силы и уж не телом путь держу — телу давно бы подохнуть надо, — душа ведет вперед, как в машине пар.

— Здорово, хозяйюшка! — крикнул я молодежи Матрене Митревне, — постоянный двор она содерживала. — Становь самовар большой, скоро к тебе гости будут, а я на печку!

И как залез в тепло, сразу захрапел. А время к утру. Храплю, а сам все чувствую: прозвени струна, прошурши цветы, подай птица свой голос свиристельный, — враз услышу: на моей башке, на самой на макушечке, глазастое ухо такое есть — во тьме видит, во сне слышит, сторож недреманый такой.

Слышу — в сенцах медвежьи лапы затоптались, слышу — дверь скрипнула, вижу через закрытые глаза — Абдул Мехметов ввалился, с ним проводник-чалдон, казаки.

— Хозяйка! — загремел купец. — Все давай на стол: самовар давай, всякую еду давай, водки давай. Через часок-другой должен знатный гость прибыть, мой спаситель!

А я и кричу ему:

— Твой спаситель давным-давно на печке дрыхнет, третий сон видит.

— Бакланов, ты ли это?.. Отец родной!.. Да как ты?! Ведь мы на лошадях, почитай, вмах гнали.

Ну меня целовать, ну меня миловать да в ноги кланяться.

Разогрелись чаем, снedyю подкрепились, водочки подвыпили, в пляс пошли. И хозяйка каблуками брякала, молодца Матрена Митревна. Эх, и хороша бабенка, язви ее в пятку! Вперед грудью ходит, глазами поводит. Э-эх!.. Ну, ладно... Было делов порядочная сумма.

И как стал Абдул Мехметов вполпьяна, вынул охапку денег.

— Вот тебе, отец родной, Бакланов, сто пятьдесят по договору. А это вот тебе четвертной билет за скорость за твою. А как спас ты меня от неминуемой смерти — половина долга прочь! Убыток свой с других возворочу.

Взял я деньги, говорю:

— За то, что вел тебя, — принимаю деньги, за скорость тоже принимаю. Но за то, что спас тебя, — не могу принять. И как

можно жизнь человеческую на деньги оценить! Да знаешь ли ты, что такое означает человек? Подумай-ка погуще об этом самом, Абдул ты мой Мехметыч, милый! Может, и ты тогда ко всякому человеку с правдой, с ласковостью подойдешь.

И как ни упрашивал меня, в ноги двадцать разов бухал,— уперся я, стал на своем: ни-ни.

И вот в обратный путь приближаюсь я к своему зимовью.

А черт и говорит мне:

«Ха-ха!.. Велики эти деньги!.. Грош нашел, тыщи потерял... Дуррак!»

Плюнул я ему в безмордную морду, подлецу! И прямо пошел в обход — кулемки, слопцы, плашки проверять. И что б ты думал, милый человек? Тридцать два года промышляю здесь, такого форта мне сроду не было: пока таскал купца, девять соболей попало в ловушки, двенадцать лис, без счету хорьков да горностаев! Да полторы тыщи за десять ден сиводушных белок взял: стадом белки по вершинам шли. Коротко сказать: не токмо долг сквитал, а еще капиталишко нажил. И уж черту нечем меня крыть. Молчит. Тогда сам я начал выкликать его. Молчит.

«Ну, Черт Иваныч,— кричу ему,— кто прав: я или ты?! Отвечай, нечистик!»

Молчит.

«А может, вернуться, может, поступить в проводники к Абдулке да пришить его? А? Богатым буду, знатым буду, в Москву поеду... А?!»

Молчит, черт, словно сгинул.

Тут сдогадался я, что черт — во мне, что черт — совесть моя черная. И завернул я ему, окаянному, гайку туго-натуго: до сей поры молчит, хоть бы раз свой голос подал — молчит, как в рот воды.

Кончил Бакланов.

Костер угасал. Груда умирающих углей в предсмертных перебивах: ярко-голубых, красноватых, тусклых. Вот проблеск жизни на мгновение прожег серебряный зигзаг в костре, все вскоре замутилось, обросло седым пеплом, словно инеем, и тьма медленно легла пухлым брюхом на костер.

Стало кругом холодно, пустынно, пусто, и мою душу охватило какое-то томление, тоска о недосказанном, о том, что человеку, может быть, и не нужно знать.

Но я все-таки спросил:

— А как же?..

— Что? Ты про Абдула? — сразу поймал мою мысль Бакланов. — Изволь. Деньги все-таки угробили его, загиб. Деньги —

пот людской да кровь, грех в них. С ярмарки в позапрошлом году он ехал, из Минусинска-города. Да как переезжал зимним временем чрез Енисей-реку, зарезали его разбойники: нож в горло, лошадей угнали, а Абдула привязали к саням, под лед спустили. А как взыграл Енисей весной, всплыл мокрый покойничек во всей сбруе и с санями вместе. И хоть мертвецким темным оком опять все-таки довелось ему по-холодному на белый свет взглянуть. Да снова навеки в землю.

Бакланов вздохнул, замолк и опустил на грудь кудластую голову свою. Тьма придавила пупком последний уголек в костре.

И из тьмы, откуда-то снизу, откуда-то сверху, усталым проблеском просветлели чрез мрак последние слова Бакланова:

— И остался я купцу должен три рубля. И захотелось мне чистым быть: заказал священнику, отцу Панфилу, по Абдулке панихиду. Может, Абдулкиной душе это наплевать, зато мне спокой. Аминь.

V

Наверное, читателю интересно знать, как Бакланов отнесся к революции? Меня, признаться, такой вопрос очень занимал. Мне казалось, что этот активнейший, с сильной душой человек, вся жизнь которого — сплошные поиски правды-справедливости, не мог не отозваться на охватившую страну революционную стихию. По основному ядру своей натуры Бакланов должен был густо завязнуть в революции и положить мятущуюся свою душу за благо народа своего.

Я несколько лет не получал от старика вестей и готов был с горечью вычеркнуть имя его из списка живых своих знакомцев, как вдруг — и совершенно неожиданно — пришло от него нацарапанное порыжелыми каракулями письмо. Оно было вложено в самодельный конверт, неумело заклеенный жеваным черным хлебом.

Вот это письмо:

«Милай живой ли ты приеждяй в гости много расскажу обо всем. Богу угодно было таежную правду чрез меня выполнить левой рученьки не стало глаз выколот стариком исделался чрез то а за правое дело стоймя стоял сначала за Колчака ишел опосля тово против Колчака повел дружину партизанскую все по горам да по лесам. Много было делов кровавых а и по ся пору не в полной вере где настоящая правда скрыта. Приеждяй.

А писал в 1923 году в марте самоличный Левонтий Бакланов однорукой».

АЛЧНОСТЬ

Страничка прошлого

Торговый человек Афанасий Ермолаич Раскатилов гремел на весь уезд. В каждом большом селе у него по лавке, богатый был, но в рост денег не давал, не маклачил.

У купца служил с малых лет Григорий Синяков. Когда Григорий осиротел, купец взял его в лавку мальчишкой на посылках.

— Присматривайся, Гришка... Человеком будешь,— сказал купец и потрепал по щеке.— Грамоте-то знаешь?

— Мало-мало кумекаю,— расторопно ответил мальчик.— Рифметику учил, еще хрестоматию, о рыбаке и рыбке наизусть...

— Про рыболовство, что ли?

— Нет, про старуху про одну. Называется — стихи.

— Ну, это ерунда. Нашему брату ни к чему твои стихи. А сколько семью пять?

Гришка замигал.

— Вот, сопляк, и не знаешь. Выходит: твоя паука — тьфу.

Афанасий Ермолаич старился. Григорий рос. Кудри купца засеребрились, его жена легла в могилу на долгий отдых. Смерть близкого человека и полное одиночество заставили купца пристально всмотреться в прожитую жизнь свою, вспомнить все обиды, которые вольно или невольно причинял он ближним, подвести всему итог. Купец с особым тщанием припоминал и добрые дела свои, когда человеческое сердце источает к людям свет любви... Но добрых дел осталось мало в памяти купца, и душа его скорбела.

Чтоб иметь оправданье своелюбивой своей жизни и успокоить прозвучавший голос совести, купец решил вывести Григория Синякова в люди.

«Под конец дней и я должен возжечь свою свечу перед господом».

Из мальчишек Григорий стал подручным, из подручных — приказчиком, потом на отчет сел, в конце же концов заделался главным доверенным хозяина.

Время шло. Григорий женился на тихой Даше и припеваючи жил себе у тестя-мельника. Хотя новый доверенный отпустил русую бороду, обзавелся двумя детьми, но хозяин, по старой памяти и на правах благодетеля, все еще Гришкой его кличет:

— Гришка, слушай-ка! Съезди-ка, брат, в Княжево, турни там доверенного в три шеи: жулик, черт.

Григорий Иванович ехал и вершил суд с расправой.

— Эй, Гришка! Одначе пора доходы собирать. Айда-ко благословясь.

И ехал Григорий Иванович по всем десяти лавкам проверять кассы, производить учет, отбирать выручку.

Однажды, глубокой зимой, в ночь перед отъездом, Григорий увидел скверный сон. Будто в лесу он. И наткнулся на лешего. Сидит леший в сорокаведерной бочке из-под спирта, выгребает лопатой деньги: золотые червонцы горьмя горят, как угли, и соблазнительно позвякивают, ну такая от их звона по всему лесному царству музыка идет, всю жизнь прослушал бы. «Дай и мне», — не утерпел Григорий. «Бери, — ухмыльнулся леший, — только смотри, как бы не того... не этого...» — да и не докончил. Григорий целую шапку червонцев наложил. И с тем проснулся.

— Ох, и худой же сон, — вздохнула его жена Даша.

Старуха тут толклась, горчички пришла занять, уж очень вкусно с горчицей студень кушать. Та — то же:

— Будет тебе, родимый, испытание. Мотри, гляди в оба. С опаской поезжай, благословясь.

Тесть-мельник успокоил:

— Ты не слушай баб. Снам петух верит. Ну-ка, вышьем на прощанице...

Однако, когда расставался Григорий с Дашей, сердце напоминало ему о том, чего нет, но будет.

Кругом белели обильные снега, морозы стояли с дымом, и зыбучая, вся в выбоинах, дорога как волны в море.

На холоде Григорий Иванович забыл свой темный сон, знай нос три чаще, а будет мороз одолевать, выскочи из кошевки да дуй во все лопатки рядом с Пегашом. А купеческий Пегаш — рысистый полукровок, ехать на таком коне не скучно, да ежели и злой человек умыслит в ночное время пакость сделать, Пегаш не вы-

даст. Только крикни: «Грабят!» — рванет Пегаш, полозя в визг, свежая пыль столбом, и ветер свищет.

Да, впрочем, Григорий Иванович и не очень-то боялся нападений: денег в бумажнике немного, для отвода глаз, вот разве шубу снимут или топором по черепу. Ну что ж, судьба. А вот хозяйских денег разбойникам сроду не найти: в березовых полозьях кошевки продолблены потайные глубокие пазы, в них вся казна лежит.

Пока объезжал епархию, время стало к весне клониться. Пожалуй, можно и домой путь править, а то рухнет дорога — плохо. Солнце припекает крепко, старики пророчат дружную, раннюю весну.

«Авось с недельку еще продержится, — утешал себя горячий на работу Григорий Иванович Синяков. — Авось морозец ударит, утренник».

И он решил в последний пункт завернуть, в торговое село Крякино. Подъехал он в сумерки к реке Прибою, только бы перебраться на тот берег — тут и Крякино, слышно, как собачонки брешут.

Лишь стал коня на лед спускать, вдруг:

— Стой, паря! Ты сдурел! Перепочуй добром. Вишь, темно.

Оглянулся Григорий Иванович — старик возле него, дедка Арсений, бородой трясет. Послушался умного совета, ночевал у старика.

А ночью дождь пошел, к утру ручьи взбурлили, дождь пуще, пуще.

— Переночуй еще, — сказал дед Арсений. — Ежели не выведрит да как след быть не подкует морозцем, придется тебе, паря, домой ехать в обратную. А то чего доброго мырнешь, да и не вымырнешь.

Еще ночь переждал Григорий Иванович. Действительно, морозец пал.

— Ну, благословляй, дедушка Арсений.

— А ты вот что... Иди-ка через речку пешком... Вишь, лед-то посинел... Пегаша не сдержит.

— Сдержит... Без саней никак невозможно мне.

Народ стал подходить. Какая-то старуха пробиралась осторожно по льду: к обедне благовестили, шестая великопостная неделя шла. Показалось солнце, стекла в церкви на том берегу загорелись мертвыми огнями, воробьи на прясле гомон подняли.

Григорий Иванович забрал в горсть вожжи, стал спускаться. Возле самой закрайки — лавина. Пегаш всхрапнул, перескочил,

кошевка стукнула, брызги фонтаном вверх. А сзади крик:

— Правей! Правей держи!!

Лед синий, жухлый, весь сопреп. Чувствовалось, что река напружилась, выгибала закованную спину: вот-вот треснут льды и поплывут.

— Назад! Вороти назад!

— Стой! Стой!!

Грузный Пегаш опять всхрапнул и пугливо поводил ушами: лед оседал под ним. У Григория Ивановичахватило дух: впереди гибель, сзади смерть. И вдруг его ослепил огонь решимости. Он вытянул коня:

— Малютка, грабят!

Пегаш рванул вперед и вбок, лед вмиг расселся, конь ухнул передними ногами в полынью, лягнул задом и...

По берегу пронесся отчаянный многогрудный крик. А дальше Григорий Иванович ничего не помнил.

Пахло квашней, пылали огнем дрова в печи, было темно, угревно. Григорий Иванович обвел каким-то отчужденным взглядом незнакомую избу, посмотрел на старуху в пестрядинном сарафане, валявшую на столе хлебные караваи, громко вздохнул.

— Очнулся, болезный мой,— ласково сказала старуха.— Ну слава те Христу. Ужо соченек тебе свеженький спеку да яичко дам освященное: второй день пасхи ноне.

— А где же это я?— робко спросил Григорий Иванович.

— У Демьяна... Вот где. В Кринкине, в селе. Вот, вот. Выловили тебя, болезный мой. У Демьяна ты. У него, у него. А я двоюродной бабкой им прихожусь. Бабкой, батюшка, бабкой.

Григорий Иванович хотел спросить про Пегаша, про сани, но все это стало ненужным, мелким, все куда-то отодвинулось во тьму, и только мысль, что он жив, охватила светлым ласкающим потоком все существо его. Тяжелой, непослушной, будто чужой рукой он прикрыл глаза.

Но чей-то колкий, с ухмылкой, голос крикнул ему в ухо:

«А как же деньги?!»

И Григорий Иванович почувствовал, как холодеет его тело. Он сразу вспомнил тот темный сон: лесная трущоба, леший, золото,— вспомнил опасенье жены и старухи: «Будет тебе испытание...» Звонким переливом звякали червонцы в ушах, охватывало смертной тоской сердце.

«А как же деньги, хозяйский капитал, Пегаш?»

Но горячечный сон в бреду, провалах, вспышках положил всему предел.

И снова... Что-то бубнило — рассказывала старуха, пожмыхивая тестом, кто-то грузно вошел и сказал:

— Здорово-те живете... Христос воскрес!.. Ну, каков болящий?

— Христос воскрес, и болящий воскрес...— ответила бабка.— Голос свой подал, оклемался. Вот она, жизнь-то наша...

Но Григорию Иванычу хотелось лишь покоя. Целую неделю пролежал он в лежку. Настроение было мрачное, угнетенное: утонул Пегаш, унырнули под лед сани. В десятый раз вынимал он чудом уцелевшую книжку и едва различал растекшуюся от воды записку, подводил итог погибшим собранным деньгам.

«Девять тысяч двести».

— По какому случаю на чужой подводе?— встретил его хозяин Афанасий Ермолаич и грозно насупился.— А Пегаш где?

— Несчастье со мной стряслось. Едва не погиб. И деньги все потонули... Извините, ради Христа.

Купец откинул с глаз серые лохмы, открыл рот и попятился:

— Сколько ж?

— Да девять тысяч с лишком.

В груди купца захрипело, глаза выкатились, большое бородатое лицо закровенилось.

— Жулик! Разбойник! Грабитель!

Григорий Иваныч вздрогнул, сгорбился, прильнул плечом к стене, чтоб не упасть.

— Что вы, Афанасий Ермолаич... Помилуйте... Сколько лет верой и правдой...

— Вон!! — затрясся, затопал купец, ударил дряблым кулаком в столешницу.— Ты мне больше не слуга... Чтоб духу твоего не было! Вон, вон!!

Шатаясь, выходил из комнаты Григорий Иваныч, в глазах темно, а вдогонку каменным градом убойные слова:

— В тюрьму, сукина сына! В острог! Я те выучу!

Купец, задыхаясь, грузно, как большой медведь, сел в кресло. С озлоблением поглядывая на уставленный иконами кивот, где теплились две серебряные лампадки, хрипло жаловался богу:

— Вот и спасай с такими дьяволами душу: сами в ад лезут и тебя туда же тащат. Тьфу!

Григорий Иваныч, после болезни худой и бледный, растерянно вошел в свой дом.

— Тятенька приехал, тятенька!..— закричали обрадованные ребята.— Христос воскрес, тятенька!

— Воистину воскрес,— сказал Григорий Иваныч, поцеловал жену, детей и заплакал.

Григорий Иванович постепенно впадал с семьей в нищету. Мельник-тесть, на шее которого они сидели, стал с зятем груб, придирчив. И как-то с его языка сорвалось:

— Ежели ты украл деньги, пошто ты их не оказываешь?.. Дармоед, черт паршивый.

Григорий молча терпел.

Весна кончилась, наступило лето. В купце начала пробуждаться совесть. Хотя алчность глубоко въелась в его душу, однако мысль о приближающемся смертном часе, о том, что к концу дней необходимо стать чистым и безгрешным, надо все понять и всех простить,— эта тревожная мысль заставила купца, через упорную борьбу с самим собой, протянуть руку помощи опозоренному приказчику. И он призвал Григория Ивановича к себе.

— Вот что, Гришка,— сказал купец.— Хотя ты без малого и разорил меня, ну только что черт с тобой, прощаю. Посажу тебя на отчет. Езжай в Гриблянку, торгуй.

Расстался Григорий Иванович с родным своим селом, забрал семейство и переселился на новые места. Из кожи лезет, большой оборот купцу сделал, все норовит загладить невольный грех. А обида от купца давно исчезла в его сердце: русский человек памятного зла носить в себе не может.

К Михайлову дню по первопутку прикатил к нему купец-хозяин. Произвел учет,— все в должном порядке было,— и, по приглашению Даши, пошел к приказчику откусать. Купец поест горазд: угостили его на славу. Ну, была, конечно, и подобающая выпивка.

Размяк, рассолодел купец, похлопал опального человека по плечу, сказал:

— Ну, Гришка, будь опять главным у меня. Езжай по епархии деньги собирать, как поп ругу.

У Григория Ивановича задрожали руки, поставил стакан с чаем, в глазах зарыбило: прихлынуло такое к сердцу, что и не скажешь.

— Ведь кто тебя знает, Гришка... Может статься, и все девять тысяч водичку хлебают, а может...— и купец двусмысленно подморгнул приказчику осоловелыми глазами.

— Что?— растерянно замигал приказчик.— Все еще подозреваете?

— Всяко бывает,— хихикнул по-пьяному купец.— Человек, скажем, не ангел. Да...

Очень обидным показалось это Григорию Ивановичу. Эх, дать бы купцу по благочестивой роже! Но пришлось стерпеть: у него не было доказательств правоты своей.

Пьяное лицо купца покрывал пьяный елей. Он набожно пере-

крестился, поцеловал Дашу, поцеловал Григория Ивановича и, рыдая на его плече, сказал:

— Душе своей я не враг. Ты чуть не опанкрутил меня, а я тебя прощаю. Вот сколь я угодный богу человек.

И вот...

Поют полозья легких санок-беговущ, весело работает резвыми ногами гнедой, в яблоках, жеребец; из села в село мчит Григорий Иванович купеческую прибыль собирать.

Не в потайных полозьях теперь прячет он деньги, а за рубашу, в кожаный кисет, разбойные места проезжает засветло, всегда держит наготове о пяти зарядах револьвер.

И случилось ему пересечь низовье все той же памятной реки Прибоя, смертельной купели своей. А тут с полден буран поднялся, метелица. Надо переждать — чего доброго дорогу потеряешь, средь поля поморозишься.

Вот и деревенька Легостаева к Григорию Ивановичу задом повернулась. Через огороды, гумна, огуменники стал в улицу прогоном пробираться. Глядит — у прясла, подле риги, кошевочка аккуратненькая стоит в снегу, и по размерам точь-в-точь его, тогдашняя. Однако никакого внимания Григорий Иванович не обратил — кошевка и кошевка, они все на одну статью, как галки в поле. Так, мелькнуло в мыслях и пропало.

Попросился в избу обогреться.

— Милости просим... Залазь, добрый человек, — сказал мужик Никита, суетившийся, сухопарый, с острыми неприятными глазами. — Вы кто такие будете?

— А по лесной части я, из города, — соврал Григорий Иванович.

— Так, так... Это ничего...

Сели чаевать, железную печку баба затопила, быстрое тепло туго набило избу, а за окнами буран крутил. Григорий Иванович пьет чай, а сердце стучит, надрывается, и леший в уши червонцами звенит, — ну, неудержимо хочется Григорию Ивановичу осмотреть кошевку.

«Ерунда какая... Вот ерунда...» — возражает сам себе. А ноги встали и к двери понесли его.

— Куда?

— Я на минутку... Коня проведать...

Да бегом, через буран, через вьюжную воющую непогоду — к овинам.

Глядь: его кошевка. Ей-богу же его... Его! Надолба, винтики, планка потайная.

«Она!»

Вернулся в избу, дрожмя дрожит, губы прихватил зубами, не держат зубы, чакают.

— Ты что?

— Замерз очень.

— Грейся.

А в избе как в бане. Разморились все, сон стал одолевать: на-скоро поужинали, почивать легли. Ветер бил с налету в стены, избыное высасывал тепло. Тетка Матрена завернулась в шубу, захрапела. Хозяин же и гость, попыхивая трубками, мигали во тьму.

— Спишь?

— Нет.

И путаной околицей Григорий Иваныч хитрую речь повел:

— Слушай-ка, дядя Никита,— начал он, приказав голосу быть твердым, сердцу тихим.— Это твоя рига-то на задах?

— Моя... А что?

— Добрая рига схлопана. Бревнища-то семивершковые, кондач.

— Рига добрая.

— Видать, хозяин ты справный. Корова, кажись, ярославка. И копяга круторебрый, бабка в ноге широкая...

— Мерин добрый... Только ленив, лешева ноздря...

Помолчали.

— Хозяин ты хороший, а вот кошевку возле риги без призора бросил... В снегу валяется.

Никита повернул к гостю голову и, ухмыльнувшись тьме, вяло ответил:

— Кошевка эта приبلудная. Сказывали, быдто нонешней весной, в Кринкине-селе, сто верст отсюда, раскатиловский приказчик в воду умырнул вместе с конем. Все думаю — его. После половодья, как вода ушла, у меня на покосе оказалась эта кошевка-то.

Сердце Григория Иваныча остановилось и вдруг с такой силой заработало, что на висках напряглись жилы и где-то позади глаз стали постукивать тугие огоньки.

— Нет,— сказал он, и голос его поскользнулся, дал нырка.— Нет, я раскатиловскую кошевку знаю... У той задок белой жестью обит. Давай сменяемся...

— Нет, паря, не стану. Самому пужпа. А тебе пошто занадобилось меняться? Твоя лучше.

— Ну, вот и давай. Твоя легче.

— Нет,— уперся Никита.

— Я придачу дам.

— Сколько же?

— Три рубля дам. И бутылку спирту на магарыч.

Проснулась Матрена, сквозь позовки закричала:

— И не думай меняться! Что ты!.. Да нешто можно? Находкой меняться — счастье свое из дому гнать...

— Спи знай! Сча-а-стье... — передразнил Никита жену свою. — Бабыи глупости... стану я тебя слушать... Как же. А вот что, гостюшка желанный: давай пятерку и две бутылки. Идет?

— Идет, — мысленно перекрестился Григорий Иванович.

— Бери... Пользуйся моей простотой, — алчно прищурился Никита и поскреб когтем лопату-бороду.

— Эт ты, чурбан, чурбан! Башка телячья, — заверезжала с печи баба.

Гость и хозяин, как по уговору, гулко захихикали в ответ.

Ранним утром, едва отъехав за поскотину, Григорий Иванович остановил гнедка, опрокинул кошевку вверх полозьями и прыгающими, любопытными руками принялся отвинчивать гайки.

«Неужто Никита догадался, выгреб золото?»

Кровь в лице то холодела, то вскипала. И вдруг...

Сорвал Григорий Иванович с головы шапку, пал на колени в снег, крикнул:

— Царь небесный, батюшка! Даша, ребята, Афанасий Ермолаевич!!

Гнедко всхрапнул и покосился на него. И неизвестно, на крыльях какой волшебной птицы летел Григорий Иванович в свое село, к купцу-хозяину:

— Тпру!

Легким шухом, с легким сердцем впорхнул он в хозяйские хоромы и облегченно, как гиря с плеч, крикнул во все легкие:

— Афанасий Ермолаич, вот! Вот выручка, а вот девять тысяч двести... Те самые... Вот!

И швырнул на стол скрученные в трубочки, чуть проржавленные с краев кредитки — потайные проемы в кошевке были пригнаны плотно. И швырнул два звонких столбика червопцов, — звякнуло золото, заиздевалось: «Сколько, сколько, сколько я испортило вам крови?..» И последний раз устрашительный леший всхохотал, последний раз побренчал обманным золотом и — в чащу. Темный сон окончился, ядреное солнечное утро было, золотые зайчики играли в серебряной бороде купца-хозяина.

Хозяин, так же как и в тот далекий несчастный день, широко разинул рот и выпучил мутные глаза. И пока пересчитывал девять тысяч двести, все головой крутил, чмокал, улыбался. Потом сказал, покаянно всплеснув руками:

— Ну, Григорий Иванович (первый раз в жизни приказчика по отчеству назвал), прости меня, старого дьявола, Григорий Иванович! Вот пока что тебе в награду двести золотом. А эти вот три сотенных бумажки,— они шибко проржавели,— обменяй в городе, в банке. А ежели, допустим, не обменяют по причине порчи, пожертвуй их в Богоявленский монастырь отцу Исидору на вечное поминовение родителей моих. Я бы сам поехал в город, да болен, понимаешь, спина гудит.

— Ну, а если обменяют в банке, жертвовать в монастырь все три сотни?

— Нет, что ты!— испугался купец и повернул к иконам спину.— Сотнягу сунь... Будет за глаза.

Купец в волнении тяжело дышал и расслабленно сел в кресло:

— Плохое мое здоровье стало,— сказал он.— Ноги пухнут.

Григорий Иванович переминался у стола, поглаживая ладонью скатерть. Скатерть грязная, в яичнице, в жирных пятнах от щей, от сала, в красных пятнах от вина. В комнатах неряшливо, одиноко, скучно; пахло ладаном, чадом восковых свечей, лампадным маслом, по грязному полу черный таракан бежал, и солнышко нехотя красило выцветшие мрачные обои на стенах.

— Одышка,— сказал купец; лицо его было испуганно, печально.

Григорию Ивановичу стало жаль купца.

— Вам бы полечиться, Афанасий Ермолаич, да отдохнуть...

— Отдохнуть?— захрипел купец.— А кто будет делом заправлять?

— Дело — бог с ним. Здоровье — главное.

— Не ты наживал, не тебе и учить меня... Ну, ступай, милый, с богом... Ступай, Григорий Иванович...

Тот пошел и сказал от двери:

— Вот вы меня наградили, монахов хотите наградить. А как же мужик Никита? Надо бы и его поблагодарить...

Купец поднялся, крикнул:

— За что? За то, что счастья своего не мог удержать? К черту!

— Тогда я из своих. А то неловко.— И Григорий Иванович вышел.

На другой день купец все-таки велел Григорию Ивановичу отвезти Никите двадцать пять рублей и лошадь.

— Понимаешь, сон я видел... Будто Никита душил меня: «Подай, Кощей бессмертный, деньги». Вот сволочь какая... Отвези, черт с ним.

На той же неделе, утром, Григорий Иванович радостно въехал в Никитин двор.

Сухопарый Никита выслушал, распрямил сутулую спину и побледнел, как полотно. Деньги и лошадь, однако, принял. В избу Григория Ивановича не пригласил, только сказал на прощанье жестким, ледяным голосом:

— Десять тысяч... Ну, ну... А что же ты, пес пархатый, говорил, что по лесной части?.. Эх ты, жулик, жулик. Жаль, что я тебе топором башку тогда не ссек.

На Никиту навалилась смертная тоска. Золото скрежетало в его душе, дразнило, отняло покой. Никита запил горькую. Он никому не обмолвился про свою обиду, пил ожесточенно, одиноко. Вся деревня диву далась — мужик был трезвый. Жена и к попу, и к колдуну — напрасно. После молебна с водосвятием Никита пуще запил. В припадке бешеного буйства он выстегнул глаза подаренному коню и разворотил ему ножом верхнюю губу, конь едва кровью не истек.

Под воскресенье крепко Никита уснул. Матрена обрадовалась: — А ведь, гляди, помог колдун-то...

А утром нашли Никиту в риге. Над самым тем местом, где когда-то стояла купеческая проклятая кошевка, висел на вожжах его жалкий труп.

Афанасий Ермолаич Раскатилов, узнав об этом, перекрестился и, позевывая, назидательно сказал:

— Дурак, царство ему небесное... Правильно в церкви-то поется: «Виждь имений рачителю, сих ради удавление употребивша...» Эх, жизнь, жизнь: пообедай, да и спать ложись. — Он опять зевнул, закрестил рот, пошел в опочивальню.

И в ночь купца не стало. Должно быть, ожесточившийся Никита сорвался с вожжей и придушил его. Купец валялся в спальне на полу. В левой горсти крепко зажаты червонцы, в правой — костяные старенькие счеты, на столе кучки золота. Остановившиеся глаза на темном лице выражали страх и удивление.

Отец Михаил, священник, покивал головой и, горестно вздохнув, сказал:

— Виждь имений рачителю.



*ШУТЕЙНЫЕ
РАССКАЗЫ*



«НА ТРАВКУ»

Яков Мохов, наголодавшись в Питере, выхлопотал в фабричном комитете двухнедельный отпуск и укатил в Краснозвонск «на травку».

— Это ты правильно,— сказал ему товарищ.— Краснозвонский уезд завсегда был сытый. Народ справно там живет. Вот и мне картошки пришлешь.

Ехать было очень голодно: на станциях — хоть шаром покати, пустыня.

Но лишь сошел в Краснозвонске с поезда, какой-то шершавый дядя с кнутом вырвал у него восьмушку махорки, сунул в руку полкаравая хлеба фунта в два, а тетка за маленькую катушку ниток дала десяток вареных яиц.

Яков Мохов весь расцвел.

— Господи... Вот так чудеса!— сел на лавочку да все без запинки и скушал.

— Полный резонт...— сказал он самому себе и в веселом настроении пошел на рынок: день воскресный, как раз базар.

Зычно бухали колокола к поздней обедне — церковей в городе много; зеленели сады, ласточки с веселым гамом резали воздух; к базару тянулись подводы; лошади откормленные, гладкие, народ приветливый и сытый.

А вот за мостом, у собора, и базар. Торватый прасол продает целое стадо домашних уток, вот две большущих бочки масла, творогу, возы яиц. Хотя цены высокие, но у возов хвосты — всяк пить-есть хочет.

Местные жители на чем свет ругают приезжих питерцев, которые ходят гурьбой по базару, у каждого за плечами мешок, в руках сумка со всякой всячиной: чулки, брюки, чашки, часы, сукно, ситец.

— И чего их пускают сюда? Гляди, как набивают цены-то. Приступу нет.

— Захочешь есть, так... Поди-ка побывай в Питере-то, нюх-ни-ка!.. Нужда гонит.

— У вас заработки. А у нас что?

— Заработки... Велики наши заработки.

Яков Мохов наблюдал все это издали, прислушивался, при-сматривался, наконец и сам принял участие.

Он подошел к рыжебородому, маленькому, похожему на кол-дуна, старичонке:

— А почем картошка?

— Картошка?— переспросил тот, хитроумно взглянув на по-купателя, и поскреб под бородой.— Картошка у меня серебрян-ка называется, не скороспелка. Прямо с гряды. Вот какая кар-тошка-то... Сахар! Триста целковых мера.

— Дорого.

— Дорого?— опять переспросил старик сердито.— Зато в го-роде. Не хочешь, не бери.

— Как это не бери? Я есть хочу!.. Чего тебе картошка-то стоит... Groш она стоит. Мародер этакий.

— Стой, стой! Ты не лайся... Ну, ладно, взял я, скажем, три-ста рублей с тебя,— а что я на них могу купить? Ну-ка, скажи! Три фунта соли. Понял?

— Верно, верно!

Кругом загалдели, собиралась толпа.

— Вот рубаху сейчас купил!— крикнул парень.— Пятьсот рублей. А она греет, что ль? Ситец!

— Лошадь — тридцать тысяч! Колесо — две тыщи. Коса, уж на что коса и та шестьсот. Ха!

Яков Мохов улыбался, глаза его сверкали.

— Вот у тебя, я вижу, сапоги новые обуты,— задорно сказал старик колдун и подбоченился.— Во сколько их ценишь? В три тыщи? А я кладу за них четыре рубля с полтиной, как до револю-ции, а свою картошку — пятиалтынный мера. Это сколько же вы-ходит? Тридцать мер? Так и есть... Вот получай тридцать мер да разувайся, ежели на то пошло! Желаете?

— Ха-ха-ха! Разувайся, товарищ, разувайся!— подзуживали рогозен.

— Заплачешь ведь!— возвышая голос, чтоб заглушить под-нявшийся шум и хохот, говорил Яков Мохов.— Спятишься, ста-рый хрен... Ведь тридцать мер, ежели по три сотни — девять ты-сяч выходит, а я три прошу. Взвоешь ведь!

— Кто, я? Ничего не взвою. Разувайся, и никаких!

— Не валяй ваську-то! До старости лет дожил, а дурак.

— Может статься, и дурак, да не дурашней сына твоего батюшки.

— Ха-ха-ха!..

— А где у тебя картошка-то? У тебя и картошечки-то полторы меры.

— Поедем. Живо накопаю. У меня две девки!

— Где ему?— подзуживали зеваки.— Он только бахвалится. Поди и сапоги-то не его, а для прогулу взял.

— Известно, не его!— подмигнул старик зевакам.— Ему и во сне-то не снилось таких собственных сапогов носить.

— Ишь, ишь покраснел как!

— Едем, черт ты дери, едем!!— крикнул взбешенный Яков Мохов и залез в телегу к старику.

Вышло чудно как-то и нелепо. Ну, для чего он продал сапоги? И куда ему тридцать мер картошки? Ему масла надо, крупы, яиц, хлеба.

Тьфу!.. Он с досадой посматривал на сутулую спину колдуна, на его хитрые, с прищуром, глаза, на клокастую рыжую, с сильной проседью бороду.

Но лишь только выехали за город, досады как не бывало. Кругом лежали желто-золотистые нивы и зеленые поля, виднелись рощи, перелески, то здесь, то там белели церкви. Воздух насыщен пряным густым теплом, солнце склоняется к западу, по шажитям чинно расхаживали грачи, а в выси все еще звенели песни жаворонков.

— Ух, ты! Давно я не был в деревне. Я ведь тоже из мужиков.

— Так-так-так... Само хорошо,— живо откликнулся старик.

— А служу на фабрике в Петербурге.

— Так-так-так... Благодарим покорно... Оно и видать: краски-то никакой в лице нету... А кость широкая. Поди харч плохой?

— Ну да... А после пасхи в больнице месяц вылежал.

— Так-так-так... И чего вы, ребята, например, все мутите? За дело бы надо. Нешто это жизнь?

— А тебе плохо? Наверно, помещичью землю поделили? А?

— Насчет землицы — это правда, землица отошла к нам от барина добрая. Благодарим покорно... И лесок есть, и сад, а яблоки — во!— в два кулака другой не уложишь, да еще пасека... Все под мужиком теперича!

Старик свесил с телеги ноги, покрутил головой и скрипуче засмеялся, его маленький круглый носик совсем потонул между толстых лоснящихся волосатых щек.

— Вспомнил штуку... Хошь — расскажу? Тут в пятом годе такая канитель вышла с помещиком-то нашим, что страсть. Погромешко, вишь ты, мужики-то устроили, то есть все покострячили — дым коромыслом! А я поопасался ехать, как бы чего не вышло, думаю. Одначе баба забранилась: «Дурак, грит, ты... Эвот, люди возами добро возят. Грыжа, грит, ты собачья!» Оделся я, поехал. А там уж и взять нечего: что муку, что небиль, али платье — все расхватали, чисто под метелку. Нет, думаю, надо, что ни то и мне, а то — старуха глотку переест. Гляжу — чан большущий, дубовый, ведер на сорок, на боку лежит. Я его в сани, грузный черт, аж становую жилу надорвал. Вот поворотил я с ним домой, да и подумал: «А на кой леший мне чан?» А сам глазом шарю, нет ли еще чего билизовать: значит, в антирес входить начал. Гляжу, кобель барский, тощий такой, согнулся в дугу, будто стрючок, шуба-то на нем короткая, а мороз. И стал я за ним гоняться, ну вступило в мысли поймать да и поймать. Чисто ошалел тогда. То ись до того упрел, гонявшись, аж душа вон. Одначе изловчился, пал на него, а он меня цоп за нос! — едва не отгрыз. Скрутил я его кушаком, да в чан-то и посадил, и сам туда залез, а кушак-то вокруг себя, чтобы, значит, не убег кобель-то. И поехали мы с ним, благословясь, домой, как сенаторы. Вот ладно. Вдруг откуда ни возьмись — черкесцы — у соседнего барина, слышь, служили они, — за мной... Я как начал нахлестывать кобылу-то, они за мной. Ке-эк в это времечко дорога крутанула, сани верх копыльями, все на свете перекувылилось, тут нас с кобельком чан-то и накрыл, двух дураков. Живым манером это черкесцы опять чан перевернули и почали меня плетками драть. Дерут, а мне смешно: кобелишко-то со страху кушак мог оборвать, да как сиганет, отбежал в отдаленье, да ну гавкать дурноматом. Тут и черкесцы засмеялись, ей-богу право, бросили меня драть-то. Я встал на ноги, один как порснет мне в морду кулаком, я опять слетел. Только было подымусь, как порснет по уху, я опять в снег башкой. Я караул заорал, взмолился. Бросили. Распрощался я тут с ними честь по чести и пошел ни с чем домой, потому кобыленки и след простыл. Иду да кровью отплевываюсь, зуб мне вышибли, самый клык.

Старичонка долго хохотал, подстегивая лошадь; грустно улыбался и Яков Мохов.

— Вот видишь, — сказал он старику. — Разве это порядок? А теперь кто тебя пальцем может пошевелить? Никто.

— Как есть — никто! — Старик помолчал и сказал раздумчиво. — Оно верно, что с этим уставом с теперешним можно было бы жить, кабы удовольствие... А то, вишь, никакого удовольствия: ни тебе сахару, ни чаю, ни гвоздя. Тьфу! Эвот селедка, уж на

что дерьмо и та в сотню въехала. А бывало, на сотню-то две коровы да коня купишь.— Он ударил себя кнутом по голенищу, зашурислся и закрутил головой.— И деньжищ энтих теперя у всех крещеных — гибель! А впрочем,— что в деньгах? Бумага и бумага... А удовольствия никакого тебе нету. Да-а... Так-так... Ну вот, например, вы, фабричные — коего черта, прости бог, не вырабатываете ситцы да сукно? Оглашенные вы эдакие, будьте вы неладны!— вдруг переменяв тон, крикнул старик.

Лицо его стало строго, но глаза смеялись.

Яков Мохов ответил не сразу. Долго глядел на него в упор, потом сказал:

— Темный вы народ, жадный. Вам бы только в брюхо все. Есть селедка в аршин величиной, есть ситный, вот мужику и хорошо. А что ежели его в зубы урядник лупцевал, да землишки было — кот наплакал,— это мужик забыл. Вот ты плачешь, что фабрики стоят. А где взять хлопка, угля, нефти, железа? Ведь все это тю-тю от нас! Поди-ка повоюй, говорят.

— Ране было же.

— Так зато раньше и помещик был. Раньше и исправник был, и земли у тебя не было. Ну что, ежели тебе дадут, к примеру, сто аршин ситцу, двадцать аршин сукна, пуд мыла да пуд сахару и скажут: получай, только помни, все обернется по-старому, снова будешь не хозяином, а холуем последним. Согласишься?

Старик вздыхал, крутил головой, покрывал, потом сказал:

— Нет!— и нахлобучил шапку.

— Ну а ежели водки еще в придачу? И бочонок самолучших сельдей? А? — улыбнулся Яков.

Старик захохотал и мрачно сплюнул:

— Благодарим покорно... Ха-ха-ха! Вот так загнул загадку. Водка! А?! Да у меня своя брага сварена, ей-богу право. Вот приедем, угощу. Эвот и село наше.

Через полчаса сидели за самоваром. Две девицы — Дарья с Марьей, одна другой краше — наперебой потчевали гостя:

— С преснущечками-то, с соченьками-то... Уж не взыщите, мы по-деревенски.

И хозяин весело покрикивал:

— Намазывай толще маслом-то, не жалей, не купленное. Эй, Марья, а ну-ка в погреб, бражки бы похолодней!

С крепкой браги Якова бросило в краску, и в глазах замелькало.

«Этакая благодать,— подумал он,— вот бы пожить-то где»,— и поддел на ложку густого пахучего меду.

— Живем, благодарю покорно, ничего... — громко чавкая и запивая брагой, сказал старик. — Только вот в чем суть: бог урожай послал очень даже примечательный, а убираться не с кем: я стар, а девкам одним не управиться... Вот беда-то...

Яков Мохов поставил на стол блюдо и несмело сказал:

— А что, ежели я бы? Насчет работы-то. Я могу.

— Да ну? — вскричал захмелевший старик. — Ах ты, ясён колпак... Яков Иваныч, друг!... Неужели остался? А уж насчет жратвы мы тебя побережем, то ись так будем ублажать, ну, прямо лопнешь по всем пунктам. А девки-то, девки-то у меня — малина!.. — Он подмигнул на зардевшихся девиц и вдруг: — А ты женатый?

— И не думал.

— Ну?! Право слово? Девки, слышали?

Девки зарделись пуще и заходили козырем, грудь вперед, как на подносе.

Хозяин захихикал скрипучим смехом, подскочил к сундуку:

— Раз! — выбросил он новые сапоги. — Первый сорт, со скрипом... Два! — выбросил другую пару. — Три, четыре, пять — это девкины! Нна! Уж насчет обуви — извини — вполне имеем. Ха-ха-ха! Уж извини. То ись надул я тебя, Яков Иваныч, вот как... То ись на рынке-то. Не сапоги твои, ты мне нужен, ты! Приглянулся ты мне: большой да широкий. Дай, думаю, уманю. Ха-ха-ха! Благодарим покорно. Оно как по писаному и обернулось. Чисто камедь... Ах ты, ясён колпак. Дарья, браги!! Марья, ходи веселей! Не зевай, девки, холостой ведь он...

Яков Иваныч улыбался,

ЭКЗАМЕН

— Ну, так как? Это ваше последнее слово, Надюша?— выразительно спросил Утконогов.

— Да, самое последнее... Вы сами посудите, Петр Федотыч... Я, конечно, за кондуктора пошла бы, но страсти боюсь, что вы на экзамене обрежетесь.

— Пожалуйста, в смысле экзамена не сомневайтесь. Например, я все выдолбил как нельзя лучше. Вот разбудите меня в самое ночное время и задайте вопрос...

— Ах, что вы говорите!.. Разве я могу, будучи, без сомнения, девицей, будить в ночное время спящих мужчин во сне... А вдруг вы вскочите и замест экзамена начнете мужские глупости... А вот я вам, Петр Федотыч, прямо отвечаю: ежели вы, без сомнения, провалитесь, то за меня сватается один солидарный женишок.

— Кто такой?— оторопело спросил Утконогов.

— Да уж есть,— кокетливо протянула Надюша; круглые, нажеванные щеки ее налились улыбкой, как яблоко.— Сватается за меня Кузьма Ефимыч Жеребяткин... Они не советуют за вас выходить, а я, без сомнения, напротив...

Утконогов шел домой в большом волнении. Да, черт ты ешь, этот самый Жеребяткин конкурент по всем статьям. Этот самый Жеребяткин не кто иной, как нарядчик кондукторских бригад. Вот кто Жеребяткин. И Надюша, видать, не промах: у Жеребяткина хозяйство ай-люли, одних свиней штук пять. Ах, дьявол!

— Ну да ничего...— сказал он вслух.— Ведь экзаменатором-то мой знакомый техник назначен, Лебеда.

Через два дня Петр Федотыч отправился на экзамен и зашел к невесте.

— Ах, до чего вы интересные собой,— сказала девушка.— Только смотрите, как бы не сбили вас. Такой вопрос поставят на ответ, что... Например, меня на экзамене в комячейке спросил инструктор: а где живет Карл Маркс? Я сказала: они померши. А мне сейчас же опровержение: Карл Маркс живет в сердцах

пролетариата. Представьте! Я, без сомнения, не могла знать, и чрез эту неприятность чуть не слегла в обморок.

Петр Федотыч весело расхохотался и сказал:

— Этих паник я не признаю. А раз вы жили в городе у генеральши, позвольте облобызать вашу ручку, мадмазель.

И пошел через село на станцию в полном душевном равновесии.

Но, отворив в контору дверь, он вдруг оцепенел: за письменным столом сидел старший слесарь усач Григорьев и вместо знакомого техника нарядчик кондукторских бригад Жеребяткин. На мгновение в мыслях пораженного Петра Федотыча промелькнула с язвительным хохотом Надюша, он в страхе зашевелил губами, его усы сначала поднялись кверху, потом загнулись назад, как у моржа.

— Заставляете себя ждать,— сухо встретил Жеребяткин и оправил свой новый красный галстук.

— Извиняюсь, у меня часы отстают,— убитым голосом промямлил Утконогов и подумал: «Боже, боже... Он экзаменатор. Прощай, Надюша!»

— Прошу занять место... Напоминаю, что экзамен поведу по всей строгости, согласно экономических потребностей и вообще новых веяний во всех подобных начинаниях, а также будучи идеологическая подоплека. Итак, приступим.

Нарядчик Жеребяткин говорил хотя высокопарно, но вяло и скрипуче, точно стонал. У него флюс, адски болели зубы.

У Петра Федотыча екнуло сердце, но он овладел собой и ответы давал с треском, правильно, четко и толково. Нарядчик Жеребяткин недовольно кричал.

Прошло больше часа. Все трое взмокли от напряжения и жаркого солнечного дня.

Почти вся инструкция блестяще исчерпана. Петр Федотыч даже сверх программы изобразил карандашом схематический чертеж сцепления вагонов обыкновенной и уленгутовской стяжкой.

— Я полагаю, довольно бы... По-моему, товарищ Утконогов выдержал и заслуживает кондукторского звания,— сказал Григорьев, облизнув пересохшие губы.

Утконогов заснял, ему ужасно захотелось расцеловать Григорьева.

— Что? Как это довольно!— оживился Жеребяткин.— А вот мы испытаем, на сколько градусов у него котелок варит.— При этом нарядчик Жеребяткин так сильно засопел, продувая поздри, что подвязанная к флюсу вата полетела клочьями.

— Отлично. Хорошо,— сказал он, хватаясь за больную щеку.— А вот, например, в товарном вагоне везут покойника. Что это: живность или груз?

«Ну, на этом-то не собьешь меня», — подумал Утконогов и бойко ответил:

— Никакой покойник не может почитаться живностью, раз он умер. Живность шевелится и чуть что — должна поднять крик. Например, корова издает вроде мычання, петух поет. Под товар тоже подвести нельзя, все-таки это бывший человек, и в смысле товарооборота не может быть и речи. А просто — покойник. Довольно странный, сбивчивый вопрос.

У экзаменатора глаза стали круглыми и завертелись.

— Ну, так, — сказал он. — А вот что значит: находясь на службе, кондуктор должен являться в трезвом состоянии? Что обозначает трезвое состояние? Например, я могу выпить ужасно много, и как только начинаю ругаться на татарском языке, значит — стоп. А другого с трех рюмок развезет. Как тут сопоставить?

Григорьев хихикнул в рукав, а Петр Федотыч, чуть подумав, ответил:

— Трезвое состояние значит, когда человек не шатается, не ругается и все понимает.

— Так это и Григорьев, ежели окончательно будучи напьется — не шатается, не ругается, а сразу ляжет на обе лопатки, как бревно, и все понимает.

Григорьев опять хихикнул и сказал:

— Это к инструкции не касаясь, к чему же сбивать?

Но Петр Федотыч нашелся:

— Трезвый — значит ничего не надо пить.

— Извиняюсь, — сердито запротестовал экзаменатор. — Такого правила в инструкции не сказано, чтоб из общества трезвости. Ну, ладно. Этот вопрос спорный и вытекает из крепости естества. А вот... — И он задумался. — Вот скажите мне, что надо делать, ежели в поезде есть вагоны с негашеной известью?

— Я должен убедиться, — начал Петр Федотыч слово в слово по инструкции, — что в этих вагонах нет щелей и дыр и люки закрыты настолько плотно, что устранена всякая возможность проникновения в вагоны дождя, снега и тепе́.

— Что, что? Это что за «тепе́» такое? — изумился экзаменатор и стал перелистывать инструкцию.

— Я и сам призадумался, — грустно ответил Петр Федотыч. — Чистосердечно сказать, не понял. Но безусловно — сырость, раз известь негашеная. Я так полагаю, что озорники, которые ездят на крышах, например, во время революции... И прямо, извиняюсь, с прыш это самое... А в крышах, конечно, щели. Ну, и потекé.

— Тыфу ты! Ничего ты, сударь мой, не понимаешь. Тут про-

печатано: дождя, снега и т. п., то есть — и тому подобное, а отнюдь не и тепе́.

— Я не знал. Тут неясно...— упавшим голосом проговорил Утконогов.

— Ага, неясно!— обрадовался Жеребяткин.— Это не ответ. Для кондуктора все должно быть ясно.

Григорьев твердо сказал:

— Протестую. По моим соображениям, какая же может быть сырость, кроме снега с дождем? Ответьте мне сами-то, товарищ Жеребяткин.

— Сырость?— заносчиво проговорил Жеребяткин.— Сырость может быть всякая. Мало ли какая сырость бывает...

— Например?

— Ну сырость... Мало ли там. Сырость — это... Ой, ой... Батюшки, стрельнуло как!— Он схватился за щеку и, весь перегнувшись, побежал по комнате, широкоплечий, приземистый, с брюшком.

А слесарь Григорьев резонно говорил:

— Как я осистен, то подписываюсь руками и ногами под ответом товарища Утконогова. Ответ правильный. Кроме как от безобразий, никакой сырости в естественной природе и не обнаружено вредной для извести. Вопрос исчерпан.

— А вот,— раздалось от окна, и Жеребяткин прикултыхал на место.— А вот ответ. Сидишь ты в порожнем отделении и побился, скажем, об заклад с другим кондуктором. Ты говоришь: «На таком-то перегоне поезд обязательно сойдет с рельс». А тот отвечает: «Нет, не сойдет». И действительно, поезд прошел благополучно, и ты проиграл. Хвать, а денег-то и нет, заплатить-то и нечем. Ты бежишь в почное время, когда все спят, и начинаешь вежливо трясти свою мать и говоришь ей в сонном виде: «Матка, дай-ка скорей деньжат!»

— Никак нет,— возразил Петр Федотыч.— В силу параграфа тридцатого кондуктор не должен без надобности беспокоить пассажиров, особенно ночью.

— Но, во-первых, не без надобности, а во-вторых — это же твоя родная мать?..

— Это меня не касается. Ежели, скажем, мой отец, покойник, придет с того света да начнет в вагоне стекла бить, я и отца на ближайшей остановке вышвырну в вежливой, но твердой форме. Во-вторых, согласно параграфа пятнадцатого, я не имею права занимать порожние отделения.

— Так, так. Ну что же, все? Хорошенько обдумай мой вопрос. Утконогов подумал и сказал:

— Да, все.

Нарядчик Жеребяткин вильнул бритой, в ермолке, головой и пристукнул в стол ладонью.

— Ага, все? По-твоему, все? А вот и врешь. Как же ты смеешь, черт тебя бери, биться об заклад, раз у тебя на перегоне не благополучно?.. Извольте радоваться, вместо того чтобы подать на паровоз тревожный сигнал, он, каналья, бьется преспокойно об заклад и идет как ни в чем не бывало будить родную мать, а тут поезд через три минуты должен кувырнуться!

— Ага, конечно... Я сейчас же...

— Ах, сейчас же?! Нет, брат, поздно! Поздно, черт тебя дерь!! Что у тебя там было на путях? Шпалы выворочены, рельс развинчен или бык лежал? Отвечай!!

— Откуда же я могу знать?..

— Ах, вот как! Он, каналья, бьется с каким-то паршивым ослом об заклад и не знает, почему бьется?.. Харррашо-о-...

— Я протестую!— крикнул слесарь Григорьев и весь взъерошился. Его глаза на прокоптелом лице сердито белели.— Ерунда какая-то! Он же инструкцию отлично знает, а вы нарочно запутываете. Прошу задавать вопросы по существу понятий, а это уже вроде как тенденция. И, кроме того, остается недоказанным, что он каналья. Я протестую. Прошу называть товарищем. И на «вы».

Такое заступничество растрогало Петра Федотыча. Губы задрожали, на глазах показались слезы.

— По-моему, довольно,— авторитетно сказал Григорьев.— Вполне достоин своего звания. Заявляю, как осистен.

— Последний вопрос, самый понятный, незапутанный,— проговорил экзаменатор и весь хищно сжался, как на мышонка кот.

— В вашем вагоне, товарищ Утконогов, едет беременная женщина. Понятно? И вот она случайно родила двойни, что вполне допустимо инструкцией. Понятно?— мотнул он головой Григорьеву.— Ну, вот. Что же вы, товарищ, должны сделать? Скорей, скорей...

Петр Федотыч потер лоб, быстро припоминая всю инструкцию.

— Я должен разыскать кондуктор-фельдшера; если такового не имеется, я должен... Больше в инструкции ничего не сказано...

— Надо шевелить мозгами! — почти крикнул Жеребяткин.

— Я, конечно, буду искать бабушку промежду пассажиров, которая повитуха. В случае неимения налицо таковой, буду умолять всякую попавшую женщину...

— Ну, ну!— торопил Жеребяткин.

— Ежели таковой не повстречалось бы во всем поезде, что невозможно допустить... Я кой-как... конечно, я не спец по части новорожденных младенцев, но...

— Чушь! — оборвал Жеребяткин. — Совсем не то.

— Я на первой же остановке честно, благородно, соблюдая вежливую форму, должен отнести роженицу в приемный покой, а также двух появившихся младенцев.

— Чушь, чушь! — торжествующе сказал Жеребяткин. — Далеко не в этом суть вопроса.

Петр Федотыч в замешательстве переминался с ноги на ногу. Слесарь Григорьев поспешно вышел в другую комнату и пома- нил пальцем Жеребяткина.

— В чем суть? Я тоже ничего не понимаю... — тихо и конфуз- ливо спросил он.

— Да очень просто, — весело подмигнул Жеребяткин. — Ведь младенцев-то два... Понимаете? Ежели б один, ну, тогда он прав... А то два...

Когда Жеребяткин до конца объяснил в чем дело, Григорьев сквозь сдержанный смех воскликнул:

— Ах, ерш те в гайку! Совершенно верно!.. Хы-хы-хы...

— Надо скорей кончать, — сказал Жеребяткин, ковыряя спич- кой зубы. — У меня рукобיתье сегодня... Надюшу-то Дроздову знаете?

— Поздравляю, поздравляю...

И оба вышли фертм к взволнованному Петру Федотычу.

— Ну что ж, знаете?

— Никак нет.

Слесарь Григорьев, совершенно неожиданно для Петра Федо- тыча, крепко и внушительно сказал:

— Стыдно этого не знать, товарищ! Это даже дураку ясно. Какой же ты после этого, к чертовой матери, кондуктор?

— В чем же суть? — весь уничтоженный, продрожал голосом Петр Федотыч.

— Ты должен, — поднимаясь и рубя ладонью воздух, стал чеканить Жеребяткин, — после установленного факта в рожде- нии, ты сейчас же должен стретбовать с этой самой мадам допол- нительный билет. Один младенец бесплатно. А ежели два обра- зовались в поезде, это уж целый билет дорога заработала. Итак, резюмируя способности мозгов, ты чрез полгода можешь явить- ся для вторичного экзамена об это место.

Петр Федотыч качнулся, мотнул головой и, сдерживая гнев, угрожающе сказал:

— Ну, в таком разе мы с вами, гражданин Жеребяткин, по- считаемся... Я найду правду. Теперь не прежние времена... Так влетит, что...

И экзаменаторам действительно влетело.

СМЕРТЬ ТАРЕЛКИНА

— К черту,— сказал сам себе Петр Иванович Тарелкин, прикултыхав домой с трудповинности, и бросил в угол лопату.— Так больше жить нельзя. Это не жизнь, а каторга... Хуже! Это хождение преподобной Феодоры по мукам. Хуже...

Он снял с правой ноги стоптанный сапожишко и осмотрел ступню: так и есть, большой палец посинел и вспух. Руки тоже поцарапаны, и рассечена бровь. Он размотал веревку, служившую ему поясом, швырнул ее под кровать, сорвал с плеч дырявую бабью кацавейку и долго шагал взад-вперед в одном сапоге, припадая на больную ногу.

— Ха, транспорт... Вози им песок из карьера, балласт...— бубнил он, тараща озлобленные мутные глаза.— А зимой дрова заготовляй на железку, для общественных портомоев проруби долби, окопы рой... Тьфу! Черт бы их драл.

Петр Иванович остановился и так свирепо потряс кулаками, что рыжие длинные космы его заплясали по острым плечам. В эту минуту, взлохмаченный, дикий, грязный, он напоминал допившегося до чертиков дякона.

В изнеможении он повалился на кровать и сердито запыхтел.

— И завтра, и послезавтра все то же, то же. Может быть, еще десять лет такую волюнку тянуть придется... Это с больным-то сердцем.

Но настроение его вдруг резко изменилось: по испитому длинному лицу проползла улыбка, большой кадык на хрящеватом горле судорожно запрыгал, фиолетовый нос весь наморщился, засвистел и затрясся в смехе.

— Гениально! Гениально!— радостно воскликнул Петр Иванович и ударил себя ладонью в лоб.

Отворилась дверь. Петр Иванович поспешно придал лицу вид безвинно пострадавшей жертвы и закрыл глаза.

— Петруша! Да что ж ты, голубчик, развалился-то,— чуть гнусава, сказала Фелицата Николаевна и стала разматывать с головы шаль,— хотя бы рассаду полил, ведь завтра некогда, завтра ты назначен на заготовку шпал. Милицейский с бумажкой приходил.

— Не пойду,— равнодушно сказал Петр Иванович и густо, но без всякого выражения сплюнул.— Я — бывший соборный регент, а не батрак. К черту!.. Я им больше не слуга... Арестант я, что ли?

Треугольное личико миниатюрной Фелицаты Николаевны побелело.

— Да, никак, ты рехнулся, Петруша! Да ведь по нынешним временам за это могут расстрелять!

— Как это меня могут расстрелять, раз я умру,— загробным голосом проговорил Петр Иванович.

Жена испуганно задвигала бровями.

— Как, Петрушенька, умрешь?

— А очень просто: вот вытяну ноги и умру... Вон какие перебои в сердце.

Фелицата Николаевна уронила на пол шаль и криво опустилась на стул.

— Нет, довольно!— вскричал Петр Иванович басом и так свирепо шевельнулся, что кровать заскрипела под ним, как коростель.

— Вместо того чтоб этак мучиться, Фелицата Николаевна, лучше раз навсегда покончить все расчеты с жизнью.

Обомлевшая женщина метнулась взглядом по широкому полу, по веревке, по здоровенному крючку, где висела лампа-«молния», и враз замелькали перед ней хрипящие призраки.

— Ты не имеешь права умирать!.. Ты не смеешь руку на себя накладывать!— И лицо ее перекосилось от ужаса.

«Очень любопытно, черт возьми»,— едва сдерживая смех, подумал Петр Иванович.

Но ему стало жаль жену, и он сказал:

— Дурочка... Фелицата Николаевна... Я ж пошутил. Я умру не по-настоящему. «Смерть Тарелкина»-то смотрели,— пьесу-то, помнишь? Недаром и фамилия у меня такая же — Тарелкин.

Фелицата Николаевна сидела с разинутым ртом и ничего не понимала.

На другой день она заявила в отдел учета рабочей силы. От волнения лицо ее горело, руки тряслись, по груди и животу ходили волны робости.

Безусый заведующий поправил кепку и ткнул в яичную скорлупу окурков.

— Вам, гражданка, что?

Пишущие машинки трещали с ожесточением, очаровательная блондинка пудрила пуховкой нос и щеки.

— Извиняюсь, товарищ,— начала Фелицата Николаевна, потряхивая головой, задыхаясь.— Я пришла доложить, что мой муж, товарищ Тарелкин, и вчера не был на трудовой повинности, и сегодня не пойдет, да, может, совсем не будет ходить.

Юноша засопел, лицо его стало как уксус.

— Ха!.. Значит, с вашей стороны донос? Очень приятно... Садитесь, гражданка... Ваш адрес? Я сейчас пошлю арестовать его.

Машинки вдруг замолкли. Пуховка в очаровательной руке остановилась.

Фелицата Николаевна впилась руками в край стола.

— Что вы, товарищ!.. У него понос, холера у него. Он вот-вот умрет.

— Холера?— Брови молодого человека взлетели вверх.— Тогда его немедленно надо в заразные бараки. Грибами, что ли, объелся? Сейчас я позвоню.— И рука его потянулась к телефону.

— Ради бога! Не холера у него, извиняюсь. Я перепутала, просто я от неприятности вся трясусь.— Фелицата Николаевна окончательно потеряла нить мыслей.— Он нес дрова, упал и разбил себе голову... Теперь в беспамятстве, сорок два градуса жару.

Лицо юноши стало как горчица, потом — как игривый квас.

— Не упали ль вы сами, гражданка, на голову?— Губы его кривились в улыбке.— И что вам наконец от меня угодно?

Фелицата Николаевна беспомощно вытаращила глаза, как бы припоминая цель своего прихода.

— Товарищ!— вышла она из оцепенения.— Извиняюсь, товарищ, извиняюсь. Я пришла заявить, что мой муж, гражданин Тарелкин, извиняюсь, при смерти.

Она выходила на цыпочках и косолапо, барышни провожали ее улыбками, а когда скрылась, начальствующий юноша сказал кокетливым баском:

— Ненормальная дура.

Их городишко небольшой. Жили они во флигеле на одиноком пустынном огороде. Петр Иванович было разделал пять гряд под картошку и всякую всячину, а тут, пожалуйста, шпалы. Ха! А не желаете ли вы фигу?!

Петр Иванович на третий день благополучно умер.

Фелицата Николаевна, в черном платочке, двое суток без передыху бегала по всем надлежащим местам. Наконец все документы выправлены, и покойный гражданин Тарелкин был навсегда вычеркнут из списка живых.

Петр Иванович целую неделю со всем усердием копался на огороде. Погода солнечная, все зазеленело. Скворец в скворешнике гоготал, словно молодой жеребчик, и заливался свистом, как ямщик на облучке.

Эх, как это прелестно, что Петр Иванович умер! Для кого умер? Для них, а не для себя. Теперь знай работай. Кто из знакомых на такой пустырь придет? Полная гарантия. Отлично, гениально!

Как-то попала Петру Ивановичу в руки старая газета. Прочел, и глаза его засверкали.

— Да ведь мы — чурбаны, колпаки! Мы прозевали изрядную выдачу... Не угодно ли: на саван столько-то аршин. На траур столько-то... Гроб из заготовительного склада; в случае отсутствия такового — выдается денежная себестоимость. Срок получения десятидневный. Боже мой, сегодня последний день!..

А Фелицата Николаевна как на грех уехала в деревню за мукой. Усопший Петр Иванович немедленно составил подложную доверенность от лица жены на имя несуществующего двоюродного дяди, Антона Огурцова, нахлобучил шляпу грибом на самый кончик носа, отхватил ножницами половину бороды, нафабрил ее черным жениным фиксатуаром, отчего рыжая борода стала темно-зеленой, и под видом гражданина Огурцова, предвкушая большой барыш — недаром всю ночь вошь снилась, — корыстолюбиво зашагал по пыльной улице.

«Господи, как бы не влопаться», — с ноющим чувством подумал он.

Но когда поднялся в присутствие и внимательным взглядом окинул лица всех служащих, от сердца отлегло: ни одного знакомого человека.

Заявление его все инстанции прошло благополучно: двенадцать виз с росчерками и печатями так исполосовали все свободные места бумаги, что негде клюнуть курице, и вот, в конце занятий, когда служащие похватались за картузы, ему вручили ордер на получение, сказав:

— Бегите скорей вон к тому оконцу... Без двух минут четыре... Может, успеете.

Петр Иванович совсем по-молодому, — даже приподнял темные, нарочно надетые очки, — подъехал, как на лыжах, к загородке и сунул в оконце ордер:

— Ради бога... Вот!..

Но его протянутую руку вдруг схватила за решеткой для дру-

жеского пожатия неизвестная рука, и знакомый голос произнес:

— А, Петр Иванович!.. Здравствуйте, милый человек.

И обе головы, одна перепуганно, другая любопытно, так порывисто нырнули друг другу навстречу, что в самом оконце сильно стукнулись лбами и едва не поцеловались.

Петр Иванович в страхе отпрянул, как от вставшей перед ним змеи, выдернул руку, волосы на его голове зашевелились, и, словно в тяжком сне, он прирос к месту.

Из оконца высунулась широколобая лысая голова с черными височками и не то подозрительно, не то приветливо осклабилась в самые очки усопшего.

— Однако что же это такое? Вы, должно быть, хворали, вас нельзя узнать, Петр Иванович! А?

— Вы ошибаетесь... Я совсем не Петр Иванович... Петр Иванович Тарелкин помер... Вы ошибаетесь. Я — Антон Огурцов — дядя.

Но голова, очевидно, не слыхала. Она на мгновение поджала бритые сухие губы и вновь растеклась в улыбке, на этот раз определенно ядовитой.

Петр Иванович словно окунулся в ледяную воду.

— Позвольте мне обратно ордер, — забормотал он. — Тут ошибка... Ради бога, ордер...

— Ордер? Он регистрируется... Сейчас, сейчас... Кто ж у вас умер, Петр Иванович? Уж не супруга ли?

Голова унынула за решетку и близоруко стала водить по ордеру острым носом. Вдруг рот головы вытянулся ижицей, брови заскакали по лбу вниз и вверх, уши и черные зачесы на височках задвигались.

— Гм!.. — зловеще сказала голова, щелкнула кистью руки по ордеру и, как торпеда, выбросилась в оконце. — Гражданин Тарелкин!..

Но на том месте, где стоял Петр Иванович, была совершеннейшая пустота.

Вечер. Покойник с собственной вдовой, только что вернувшейся из деревни, пили морковный чай. На покойнике лица нет, руки его тряслись. Не переставая, он курил махру.

— Чует мое сердце, что облава нагрянет, арестуют, — говорил он. — И откуда этот бритый дьявол взялся? Ведь он же в уезде был. Бывший кабатчик, в коммунисты записался, перевертень, черт. Такие самые злобные. Боюсь я... И надо ж было так влопаться... Тьфу!

— Придется, Петенька, завтра же в деревню тебе бежать... Ох, хоть бы поченьку-то переночевать благополучно!

— Я так полагаю, надо обриться мне...

Вдруг раздался стук в дверь.

Оба вздрогнули и открыли рты. Запавески на окнах спущены, горела лампа.

— Скорей в подполье!.. Пропал я, пропал... — зашипел покойник. Сердце его стучало, и громко стучали в дверь.

Мигом спустились в подполье; Петр Иванович залез в мешок и сел в угол.

— Заслони меня чем-нибудь... Вот ящиком... Вот еще мешком с углями...

Вдова вылезла, закрыла люк и, придав лицу скорбное выражение, вся оледеневшая, открыла дверь.

— А-а, — протянула она и сразу обозлилась. — Ульяна Сидоровна!.. И откуда это вы приперлись?

— А уж я думала, тебя зарезал кто, — пробасила, вваливаясь, рыхлая женщина. Дряблое лицо ее жирно и красно, белый чепец на голове взмок, под мышкой огромный веник, в руке чемодан. Она закрестилась на иконы. — Фу-у-у!.. А я из бани к тебе... Дай, думаю, навещу вдовуху, божью сироту. Почитай, с полден пошла, да ишь как... Очередь с версту... Тыфу ты! Что и за жизнь — и когда эти большевичишки сквозь землю-то провалятся...

Женщина грузно шлепнулась на кресло и вытерла рукавом салопы потное свое лицо.

— А с кем же ты чай-то пила? Две чашки-то зачем?.. А табачищем-то как разит. Дым как на пожаре. Неужто куришь?

— Курю, — сказала вдова, и уши ее покраснели. — После покойника осьмушечка осталась... С горя.

— Фу-фу... Да. Посетил господь. С чего это он? Вот те и Петр Иванович!.. Царство ему небесное... Э-эх!.. Ну-ка, налей чайку.

— Извиняюсь, — растерянно и не без раздраженья начала вдова. Зубы ее выбивали дробь. — Извиняюсь, Ульяна Сидоровна... Я вас никак не могу угостить чаем... Пожалуйте в другой раз, Ульяна Сидоровна.

— Почему это не можешь? — гостя сдернула мокрый чепец, бросила его на стол, и заплывшие жиром красненькие, безбровые глазки ее засверкали.

— Я сейчас спать лягу, Ульяна Сидоровна... Я должна завтра чем свет встать, чтоб к заутрени на кладбище попасть, Ульяна Сидоровна, на панихидку...

— Чудесно, — перебила гостя, — я у тебя ночую. И я с тобой на панихидку пойду.

Хозяйка вся затряслась от злобы. Подбородок ее подался вперед.

— Нет, нет, это невозможно, Ульяна Сидоровна!

— Я пятьдесят пять лет Ульяна Сидоровна! Ошалела, что ли, ты... Как это невозможно?— и стала цедить из чайника в чашку.— Я вот на кушетке и прикорну... Не бойся, не объем, у меня кой-что захвачено... Ой, и пить захотелось, прямо душа горит.

Гостья, кряхтя, нагнулась под стол, вытащила из чемоданчика мочалку с мылом, потом грязное белье, бутылку самогонки, два яйца, завернутую в тряпицу селедку и краюху хлеба.

— Эх, хорошо бы еще луковку.

А в это время покойник прогрыз в мешке дыру и жадно прильнул к ней волосатым, как овчинная рукавица, ухом.

— Погиб... погиб...

Но заскрипел люк, опрокинулся вниз сноп света и перед покойником кто-то задышал.

— Петруша...

Из дыры на мгновение блеснул колючий глаз, на смену ему подъехал рот.

— Кто? Облава?— прошипел рот и тотчас же уступил место уху.

Раздался чей-то голос и скрип ступеней.

Ухо, глаз, рот упали вниз, покойник весь съежился, вминаясь в угол, и перестал дышать.

— И куда вы лезете?! Куда лезете!..— раздраженно бросала хозяйка. Но покойник не мог разобрать слов.— Не сидится вверху-то вам!..

Все смолкло.

Ухо, потом глаз подъехали к дыре: тишина и темень.

Петр Иваныч облегченно передохнул, перекрестился: «Кажись, ушли»,— и его забила такая сильная дрожь, что мешок подскакивал и мотался во все стороны.

Прошел битый час. Что за оказия, почему не приходит жена, уже не арестовали ль ее? Петр Иваныч вылез из мешка и, расшарив во тьме руки, тыкался в покрытые плесенью углы.

Он взобрался на лесенку и приник глазом к светлой щели люка. В поле зрения заблестел самовар, чашки, чьи-то толстые красные руки. Ба! Да ведь это бабка Ульяна. И самогонка. Разве войти да покаяться? А вдруг облава, и ежели при бабке сесть в мешок, обязательно выдаст. Нет, надо ждать.

— Пей,— говорит старуха, придвинув чашку хозяйке.

— Не много ли будет,— отвечает та хмельным голосом,— с непривычки-то. Уж очень крепок самогон-то...



— За упокой души... Хоть и не стоит он того... Ну, превечный ему покой,— говорит старуха и пьет.

Петр Иванович сплюнул и прошипел:

— Чтоб те самой сдохнуть без покаяния!

— А ты не хнычь,— говорит старуха.— Слава богу, что и помер-то. Пьяница, царство ему небесное, был...

— Нет, извиняюсь, он хороший,— возражает вдова и пьет.

— Хороший? Первый поножовщик был покойничек... Первый пьяница. Все певчие пьяницы. Я сызмальства знаю его. Подзаборник, кабацкая затычка, не тем будь помянут...

Петр Иванович стиснул зубы и сжал кулак.

«Ну и чертова старушка!» — подумал он. Глаза его горели ненавистью, душа горела жаждой выпить. Взор его был зорек и хищен, как у ястреба.

— Он мне, каторжная душа, семь с полтиной золотом остался должен. Ха, тоже муженек!... Уж раз подох, превечный покой его головушке, то скажу тебе, сирота. Как-то говорит мне пьяненький: «Ох, говорит, Ульяна Сидоровна! Жена, говорит, мне наскучила, подыщи ты мне вальяжную даму из купеческого или епархиального сословия».

Петр Иванович ударился теменем в крышку люка и проскорготал:

«Ну, только бы революция окончилась, я тебя, дьявольскую старушку, изувечу».

Хозяйка прижала к глазам платок и горько заплакала. Старуха потянулась к бутылке.

«Ах, выжрет все»,— с жадностью подумал усопший. Но старуха, налив две чашки, отставила порожнюю бутылку и вытащила из чемодана другую.

— Давайте скорей ложиться спать,— сквозь слезы сказала хозяйка.

Петр Иванович замерз, запрокинутая голова его кружилась, затекла спина. И ужасно хотелось выпить самогону. Ну, положеньице! Черт его сунул умереть! Сидя на ступеньке под самым потолком, он засунул руки в рукава, клюнул раз-другой носом, задремал.

А когда открыл глаза, было тихо. Покойник приподнял крышку люка. Тишина, горит лампадка. Он просунул в комнату свою рыжую встрепанную голову и осторожно закорючил ногу, чтоб выбраться наверх.

Но вдруг душераздирающий визг хлестнул его колом. С хриплым лаем, визгом, криком мимо него толстобоко протряслась старуха.

И все сорвалось с мест и понеслось: стол, самовар, окошки...

Старуха мчалась среди лунной ночи вскачь, за ней — мертвец. Старуха ухнула, упала. С маху на нее упал мертвец.

— Ульяна Сидоровна! Душечка!.. Это я — Тарелкин... Самогону, дайте самогону!..

Старуха рывкнула и заорала, и с нею заорал весь свет. Покойник ткнул кулаком в пьяную старушью пасть.

— Ульяна Сидоровна!.. Ангел...— и сгреб старуху за глотку.

Старуха вскинула к небу толстые ноги, вытянулась вся и захрипела.

«Бежать... Скорей...»

Мертвец метнулся и — по воздуху, как птица. И вслед свистки, ругань, крики:

— Держи, держи!..

Все опрокинулось и завертелось: капуста, гряды, глазастый месяц, орущая толпа людей — и красный конь пронесся с хохотом.

Петр Иванович в сенцах. Схватил тяжелый топор-колун и притаился: пропадать так пропадать.

И первому — раз по голове, другому — раз... Свалили, вяжут.

— Ребята, к стене его!

— Как, без суда?

— Без суда... Он мертвый...

Морды, морды, морды, тыща ружей в грудь.

— Пли!!— залп.

С треском обломилась гнилая ступенька, на которой кошмарно спал Петр Иванович, он кувырнулся в пустой, из-под капусты, чан, враз проснулся и от страшного испуга по-настоящему мгновенно умер.

СПЕКТАКЛЬ В СЕЛЕ ОГРЫЗОВЕ

Военная страда окончена, и красноармеец Павел Мохов опять в родном своем селе Огрызове.

Была весенняя пора, все цвело и зеленело, целыми днями тюрликали в выси жаворонки, а по ночам пели соловьи. Навозница кончилась, до сенокоса еще далече, крестьяне отдыхали, справлялись солнечные праздники: Николай-вешний, троица, духов день — с молебнами, трезвоном колоколов, крестными ходами, бесшабашной гульбой и мордобоем.

— Вот черти! Живут, как самая отсталая национальность, — возмущался Павел Мохов. — Ежели с птичьего полета поглядеть, то революции-то здесь и не почевало никакой. Позор!

И недолго думая образовал театральный кружок-ячейку.

Народ ничего не понимал, в члены записывались очень мало. А когда дьячок пустил для озорства слух, что записавшимся будут селедки выдавать, в ячейку привалило все село, — даже древние старцы и старухи.

Председатель Павел Мохов рассмеялся и колченогой старушонке Секлетиные задал такой вопрос:

— Хорошо, я тебя, бабушка, зарегистрирую. Вот тебе роль, играй первую любовницу. Можешь?

— Играй сам, толсторожий дурак, — зашамкала бабка, приседая на кривую ногу. — Подай мои селедки, что по закону причитается!.. Три штуки.

Вообще было много хлопот с кружком. Потом наладилось. Через неделю разыграли в школе веселый фарс, крестьяне хохотали, просили еще сыграть, сулили платить яйцами, молоком, сметаной.

Только вот беда: не было пьес. Написали в уездный город. Выслали «Юлия Цезаря». Когда подсчитали действующих лиц —

сорок человек — без малого все село должно играть, а кто же смотреть-то будет?

Тогда Павел Мохов и другой красноармеец, Степочкин, решили состряпать пьесу самолично. Долго ли? Раз плюнуть! На подмогу был приглашен новоиспеченный учитель Митрий Митрич, из бывших духовных портных.

Все трое, чтобы никто не мешал, после обеда заперлись в прокопченной бане, захватив с собой четверть самогону. К утру пьеса была окончена. В сущности, сочинял-то Мохов, а те двое — так себе. Осунувшаяся, словно после изнурительной болезни, вся троица вылезла на воздух и, пошатываясь, поплелась в великой радости. Лица у всех были в саже.

— Любящая мамаша, — обратился Павел к своей матери совсем по-благородному, — угостите автора чайком. Я теперь автор, сочинил сильно действующую трагедию под заглавием: «Удар пролетарской революции, или Несчастливая невеста Аннушка». Пьеса со стрельбой... Поплачете и посмеетесь.

Красотка Таня ни за что не хотела участвовать в спектакле. Очень надо! Павел Мохов ей даже совсем не нравится. Пусть Павел Мохов много-то, пожалуйста, и не воображает о себе. Но Павел Мохов всячески охаживал Таню со всех сторон. Нет, не поддается.

Ну, ладно! Вот что-то она скажет, когда его пьесу поглядит.

Репетиция шла за репетицией. Пьеса подверглась коренной переработке и получила новое название: «Безвинная смерть Аннушки, или Буржуй в бутылке».

Всю последнюю неделю село жило под знаком «безвинной смерти Аннушки»: девицы воровали у родителей холсты для декораций, парни — конопляное масло для малярных работ, кузнец Филат украл в совхозе белил и красок.

Неутомимый Павел изготавливал огромную, склеенную из двадцати листов, плакат-афишу: он раскинул ее на полу в своей избе и целый день, шихтя, ползал на брюхе, печатал всеми красками, подчеркивал.

Особенно кудряво было выведено: «Сочинил коллективный автор Павел Терентьевич Мохов, красный пулеметчик». Потом следовало предостережение: «Потому что в трагедии произойдет стрельба холостыми зарядами, то прошу в передних рядах, так и в самых задних рядах никаких паник не подымать в упреждение ходынки». И в конце: «Начало в шесть часов по старому стилю, а по новому стилю на три часа вперед. С почтением автор Мохов». И еще три отдельных плаката: «Прошу на пол не харкать», «Во время действия посто-

ронних разговоров прошу не позволять». «В антрактах матерно прошу не выражаться».

В конце каждого плаката было: «С почтением автор М о х о в».

После генеральной репетиции Мохов сказал:

— Успех обеспечен, товарищи! Будет сногшибательно.

Мимо Таниной избы прошел подбоченившись и лихо заломив с красной звездой картуз.

А на другой день уехал в город, чтоб пригласить члена уездного политпросвета на показательный спектакль.

В день спектакля публика густо стала подходить из ближних деревень в село Огрызово. С любопытством рассматривали плакат-афишу, укрепленную на воротах школы.

В школе едва-едва могло уместиться двести человек, народу же набралось с полтысячи. Спозаранку, часов с трех, зал был набит битком. Публика плевала на пол, выражалась, плакат же «Прошу не курить, с почтением автор Мохов» был сорван и пошел на козьи ножки. В комнате от табачного дыма сизо. День был знойный, душный. С беременной теткой Матреной случился родимчик: заайкала, — и ее унесли...

В пять часов Павел Мохов стал наводить порядки. Весь мокрый, он стоял вместе с милицейским на крыльце и осаживал напиравший народ.

— Нельзя, товарищи, нельзя! Выше комплекта, — взволнованно кричал он. — Ведь ежели б стены были резиновые, можно раздаться, но они, к великому сожалению, деревянные.

— Допусти, Паша!.. Ну не будь сукиным сыном, допусти. Мы где ни то с краешку... На яичек... На маслица.

— В антрахту залезем, братцы, не горюй, — утешались не попавшие на зрелище крестьяне, — всех за шиворот повыдергаем! Не век же им смотреть! Половину они посмотрят, а другую половину мы.

Около шести часов прибыл со станции представитель уездного политпросвета, светловолосый красивый юноша, товарищ Васютин. Павел Мохов был крайне удивлен: ведь обещался приехать бородатый, а тут — здравствуйте пожалуйста! Однако Павел дисциплину понимает тонко: рассыпался в любезностях, провел его в свою избу, сдал на попечение матери, а сам — скорей в школу и подал первый звонок. Публика отхаркнулась, высморкалась, смолкла и приготовилась смотреть.

Товарищ Васютин отмывал дорожную пыль, прихорашивался перед зеркалом, прыскал себя духами. Мать Павла усердно по-

могала ему переодеваться. Она очень удивилась, что гость без креста и натягивает белые штаны.

Франтом, с тросточкой, попыхивая сигареткой, краснощекий товарищ Васютин проследовал на спектакль. В кармане его щегольского пиджака лежали две ватрушки, засунутые матерью Павла.

— Промпешься, соколик, дак пожуюшь.

Второй звонок подавать медлили.

В артистической комнате содом. Павел Мохов рвал и метал. Доставалось молодому кузнецу Филату. Филат должен, между прочим, изображать за сценой крики птиц, животных и плач ребенка — все это Павел ввел «для натуральности». На репетиции выходило бесподобно, а вот вчера кузнец приналег после бани на ледяной квас и охрип, — получается черт знает что, петух мычит коровой, а ребенок плачет так, что пугается медведь.

— Тьфу! Фефела... — выразительно плюнул Павел и, стрельнув живыми глазами, крикнул: — А где же суфлер? Живо за суфлером! Ну!

Меж тем стрелка подходила к семи часам. То здесь, то там приподымались девушки, с любопытством оглядывая городского франта.

— Ну и пригожий... Ах, патретики городской...

Таня два раза мимо проплыла, наконец насмелилась:

— Здравствуйте, товарищ! — И протянула ему влажную от пота руку. Очень высокая и полная, она в белом платье, в белых туфлях и чулках.

— Пойдемте, барышня, освежимся! — и Васютин взял ее под руку. Рука у Тани горячая, мясистая.

Девушки завздохали, завозились, парни стали крякать и подкашливать, кто-то даже свистнул.

Милицейский и шустрый паренек Офимьюшкин Ванятка тем временем разыскивали по всему селу суфлера Федотыча.

— Ужаси в нашем месте скука какая. Одна необразованность, — вздыхала Таня, помахивая веером на себя и на кавалера.

— А вы что же, в городе жили?

— Так точно. В Ярославле. У одной барыни паршивой служила по глупости, у буржуазки. Теперь я буржуев презираю. Подруг хороших здесь тоже нет. Например, все девушки наши боятся гражданских браков. А вы, товарищ, женились когда-нибудь гражданским браком? — И полные малиновые губы Тани чуть раздвинулись в улыбку.

— Как вам сказать? И да, и нет... Случалось, — весело засме-

ялся Васютин, и рука его не стерпела:— Этакая вы пышка, Танечка...

— Ах, право... мне стыдно. Какой вы, право, комплиментщик!

Гость и Таня торопливо шли по огороду вдоль цветущих гряд.

Вечер был удивительно тих. Солнце садилось. Кругом ни души, только кошка играла с котятами под березкой. Сквозь маленькое оконце овина, рассекая теплый полумрак, тянулся сноп света. Он золотил пучки сложенной в углу соломы.

В овине пахло хлебной пылью, мышами и гнездами ласточек.

— Товарищи!— появился перед занавесом Павел Мохов.— Внимание, внимание! По независимым от публики обстоятельствам, товарищи, наш суфлер неизвестно где... Так что его невозможно, сволочь такую, отыскать... То спектакль, товарищи, начнется по новому стилю!

А ему навстречу:

— По новому так по новому!.. Начинай скорее, Пашка!.. Другие не жравши с утра сидят... Животы подвело!

И еще кричали:

— Это мошенство! Подавай творог! Подавай яйца назад!

Но Павел не слышал. Обложив милицейского и Офимьюшкина Ванятку, что не могли найти суфлера, он самолично помчался отыскивать его.

Суфлер — старый солдат Федотыч, двоюродный дядя Павла Мохова. Он хороший чтец по покойникам и большой любитель в пьяном виде подраться: все передние зубы у него выбиты. Но, несмотря на это, он суфлер отменный и находчивый: чуть оплошай актер, он сам начинает выкрикивать пужные слова, ловко подделывая голос.

Павел подбежал к его избе. Так и есть — замок. Он к соседям, он в сарай, он в баню...

И весь яростно затрясся: Федотыч лежал на спине и, высоко задрав ноги, хвостал их веником, голова его густо намылена, он был похож на жирную, в белом чепчике, старуху.

— Зарезал ты меня! Зарезал!..— затопал, завизжал Павел Мохов.

Веник жарко жихал и шелестел, как шелк.

— Павлуха, ты? Скидавай скорей портки да рубаху! Жару много, брат!..

— Спектакль! Старый идиот! Спектакль ведь!

— Какой спектакль? Ты чего мелешь-то? У нас какой день-то седни? — и вдруг вскочил.— Ах-ах-ах-ах...

— Запарился?

Федотыч нырнул головой в рубаху.

— Башку-то ополосни! В мыле.

Задорно прогремел звонок. Сцена открылась, и вместе с нею открылись все до единого рты зрителей. На сцену вышла высокая, жирная попадья.

Ни одна девушка не пожелала играть старуху. Взялся кузнец Филат. Лицо у него длинное, как у коня. На голову он взгромоздил шляпищу: впереди сидит, растопыбив крылья, ворона, кругом — непролазные кусты цветов; на носу же самодельные очки, как колеса от телеги. Он очень высок и тощ, по там, где нужно, он столько натолкал сдобы, что капот супруги местного торговца, женщины очень низенькой, трещал по швам и едва хватал Филату до колен; из-под оборок торчали сухие, в обмотках, ноги, когорыми очень грациозно, впереплет и с вывертом, переступал Филат.

— Аффриканская свиньища на ходулях,— шепнул товарищ Васютин Тане, жарко дышавшей ему в лицо.

Попадья, виляя задом, мелко засеменила к шкапу, достала четверть и, одну за другой, выпила три рюмки.

— Вот так хлещет!— завистливо кто-то крикнул в задних рядах.

— Угости-ка нас...

— Мамаша! Мамаша!— выскочила в белом переднике ее дочь Аннушка.— Как вам не стыдно жрать водку?!

Та откашлялась и сказала сиплым басом:

— Дитя мое, тебе нет никакого дела, что касася поведенья своей собственной матери.

В публике послышались смешки: вот так благородная госпожа, вот так голосочек... А Павел Мохов за кулисами, оглушенный басом попадьи, заткнул уши и весь от злости позеленел.

— Ах, так?— звонко возразила Аннушка.— Нынче, мамаша, равноправие. Я из вашего кутейницкого класса уйду в пролетариат... Я — коммунистка. Знайте!

— Чего, что?.. Коммунистка?! А жених? Такой благородный человек... Я тебе дам коммунистку!— загремела, как из пушки, попадья и забегала по сцене; ворона и кусты тряслись...

Павел Мохов тоже с места на место перебегал за кулисами и желчно, через щели, шипел Филату:

— Что ты, харя, таким быком реवेशь. Тоньше, тоньше!.. Ведь ты женщина.

Этот злобный окрик сразу сбил Филата: слова пьесы выскочили из его памяти,— и что подавал суфлер, летело мимо ушей, в пространство.

Растерялась и Аннушка.

— Уйду, уйду,— повизгивала она, и глаза ее, как магнит в железо, впились в беззубый рот суфлера Федотыча.

Попадья крикнула для прочистки глотки и, едва поймав реплику суфлера, еще пуще ухнула раскатистой октавой:

— Стыдись, о дочь моя! Ничтожество — твое имя!

— Позор! позор! Паршивый черт!.. — громко зашумел из-за кулис сквозь щель Павел Мохов. — Я тебе в морду дам!

— Позор, позор! — всплеснула руками Аннушка и вся в слезах шмыгнула за кулисы.

— Позор! Паршивый черт! Я тебе в морду дам! — загремела и попадья-Филат, полагая, что эти слова подсказаны ему суфлером.

Тогда Федотыч грохнул в своей будке кулаком, презрительно плюнул.

— Тоже ахтеры называются!..

И вдруг, к удивлению публики, невидимкой зазвучал со сцены его пискливый женский голос:

— О дочь моя... Я тебя великодушно прощаю, — фистулой выговаривал Федотыч. — Иди ко мне, я прижму тебя к своей собственной груди. Вот так, господь тебя благословит, — и сердито зашипел: — Где Аннушка? Аннушку сюда, черти!..

Аннушку выбросили из-за кулис на кулаках. Семеня ногами и горестно восклицая:

— Я ж говорю вам, что не знаю роли... Я сбилась, сбилась... — она подбежала к попадье, которая безмолвно стояла ступой, обхватив живот.

— Благословляй, дьявол! — треснул в пол кулаком суфлер.

— Господь тебя благослови! — как протодьякон, пробасила попадья.

Павел Мохов метался за кулисами.

— Занавес!.. К черту Филата!.. Ах, дьяволы. Погубили пьесу. Снова!

Но положение спас буржуй-жених. Он роль знал назубок, на сцену вышел игриво; попадья и Аннушка вновь овладели собой; Федотыч суфлировал на весь зал, как сто гусей, и на радостях суетливо глотал самогонку: из суфлерской будки несло сивухой.

Потом вошел маленький бородатый священник в рясе и скуфье набекрень, отец Аннушки.

— Поп, поп! — весело зашумели в зале. — Глянь-ка, братцы! Кутью продергивают.

Несчастную Аннушку стали пропивать: жених с попом устраивают кутеж, гармошка, плясы, попадья в присядку чешет трепака, подушки с груди переползают на живот. Аннушка плачет. Зрителям любо: ай-люли; хлопают в ладоши — «биц-биц-биц!». Аннушка не любит жениха, плачет пуще. Но вот врывается в кожаной куртке рабочий-коммунист:

— Я спасу тебя!

— Милый, милый! — бросается ему на шею Аннушка.

Жених лезет драться, но коммунист выхватывает револьвер:

— Она моя! Смерть буржуям!.. К стенке!

Поп с женихом в страхе ползут под кровать. Занавес. Хлопки. Восторженные крики: «Биц-биц-биц!»

Перерыв длился полтора часа. Стемнело. Зажгли две керосиновые коптилки. Мрак наполовину поседел.

У актеров — как в сумасшедшем доме: кто плачет, кто смеется, кто зубрит роль.

— Глотай сырьем, — лечит Федотыч голос кузнеца. — Видишь, у тебя кадык завалило.

Кузнец яйцо за яйцом вынимает из лукошка, целый десяток проглотил, а толку нет.

— Не могу больше, назад лезут, проклятые... — хрипит он.

— К черту! — волнуется Павел Мохов. — Где это ты видел, чтобы так попадья говорила? Банщик какой-то, а не попадья!

— Знай глотай... Обмякнет, — бормочет Федотыч. Бритое, жирное лицо его красно и мокро, словно обваренное кипятком. Самогонка в бутылке быстро убывает.

Из зала густо выходила на свежий воздух публика. Навстречу протискивались новые. Косяки дверей трещали. С треском отрывались пуговицы от рубах, от пиджаков. Иные тащили выше голов приподнятые стулья, чтобы не потерять место. «Налегай, ребята, налегай, жми сок из баб!»

Костомятка была и в коридорчике. Удалей всех продирался толстобокий попович в очках. Он яростно тыкал локтями и кулаками в животы, в бока, в спины, деликатно приговаривая: «будьте добры» да «будьте добры!». Старому Емеле, до ужаса боявшемуся мышей, подсунули в карман дохлого мыша, а как вышли, попросили на понюшку табаку.

Прозвенел звонок. Народ повалил обратно.

Дядя Антип, из соседней деревни, постоял в раздумье и, когда улица обезлюдела, махнул рукой:

— А ну их кляду и с камедью-то... — закинул на загорбок казенный стул и, озираючись, пошагал, благословясь, домой. — Ужо в воскресенье еще приду. Авось второй стульчик перепадет на бедность на мою...

— Внимание, товарищи, внимание! — надсадно швырял в шумливый зал Павел Мохов. — По независимым от публики обстоятельствам, товарищи, попадья была высокая, теперь станет маленькой. Поп же, то есть ее муж, как раз наоборот, сделается

очень высокий. Но это не смущайтесь. Это перетрубация в ролях, и больше ничего. Даже лучше! Итак, я подаю, товарищи, третий и самый последний звонок!

Занавес отдернули, и зал вытаращил полусонные глаза.

Вот выплыла попадья, по одежде точь-в-точь та же, только на коротеньких ножках и пищит, а вслед за нею — высоченный поп, тот же самый — грива, борода; только ряса по колени и ходули-ноги длинные, в обмотках.

В публике смех, возгласы:

— Пошто попадье ноги обрубил?

— А пу-ка, бабушка, спляши!

— Эй, полтора попа!!

Изрядно наспиртованный Федотыч едва залез в будку, но суфлировал на удивление ясно и отчетливо: вся публика, даже та, что в коридоре, имела удовольствие слушать зараз две пьесы — одну из будки, другую от действующих лиц.

Жировушка Федотыча — в черепке бараний жир с паклей — чадила суфлеру в самый нос.

Действие на сцене как по маслу. Буржуя-жениха прогнали, в доме водворился коммунист. Аннушка родила ребенка, который лежит в люльке и плачет. Люльку качает поп (кузнец Филат).

Он говорит:

— Это ребенок коммунистический, — и поет басом колыбельную...

Баю-баюшки-баю,
Коммунистов признаю...
Ты лежи, лежи, лежи,
И ногами не дрожи...

— Достукалась, притащила ребеночка, — злобствует попадья. — А коммунистишку-то твоего опять на войну гонят.

— О, горе мне, горе!.. — восклицает Аннушка и подсаживается к люльке, чтобы произнести над ребенком длинный монолог. Она роль знает плохо, влипла глазами в будку, ждет подсказа, в будке чернохвостый огонек чадит, и Федотыч — что за диво — наморщил нос и весь оскалился.

— О, горе мне, горе!.. — взволнованно повторяет Аннушка.

Вдруг в будке захрипело, зафыркало и на весь зал раздалось: «Ччих!» — и огонек погас.

Федотыч опять захрипел, опять чихнул и крикнул:

— Эй, Пашка! Дай-ка скорей огонька... У меня жирову... А-п-чих!.. жировушка погасла.

За сценой беготня, шепот, перебранка: все спички вышли, зажигалка не работает.

— О, горе мне, горе!..— безнадежно стонет Аннушка, забыв дальнейшие слова.

— погоди ты... Го-о-оре!..— кряхтит, вылезая из будки, пьяный Федотыч.— У тебя горе, а у меня вдвое. Видишь, жировушка погасла. Нет ли, братцы, серянок у кого?

Публика с веселостью и смехом:

— На, дедка! На-на-на...

И снова как по маслу.

Аннушка так натурально убивалась над сделанным из тряпья ребенком и так трогательно говорила, что произвела на зрителей впечатление сильнейшее: бабы сморкались, мужики сопели, как верблюды.

Офимьюшкин Ванятка подрядился вместо Филата за три яйца плакать по-ребячьи. Он плакал за кулисами звонко, с чувством, жалобно. Какой-то дядя даже сердобольно крикнул Аннушке:

— Дай титьку младенцу-то!

И баба:

— Поди упаковался ребенчишко-т... Перемени, Аннушка, ему пеленки-то.

Словом, действие закончилось замечательно. Все были довольны, кроме Павла Мохова. Он, скрипя зубами, тряс за грудки пьяного Федотыча:

— Дядя ты мне или последний сукин сын?! Неужто не мог после-то нажраться? Такую, дьявол старый, устроил полемику со своей жировушкой...

По селу пели третьи петухи.

За Таней и Васютиным, опять шагавшими вдоль цветущих грядок, шли в отдалении парни с гармошкой и орали какую-то частушку, для Тани очень оскорбительную.

— Эй, ахтеры!— кричали в зале.— Работайте поскорейча... Ведь утро скоро. Которые уж спят давно!

Действительно, на окнах и вдоль стен под окнами сидели и лежали спящие тела.

Когда открыли сцену, наступившую густую тишину толчок и встряхивал нечеловеческий храп. Это дед Андрон, согнувшись в три погибели, упер лысину в широкую поясницу сидевшей впереди ядреной бабы, пускал слюни и храпел. Другие спящие с усердием подхватывали.

Настроение актеров было приподнято: это действие очень веселое — пляски, песни, хоровод, а кончается убийством Аннуш-

ки. Мерзавец буржуй-жених, которого зарезали в прошлом действии, должен внезапно появиться и смертоносной пулей сразить несчастную Аннушку. Это гвоздь пьесы. Это должно потрясти зрителей. Недаром Павел Мохов с такой загадочно-торжествующей улыбкой сыплет в медвежачье ружье здоровенный заряд пороку: грохнет, как из пушки.

Но если б Павел Мохов видел, каким пожаром горят глаза коварной Тани и с какой страстью стучит в ее груди сердце, его улыбка вмиг уступила бы место бешеной ревности.

Парочка тесно сидела плечо в плечо, от товарища Васютина пахло духами и табаком, от красоти Тани — хлебной пылью, мышами и гнездами ласточек.

Декорация — елки и сосны, берег реки, Аннушка с ребенком сидит на камне.

— Какой хороший вечер, — говорит она. — Спи, мой маленький, спи. Чу, коровушка мычит. (За кулисами мычит корова.) Чу, собачка взлаяла. (Лает собака.) А как птички-то чудесно распевают! Чу, соловей... (Поет соловей.)

Ййца, видимо, подействовали: Филат на все лады заливался за сценой и соловьем, и собачкой, и коровушкой.

Появляются девушки, парни. Начинают хоровод. Свистит соловей, крикают утки, квакают лягушки, мычит корова.

— Дайте и мне, подруженьки, посмотреть на вашу веселость... — сквозь слезы говорит Аннушка. — Папаша и мамаша выгнали меня из дому с несчастным дитем. А супруг мой, коммунист, убит белыми злодеями на всех фронтах. Которые сутки я голодная иду, куда глаза глядят и не глядят.

Аннушка горько всхлипывает. Ее утешают, ласкают ребенка. За кулисами ржет конь, мяукает кошка, хлощут курицы, хрюкает свинья.

— Ах, ах! Возвратите мне мои счастливые денечки!

Зрители вздыхают. Храпенье во всех концах крепнет. Давно уснувший в будке Федотыч тоже присоединил свой гнусавый храп. Лысина деда Андрона съехала с теткойной поясницы в пышный зад.

Вдруг из-за кустов выскочил буржуй-жених, в руках деревянный пистолет.

Наступила трагическая минута.

Павел Мохов взвел за кулисами курок.

— Ах, вот где моя изменщица! — И жених кинулся к Аннушке. — Вон! Всех перестреляю!

Визготня, топот, гвалт — и сцена вмиг пуста.



Лицо буржуя красное, осатанелое. Он схватил ребенка, ударил его головой об пол и швырнул в реку.

Аннушка оцепенела, и весь зал оцепенел.

— Ну-с! — крикнул жених и дернул ее за руку.

Павел Мохов еще подбавил порошу и выставил в цель дуло своего самопала. Он в пьесе не участвовал, он к сцене совершенно непригоден: терял себя, трясся, бормотал глупости, а театр ужасно любил. Поэтому на спектаклях в городе ему обычно поручалось стрелять за кулисами. И уж всегда, бывало, грохнет момент в момент.

Здесь он точно так же ограничил себя этой на взгляд малой, но очень ответственной ролью.

— Ведь мы же с папочкой и мамочкой полагали, что вы зарезаны, — вся трепеща, сказала Аннушка буржую-жениху.

— Ничего подобного!.. Ну, паскуда, коммунистка, молись богу. Умри, несчастная! — И жених направил пистолет в грудь Аннушки.

— Ах, прощай белый свет!.. — закачалась Аннушка и оглянулась назад, куда упасть.

Павел Мохов сладострастно спустил курок, но самопал дал осечку.

Зал разинул рот и перестал дышать. За сценой шипели в уши Мохова:

— Вали-вали-вали еще, Пашка, вали...

— Умри, несчастная!! Во второй раз говорю! — свирепо крикнул жених.

— Ах, прощай, белый свет!.. — отчаянно простонала Аннушка и закачалась.

Павел Мохов трясущейся рукой спустил курок, но самопал опять дал осечку. Злобно ругаясь, Павел выбрал из проржавленных пистонов самый свежий.

Жених умоляюще взглянул на кулисы и, покрутив над головой пистолет, вновь направил его в грудь донельзя смутившейся Аннушки.

— Умри, несчастная! Последний раз говорю тебе!..

Кто-то крикнул в зале:

— Чего ж она, дура, не умирает-то!

— Ах, прощай, белый свет!.. — третий раз простонала Аннушка, и самопал за кулисами третий раз дал осечку.

Дыбом у Павла Мохова поднялись волосы, он заскорготал зубами. Жених бросил свой деревянный пистолет, крикнул: «Тьфу!» — и нырнул за кулисы.

Аннушка же совершенно не знала, что ей предпринять, — наконец закачалась и без всякого выстрела упала.

— Занавес! Занавес давай!— скандал на всю губернию, суе-
тились за сценой.

Но в это время, как гром, тарарахнул выстрел.

Весь зал подпрыгнул, ахнул.

Храпевший суфлер Федотыч тоже подпрыгнул и, подняв на голове будку, побежал с нею по сцене. С окон посыпались на пол спящие, а те, что храпели на полу, вскочили, опять упали — и поползли, ничего не соображая.

Занавес плавно стал задерживаться.

— Товарищи!— быстро поднялся на стул Васютин.— Я член репертуарной коллегии драматической секции первого сектора уездного культагитпросвета...

Мужики злорадно засмеялись. Раздались выкрики:

— Жалаим!

— Толкуй по-хрещеному!.. По-русски...

— Товарищи! Главный дом соседнего с вами совхоза, бывшие хоромы помещика, обращается в Народный дом для разумных развлечений. Я имею бумагу. Вот она. Советская власть охотно идет навстречу вашим духовным запросам. А теперь кричите за мной: «Автора, автора!»

И зал, ничего не понимая, загремел за товарищем Васютиным.

Автор же, за кулисами, упав головой на стол, плакал.

Васютин пошел за сцену и в недоумении остановился.

— Товарищ Мохов! Как вам не стыдно? Вас вызывает публика. Слышите? Ну, пойдете скорей.

Павел Мохов вытер кулаками глаза и уже ничего не мог понять, что с ним происходило. Куда-то шел, где-то остановился. Из полумрака впились в него сотни горящих глаз.

А Федотыч меж тем, пошатываясь, совался носом по сцене, душа горела завести скандал.

— Товарищи! У вас теперь свой Народный дом, свой драматический кружок. А кто организовал его? Да конечно же бывший красноармеец товарищ Мохов. Ежели спектакль прошел и не совсем гладко, это ничего, ведь это ж первый опыт, товарищи. Вот пред вами тот самый автор, сочинитель пьесы, которой вы только что любовались... Почтим его. Да здравствует талантливый Павел Мохов! Браво! Браво!— захлопал Васютин в ладоши, за ним — сцена, за ней — весь зал.

— Бра-в-во! Биц-биц-биц! Браво! Молодец, Пашка! Ничего... Жалаим... Павел, говори! Чего молчишь?..

— Почтим от всех присутствующих! Ура!!— надрывался Васютин.

Федотыч плюнул в кулак и, пошатываясь, подкрался сзади к своему племяннику.

Павел Мохов взглянул орлом на Таню, взглянул на окно, за которым розовело утро, и в каком-то телячьем восторге, захлебываясь, начал речь:

— Товарищи! Да, я действительно есть коллективный сочинитель...— но вдруг от крепкого удара по затылку слетел с ног.

— Я те дам, как дядю за грудки брать!— крутя кулаком, дико хрипел над ним Федотыч.— Я те почти от всех присутствующих!..

На следующий день товарищ Васютин уехал в город. Вместе с ним исчезла и красotka Таня. Она сказала дома, что едет в город на фабрику, будет там работать и учиться на курсах. В школе же после «Безвинной смерти Аниушки» недосчитались семи казенных стульев.

Павел Мохов от превратного удара судьбы — и спектакль не удался и Таню проворонил — долго грустил.

Его утешал пьяненький Федотыч.

— Ты, племяш, не серчай, что я те по шее приурезал,— шамкал он.— А вот ежели такие теятеры будем часто представлять, у нас не останется ни небели, ни девок.

— Ничего, дядя, все наладится... Вот только ученья во мне недостает, это факт. Поеду-ка я за просвещением в город. А как вернусь, уж вот спектакль загнем, уж вот загнем!.. И обязательно библиотеку устрою, чтоб наше Огрызово село было передовым...

И Павел Мохов направился в город на курсы избачей.

ШЕРЛОК ХОЛМС — ИВАН ПУЗИКОВ

1. СЕНЦО

День был душный, жаркий. К вечеру соберется гроза. Недаром деревья так задумчивы, так настороженны.

В ограду бывшего имения господ Павлухиных — ныне совхоз «Красная звезда» — въехал на сивой лошаденке кривобородый, с подвязанной скулой, рыжий мужичок в лаптях. Соскочил с телеги, походил с кнутом от дома к дому, — пусто, на работе все.

— Тебе кого? — выглянула из окна курчавая, цыганского типа голова.

— Да мне бы Анисима Федотыча, управляющего, — ответил мужичок, снимая с головы войлочную шляпу-грешневик.

— Я самый и есть, — сказала голова.

— Приятно видеть вашу милость. Желательно нам сенца возик... Потому как понаслышались мы...

— Здесь не продается. Это учреждение казенное.

— Да ты чего!.. Да ведь Серьгухе нашему вчерась продал, сельцовскому. Хы, казенное... Вот то и хорошо! Чудак человек!

— Зайди. Шагай сюда.

А в ночь действительно собралась гроза. Тьма окутала всю землю, освежающий дождь сразу очистил воздух, небо ежеминутно разевало огненную пасть, чтоб вмиг пожрать всю тьму, но каждый раз давилось, кашляло и рычало злобными раскатами. Все живое залезло в избы, в норы, в гнезда. А вот вору такая ночь — лафа.

Наутро — хватать, батюшки мои! — забегали в совхозе: какой-то негодяй похитил в ночь все металлические части самолучшей молотилки.

Управляющий Анисим Федотыч рвет и мечет: ведь на днях

комиссия из городу приедет инвентарь ревизовать, да и молотба недели через три. Что делать?

Сбились с ног, искавши. В ближней деревне Рукохватовой у подозрительных людей пошарили,— конечно, не нашли.

Анисим Федотыч, природный охотник и собачник, даже привлек к розыскам свою сучку Альфу. Но сучка, обнюхав молотилку, привела всю компанию из понятых и милицейских к избе красивой солдатки Олимпиады, к которой тайно похаживал управляющий. Кончилось веселым смехом всей компании и конфузом Анисима Федотыча. Он сучку тут же выдрал.

Совхозский писарь Ванчуков сказал:

— Я бы присоветовал вам обратиться к сыщику Ивану Пузикову. Он, по слухам, человек дошлый, знаменитый.

— А ну их к черту, этих нынешних...— возразил управляющий.— Каторжник бывший какой-нибудь.

— Напрасно.— Писарь стал рассказывать совхозу о подвигах сыщика.

В конце концов Анисим Федотыч согласился.

— Поезжай.

Писарь оседлал каурку — да на железнодорожную станцию, что за двадцать верст была.

— Ладно, разыщу, денька через три ждите,— только и сказал Иван Пузиков, агент «угрозы», то есть уголовного розыска.

И действительно, в конце третьих суток — уж время ужинать — взял да и явился в совхоз «Красная звезда» сам-друг с товарищем Алехиным.

Посмотреть — юнцы. Особенно Алехин. Правда, Пузиков важность напускает: между строгих бровей глубокая складка; правда, и глаза у него стальные, взгляд холодный, твердый, и рот прямой, с заглотом, а подбородок крепко выпячен. Вообще Пузиков — парень ого-го. То ли двадцать лет ему, то ли пятьдесят.

Осмотрел, обнюхал их Анисим Федотыч со всех сторон,— да-а, народ занятный.

— Ну что ж, товарищи, пойдете-ка. Темнеет.

— Успеем, куда торопиться,— сказал Пузиков.— А вот чайку хорошо бы хлебнуть.

— Ежели ваше усмотренье такое, то чаю можно...— недовольно проговорил совхоз.— А на мой взгляд, надо по горячим следам.

— Ерунда, папаша!— ответил Иван Пузиков.— И не таких дураков лавливали.

Чайку угроза любила попить. А тут варенье да пирог с мясом, с яйцами.

За чаем Пузиков завел рассказ. Управляющему и неймется, и послушать хочется — очень интересно угроза говорит.

— А почему я по этой части? Через книжку, через Шерлока Холмса. Тятка меня к сапожнику определил в Питер. Я ведь из соседней волости родом-то, мужик. Пошлет, бывало, хозяин за винишком по пьяному делу — ну, двугривенный и зажмешь. Глядишь, на две книжки есть. Эх, занятно, дьявол те возьми. Все мечтал, как бы это сыщиком стать; мечтал-мечтал, да до революции и домечтался. Теперь я сам русский Шерлок Холмс, Иван Пузиков.

— Слышал, слышал, — заулыбался во все цыганское лицо совхоз, и щеки его заблестели. — Я, конечно, вас, товарищи, и винцом бы угостил, да боюсь — время упустим. Уж после вот. По стакашку.

— Ерунда, папаша, злодей не уйдет. А выпить не грех.

— Слышал, слышал, — пуще заулыбался совхоз, налил всем вина, выпили. — Слышал, как самогонщиков ловите.

— Всяких, папаша, всяких, — вдруг нахмурился Иван Пузиков и почему-то дернул себя за льняной чуб. — Да толку мало, вот беда.

— Почему?

— Город выпускает. Мы ловим, а город выпускает, сто чертей. Ведь этак и самого могут ухлопать. У меня и теперь несколько ордеров на арест. Вот они. — Иван Пузиков вытащил из кармана пачку желтеньких бумажек и крутнул ими под самым носом управляющего.

— Ха! Вот какие дела! — воскликнул тот. — А по-моему, мазуриков щадить нечего. Иначе пропадем.

— Кто их щадит! У меня все на учете, папаша. Я все знаю. Например, в одном совхозе, и не так чтоб далеко от вас, управляющий самогон приготавливает на продажу. Два завода у него.

— Кто такой?

— Секрет, папаша. А в другом совхозе хлеб продает, овец, телят. А в третьем — сено.

— Се-е-но! — управляющий уставился в ледяные глаза угрозы, и по его спине пошел мороз.

— Да, папаша, сено.

— В тюрьму их, подлецов!

— Все там будут, папаша, все. Только не сразу, помаленьку, чтоб дичь не распугать.

— Пейте, товарищи, винцо... Позвольте вам налить.

— Например, ваш рабочий, Рябинин Степан, револьвер имеет.

Сам отдаст, вот увидите. А знаете, откуда он взял? Вот и не скажу. А знаете, кто нынче на пасхе мельника ограбил, латыша? А я знаю: два брата Чесноковых из вашей деревни.

— Не может быть! Чесноковы исправно живут. Откуда это вы знаете, товарищ?— вытаращил глаза управляющий и подумал: «Ну и ловко врет».

— А как же Ивану Пузикову не знать, папаша?

— Надо в тюрьму. Ведь ордер-то есть?

— Ах, папаша!— Пузиков таинственно сдвинул брови и переложил трубку в левый угол кривозубого рта.— Ну вот, скажем к примеру, арестую я завтра по ордеру вас (совхоз заерзал на стуле и пытался улыбнуться), увезу в город, а через неделю вы дадите взятку, и вас выпустят. Что ж, вы похвалите меня? (Совхоз выдавил на лице улыбку.) А вдруг вам вползет в башку подослать, скажем, того же Рябинина Степана, он и ахнет пулей из-за куста.

— Да-да-да,— растерянно заподдакивал совхоз, и обвисшие усы его задергались. «Однако с этим чертом Пузиковым ухо востро держать надо».

— Ну, товарищи, еще по стакашку, коли так... Для храбрости. Да и пойдем. Полночь. Самая пора.

— Зачем мы, папаша, будем ночью тревожить порядочных людей. А вот нет ли балалаечки у вас? Сыграть хочется, а ты, Алехин, попляши.

Управляющий сердито буркнул:

— Нету,— и опять подумал: «Ни черта им, молокососам, не сыскать».

Утром Анисим Федотыч встал рано, отдал приказания и вошел в комнату, где ночевала угроза.

Пузиков и Алехин сладко храпел

— Дрыхнут.

Управляющий сходил на мельницу, распустил плотников, что чинили плотину, и когда вернулся,— угроза умывалась.

— Чай пить некогда,— сказал Пузиков,— а вот на скорую руку молочка.

Выпили с Алехиным целую крынку, и оба заторопились.

— Кого из рабочих подозреваете, папаша?

— Никого.

— Правильно. А из Рукохватовой?

— Андрея Курочкина. А еще, пожалуй что, Емельян Сергеев. Тоже вроде вора, говорят.

— Ерунда,— нахмурился Пузиков.— Не они. Я всю деревню



вашу насквозь знаю. Деревня — тьфу! Все три волости... Как на ладошке.

— Скажите, какие способности неограниченные, — восторженно сказал завхоз, а под нос пробурчал: — Хвастун изрядный.

Алехин туго набил махоркой кисет и подал Пузикову портфель.

— Ну, теперь, папаша, за мной в деревню, — сказал Пузиков. — Учись, как жуликов ловит Иван Пузиков, деревенский Шерлок Холмс.

Он быстро пересекал двор. Широкоплечий, кривоногий, низенький, куртка нараспашку, из-под козырька сдвинутой на затылок кепки лезет огромный лоб.

— Не сюда, товарищ, не сюда, — кричит едва поспевавший совхоз, — в обратную сторону!

— За мной, папаша!

Он, словно сто лет здесь жил, перелез через изгородь, обогнул беседку и боковой тропинкой подошел к скотному двору, где четверо рабочих накладывали на телеги навоз...

— Здорово, Степан Рябинин! — крикнул он весело и твердо. — Бросай вилы, айда за мной! Понятым будешь. Я — Иван Пузиков, агент угрозы. Понял?

Степан Рябинин — черный и сухой скуластый парень, в ухе серьга — удивленно посмотрел на незнакомца, ткнул в навоз вилы и сказал:

— Ладно.

Повернули назад. Угроза передом. Свернули влево.

— Не сюда, товарищ Пузиков, вправо надо, — опять сказал Анисим Федотыч.

— Не сбивай, папаша. Слушай-ка, Степан! Ты ведь в этой казарме живешь, в номере седьмом, кажется?

— Так точно, — ответил Степан. Голос у него скрипучий, — не говорит, а царапает словами уши.

— Зайди и возьми, пожалуйста, наган. А то, сто чертей, опасно... Может быть, дело будет. Ну, живо!

— Это какой такой наган? — тряхнул серьгой Рябинин. — Чего-то не понимаю я ваших слов.

— Фу, ты! — возмутился Пузиков. — Да револьвер. Револьвер системы «наган». Понял?

— Нет у меня никакого револьвера.

— Нету? А куда ж ты его дел?

— Не было никогда. С чего вы взяли?

— Не было? Это верно говоришь? Не врешь? А из чего ж ты грозил застрелить председателя волисполкома, помнишь? Пья-

ный, на гулянке, в спасов день. Помпишь? Почему ты его вовремя не сдал?

Степан Рябинин чувствовал, как весь дрожит, и напрягал силы, чтоб овладеть собой.

— Нет у меня револьвера! Сказано — нету!

— Да ты не волнуйся.— От тенористого резкого голоса Пузиков вдруг перешел на спокойный ласковый басок.— Чего зубами-то щелкаешь? Ну, нету и нету. Верю вполне, и пойдете все вперед.

Анисим Федотыч ядовито ухмыльнулся.

Степан Рябинин то шагал как мертвый, то весь вспыхивал и в мыслях радостно молился:

«Слава богу, пронесло».

До деревни с версту. Анисим Федотыч был с брюшком, фукал, отдувался: очень емко шли; прорезиненный дождевик его со свистом шоркал о голенищи.

В деревню вошли с дальнего конца. Пузиков бегом к избе, вскочил на завалинку — и головой в открытое окно:

— Эй, тетя! А Фома Чесноков дома?

— Нету, батюшка. В поле навоз возит.

— А брат его Петр?

«Вот леший! Неужто всех поименно знает?» — подумал совхоз.

— Петруха в кузне. А ты кто сам-то, кормилец, будешь?

— Сахаринном торгую. Ну, до свиданья. Увидимся.

Кузнец Петр Чесноков ковал какую-то железину.

— Бросай-ка, Петр Константиныч. Идем скорей с нами. Понятым будешь.

— Каким это понятым?— И Петр грохнул молотом в красное железо.— А кто ты такой, позволь спросить?

Лысая голова его была потна, и все лицо в саже, только белки блестят, как в темных оврагах — весенний снег.

Вдоль деревни шли гурьбой: еще пристали председатель сельсовета и двое милицейских.

Иван Пузиков подвигался медленно: остановится, посмотрит на избу, дальше.

— А в этой, кажись, Миша Кутькин живет?— спросил Пузиков.— Мой знакомый... Надо навестить.

Кутькин, мужичок не старый, возле сарайчика косу на бабке бил. Бороденка у него белая, под усами хитрая улыбка ходит. Взглянешь на усы, на губы — жулик; взглянешь в глаза — нет, хороший человек: взор ясный и открытый.

— Здравствуй, Миша,— ласково сказал Пузиков.— Нешто не признал? А помнишь, вместе на свадьбе-то у Митрохиных гуляли? Я — Ванька Пузиков, из Дедовки.

— А-а-а, так-так-так... Чего-то не припомню,— сказал Кутькин, подымаясь, и стал растерянно грызть свою бородавку.

— Ну, как живешь, Миша? А это у тебя что?— И угроза заглянула в сарайчик.— Мельницу, никак, ладишь? Очень хорошо! А железо-то не купил еще? Ну, ладно. Вот что, Миша! А можно мне в избу к тебе, бумажонку написать?

Сухопарая тетка Афимья низко поклонилась навстречу вошедшим и суетливо стала прибирать посуду: чашки, ложки разговаривали в трясущихся ее руках. Пузиков вильнул на ее руки глазом.

Все сели, кроме хозяина избы, кузнеца и Степана.

— Ну-ка, милицейский, пиши акт, а я буду говорить тебе.— Пузиков задымил-запыхал трубкой и достал из портфеля письменные принадлежности.— Пиши.

Милицейский, курносый парень, сбросил пиджак и приготовился писать. Лицо Пузикова было спокойно, простодушно: двадцать лет. Он диктовал вяло, уставшим голосом, словно желая отделаться от этой ненужной проволоочки и поскорей уйти. Потом голос его внезапно зазвенел:

— Написал? Пиши. «Постановили: Михаила Кутькина, укравшего в совхозе «Красная звезда» принадлежности молотилки, немедленно арестовать».— Глаза его зорко бегали от лица к лицу,— ему сразу стало пятьдесят.

Мишку Кутькина, хозяина избы, точно кто бревном по голове.

— Да ты, товарищ, обалдел!.. Какой я вор?! Что ты?!

— Миша, да ты не ерепенься,— мягко сказал Иван Пузиков и пыхнул густым дымом.— Раз я делаю, значит — делаю правильно. Ведь я знаю, где у тебя вещи... В подполье, под домом. Верно?

Кузнец Чесноков, крикнув, моргнул тетке Афимье, та схватила ведро и быстро вон. Мишка Кутькин сгреб себя за опояску, но руки его тряслись,— видно было, как плещутся рукава розовой рубахи.

— Шутишь, товарищ,— слезливо сказал он.— Обижаешь ты меня.

— Ничего, Миша, не обижаю. Писарь, пиши! «Во время составления акта кузнец Петр Чесноков подмигнул Афимье Кутькиной, а та поспешно вышла, чтоб перепрятать краденое».

— Во те на!— уронил кузнец, как в воду клещи.

Мишка Кутькин ерзал взглядом от бельмастых кузнецовых глаз да к двери, и слышно было, как зубы его стучат. Анисим Федотыч удивленно вздыхал.

— Алехин! Где Алехин?— И голова Пузикова завертелась во все стороны.— Тьфу, сто чертей! опять с девками канителится... Степа, будь друг, покличь моего помощника.

Степан Рябинин повернулся и на цыпочках вышел вон.

— Да! Вот что, товарищ Петр Чесноков. Скажи ты мне откровенно, как священнику,— кому ты делал собачку к револьверу?

Кузнец поднял брови, отчего лоб собрался в густые складки, и глупо замигал.

— Никому не делал... Совсем даже не упомяну.

— Ах, Чесноков, Чесноков, ах, Петр Константиныч,— застыдил, замотал головой с боку на бок Пузиков, заприщелкивая укорно языком.— А я-то на тебя надеялся, что все покажешь: борода у тебя большая, человек ты лысый, прямо основательный человек, а вдруг — запор. Ая-яй!.. А я еще за тебя перед городскими властями заступался. Те, ослы, на тебя воротили, что ты с братом ограбил мельника. Ая-яй!

Кузнец попятился, взмахнул локтями.

— Спаси бог, что ты, что ты!..

— Да ты не запирайся.

— Никакого я мельника не воровал.

— Да я не про мельника. Разве в мельнике вопрос факта? Я про револьвер. Степан Рябинин откровенно сознался мне, что револьвер ему ты чинил, ты!

Кузнец засопел, потом прыгающим голосом ответил:

— Извините, запамятовал. Действительно, Степка правильно показал — его был револьвер... Точь-в-точь... Ну, как он просил не говорить...

— Пиши!— резко крикнул Пузиков.— «По показанию Петра Чеснокова, он чинил револьвер, принадлежащий Степану Рябинину, который системы «наган»...»

Тут скрипнула дверь, и с воем ввалилась баба, за ней Степан и Алехин с мешком.

Баба упала в ноги Пузикову и захлюпала:

— Ой, отец родной... Ой, не загуби...

— Стой, тетка Афимья, не мешай,— ласково сказал Пузиков и еще ласковей к Степану:— Степан, голубчик, не в службу, а в дружбу, будь добр, притащи нам револьвер скорей. Вот ты отпирался давеча, а кузнец, спасибо ему, показал, что твой... И, ради бога, не бойся, Степа. Ничего не будет, до самой смерти... Ну, пожалуйста.

Степан заметался весь, блеснула в ухе серьга, ожег кузнеца взглядом и, пошатываясь, вышел вон.

— Вставай, Афимьюшка, вставай, родная...

— Ой, батюшка ты мой... Сударик милый цейский..

— Эка беда какая, что хотела перецрять,— участливо говорил Пузиков.— До кого хошь доведись. Всякий дурак бы так сделал... Даже я. Под овин, что ли?

— Под овин, сударик ты мой, под овин...

Он, не переставая, пыхал трубкой, тугой кисет пустел, и комната тонула в дыму, как в синем тумане. Не торопясь, вытряхнул все на стол из принесенного Алехиным мешка.

— Э-эх, добра-то что. Все ли, нет ли? Папаша, а?

— Чего-с?— У Анисима Федотыча рябило в глазах, и кончики ушей горели, в голове чехарда, он ничего не мог попятить, только шептал: «Вот так дьявол!»

— Да,— раздумчиво говорил между тем Пузиков.— Тут не хватает двух веществ: перекидной ручки — это той самой, ты над ней пыхтел, Чесноков, в кузнице, когда мы пришли... А кроме того, двух медных болтов и шайб с гайками. Они тоже у тебя, товарищ Чесноков... Ну, пойдете.

— Ей-богу, нет!.. Рази меня гром! Отсохни борода! Да чтоб утробу мою червь сосал!.. Знать не знаю!

Пузиков очень внимательно перебирал вещи в двух сундуках кузнеца. Кузнец трясся так, что дрожала вся изба.

— Эка у тебя добра-то сколько,— спокойно говорил Пузиков.— А? Вот буржуй... Ну, это, между прочим, ничего. Похвально. Нищий завсегда нищим будет. Грош ему и цена. А ты, видать, человек хозяйственный.

Жирная баба стояла у скамейки, как огромное изваяние; она обхватила ручищами жирную грудь и охала басом.

— Чего ты охаешь? Грыжа, что ли, у тебя?— сказал Пузиков.

— Да как же мне не охать-то... Ох!..

— «Ох, ох...» Экая ты трупёрда, деревенщина... А еще такая полная мадам. Стыдись! «Ох, ох...» Вот тебе и ох... Вот видишь, какая рукавица-то? Знатная рукавичка. При царе три целковых стоила. Кожа-то — прямо бархат... а ты — «ох...».

— Никаких болтов у меня, товарищ, господин сыщик, нету. Сами изволили усмотреть...— словно по камням, впереверт, вперекувыр сказал своим голосом кузнец.

— Что?— фукнул Пузиков из трубки в самый нос ему.— И болтов нету, и рукавички другой нету. Болты — черт с ними, не в болтах факт, болтов у тебя и быть не может никаких. А вот рукавичку мне подай.

— Потерявши рукавичка. Выпивши, из города вез... По... потерявши.

— Ты потерял, а я нашел... Сколько даешь?

— Шу... шутить изволите.

— А это что? Она?— И Пузиков вынул из портфеля другую рукавицу.— А нашел я ее у мельника в избе.

Баба охнула и шлепнулась задом на скамейку.

— И знаешь, товарищ Чесноков, когда? На другой день, как вы его ограбили. А ежели не веришь, дак в обеих рукавицах в середке мельникова мета есть. Тебе и невдомек. Ну-ка, понятые, рассмотрите.

Кузнец упал на колени.

— Наш грех, наш грех... Не губи, ради Христа.

Бодро вошел Степан, взглянул — и руки у него сразу опустились.

— Что, револьверчик притащил? Молодчина, Степа. Давай сюда. Вот и все, кажись.— Иван Пузиков обвел компанию торжествующим, улыбчивым, но все же крепким взглядом.— Ну, вот, ребята, мы тихо, смирно, не торопясь, разыграли, как в кинематографе, не хуже, чем в «Собаке Баскервилей». Товарищи милицейские, этих трех гусей арестовать! А придет Фомка Чесноков, и его, злодея, в ту же дыру.

Все стояли бледные и тряслись. Больше всех — и неизвестно почему — волновался Анисим Федотыч.

Пузиков, заложив руки в карманы, произносил поучительную речь.

— Есть такой заграничной сыщик, Шерлок Холмс. Он хотя и спец считается, но, будучи по службе у буржуазной власти, хватает без разбору всех мазуриков. Я же, Иван Пузиков, сыщик российский и, кроме того,— сын своего народа. Поэтому передайте мужикам, что ваша деревня наполовину воры. Этого ни в каком специальном случае я не потерплю! Далее, по порядку, участь Чесноковых — тюрьма! Хотя они, допустим, и обокрали мельника, который богатеи, однако за них, товарищи, безвинно арестован мужик из бедноты. Второй пункт предложенья: Степан Рябинин, как возвративший револьвер по своему инициативу, освобождается из-под ареста. Можешь идти, Степан! Что же коснувшись Михаила Кутькина, то я ничего, товарищи, сделать не могу. Ты, Миша, сам посуди: украл ты государственный механизм от молотилки, то есть достоиние республики. Это называется — позор! Укради ты не только механизм, а, скажем, всю молотилку у какого-нибудь кулака контрреволюционера — совсем десятая статья. И я, может статься, во время обыска все рыло бы себе своротил об эту самую молотилку, а сделал бы вид, что не нашел. Потому что уравнение имущества социализм не возбраняет. Азбука коммунизма гласит прямо. Ты же, как сказано, украл достоиние республики, да еще перед самой страдной порой, а ведь

эта самая молотилка предназначалась обслужить целых три деревни. И нет тебе даже оправдания, что ты несознательный элемент, что-что, а это ты, как хозяин и мужик самосильный, должен был сообразить. До свиданья, Миша!

Угроза надувалась у Анисима Федотыча заслуженным чаем и ела пироги.

Анисим Федотыч волновался. От пылающих ушей загорелись щеки, и воловья шея налилась кровью, а глаза — как у попавшей в капкан лисы.

«Все, дьявол, знает. Пожалуй, знает и про сено».

— Товарищ Пузиков, — начал он, ероша курчавые черные, с синью, волосы. — За такое ваше самоотверженное старание и своею властью обязан вас вознаградить, не щадя средств. Что бы вы с товарищем пожелали?

— Что бы пожелали? — Пузиков откромсал долю пирога. — Я бы пожелал вас, папаша, арестовать.

— Ха-ха-ха, — обомлев, захохотал, словно залаял, Анисим Федотыч. — За что?

— За сенцо, папаша, за сенцо.

Совхоз вдруг перестал смеяться, глаза его округлились, и густые брови сразу насели на нос. Он резко стукнул в стол.

— Мальчишки! (Алехин вздрогнул.) Сопляки! Я вам не Мишка Кутькин! Я вам...

И, закусив удила, попесся, не в силах удержаться.

Пузиков набивал трубку, сторожко посматривая, как бы управляющий не смазал его в ухо.

— Пойдите, папаша... Да вы не петушитесь... Ведь свидетели есть, — спокойно сказал он.

— Свидетели?.. Я те покажу свидетели!

— Алехин, покликай-ка мужичонку-то... Как его... Тимоху...

— Какого Тимоху? — с сердцем спросил юнец, искренне сердясь и на товарища и на совхоза.

— Фу ты, боже мой!.. Какого, какого! Ну, я сам схожу. — Пузиков схватил портфель и вышел.

Совхоз все время взад-вперед ходил по комнате, поправлял ворот — шее было тесно. Шагнул к шкафу, выпил большой стакан вина.

— Сыщики... Тоже считаются сыщики. Оскорблять порядочных людей... Ответственных работников... Слетите, голубчики!.. Оба слетите, сопляки паршивые... Я вас!

Но вот в дверях показался дядя, — ну конечно, тот самый: лапти, синяя рубаха, скула подвязана, и рыжая борода кривулем. У совхоза лицо стало длинным и открылся рот. Мужик снял с головы грешневик, перекрестился и прямо в пояс:

— Здорово, Анисим Федотыч... Здорово, милячок. А я опять за сенцом к тебе... До-обрецкое сенцо.

— Что ты мелешь! Кто ты такой? — злобно прохрипел совхоз, а в голове, как молния: «Вот скандал! Турну, пока Пузикова нет». Пошел вон! Здесь казна... Ступай, ступай. — И кулаки совхоза крепко сжались.

— Это само хорошо, что казна... Ты не гайкай, — чуть попятился мужик. — Бесстыжие твои глаза. Жулик ты казенный!.. Вор!..

— Убирайся вон, рыжий черт! — И совхоз остервенело сгреб его за шиворот. — Вон!

Мужик захрипел, треснула рубаха.

— Караул, караул!.. Эй, Пузиков!..

— Вон! В тюрьму, подлец!!

Вдруг словно бомба ахнула:

— Ах, ты так, папаша? А ну! — Мужик рванул, и совхоз, взлягнув ногами, грохнулся спиной в пол.

Мужик, тяжело сопя, стал снимать с себя бороденку и парик.

— Пузиков! — простонал управляющий. — Это ты?

— Я самый, — сказал тот и протянул управляющему руку. — Ну, папаша, подымайся.

Алехин во все горло хохотал.

На этот раз все обошлось благополучно. Пузиков так и сказал, прощаясь:

— На этот раз, папаша, ничего... Больно пироги хороши. Только помни!

Вечером, собрав всех рабочих, Анисим Федотыч угостил их самогоном и держал речь:

— Вот, товарищи, жулик сразу и влопался. Мишка Кутькин... А вы как были честные труженки, так и оставайтесь. Да здравствует советская власть!

Анисим Федотыч сена больше пи-ни-пи. А вот когда обмолотили рожь, — урожай в «Красной звезде» нынче отменный, — хлебцем стал помаленьку поторговывать. И то с великой опаской, по мешочку, самым знакомым мужикам.

Первым приехал поздним вечером Антон Седов.

— Ради Христа, ржицы продай... Весь хлеб градом порешило. Антону Седову как не уступить — закадычный, можно сказать, друг.

Но совхоз был так напуган тем проклятым из угрозы, что

долго и подозрительно всматривался в мужика, как индюк в чужого гуся. Потом подвел его вплотную к лампе.

— А что это у тебя, дядя Антон, в бороде как будто что-то ползет,— и сильно рванул его за густые клочья бороды. Борода оказалась природной, собственной.

2. ПУГОВКА

— Ваня,— сказал Алехип своему другу, белокурому молодому человеку с прямым широким ртом,— к тебе пришли.

Тот сделал стариковское лицо и, прихрамывая, вышел в кухню.

— Извиняюсь, товарищ. Вы Иван Пузиков, наверно? Я со станции Павелец, весовщик Мерзляков, из комитета служащих. У нас, изволите ли видеть, систематические хищения из вагонов вот уже полгода. Только протоколы составляем, а поймать не можем...

— Знаю,— сказал белокурый и задымил трубкой.— Там у вас целая шайка работает. Они у меня все наперечет, как пальцы. И скажите, что Иван Пузиков, деревенский Шерлок Холмс, уже давненько на вашей станции сидит... Да он же с вами знаком.

— То есть как? Позвольте...— опешил Мерзляков.— Значит, вы не Пузиков?

— Так я вам и сказал. Ха! Может, Пузиков, а может, не Пузиков. Возможно, что Пузиков-то вот который,— показал он на Алехина,— а может, и я... Это сокрыто мраком тайны. Скажите вашим, что шайка на днях будет обнаружена самым удивительным способом... Прощайте. Мне больше некогда с вами толковать.

Он завалился на койку и пролежал колодой до самого вечера, от нечего делать поплеывая в потолок.

После обедни, в праздник, пришел к своему будущему тестю, торговцу Решетникову, станционный конторщик Бабкин, большой говорун и гитарист. Пили кофе, ели пирог, ну для праздничка, конечно, клюкнули.

Невеста Варя хотя и рябовата и чуть косила на правый глаз, однако ничего себе, Бабкину годится: приданого порядочно папаша обещал.

— Да,— сказал Бабкин, покручивая большие черные усы.— Эти доморощенные сыщики, вроде Пузикова, ни черта не стоят. А вот настоящего Шерлока Холмса бы сюда, в два счета — раз, раз — и пожалуйста бриться.

— Очень надо,— сказал торговец недружелюбно.— А я бы не

желал. Черт с ними, крадут — и молодцы. Хоть народу в руки перепадает. А то ка-а-азна. Какая, к свиньям, казна! Это не прежние времена!

— Ах, папаша!— воскликнул Бабкин.— Странно даже слушать мне...

— А потому, что молод ты. Например, прикатили мне на прошлой неделе бочонок алеонафту по тайности и за грош отдали. Так что же, неужто отказываться?

— Ах, папаша!.. Опасно это. Лучше бы вы не говорили мне.

Вечером того же дня, не дожидаясь прихода сыщика Ивана Пузикова, весовщик Мерзляков, чтоб выдвинуться по службе, организовал свою собственную охрану. Пять человек доброхотов, тайно от казенной охраны, темной ночью залегли под вагон груженого поезда.

Мерзляков чиркнул спичку, чтоб закурить, и при вспыхнувшем свете вдруг обнаружил, что в их пятерке лежит пластом шестой, посторонний.

— Кто это?— оторопело спросил Мерзляков.

— Чшшш...— прошипел шестой и зашептал:— Нельзя курить... вспугнете. Чшш... Идут!

«Ага, это Иван Пузиков, сыщик»,— мелькнуло у догадливого Мерзлякова.

Все шестеро впились вытаращенными глазами в лениво прошагавшие вдоль вагона четыре пары ног. Незвестный шестой выполз на брюхе и повернул голову вслед уходящим.

— Четверо,— прошептал он.— Кажись, с ними ваш конторщик Бабкин. Лезут в третий от нас вагон.

Он вдруг вскочил, крикнул:

— За мной!— и, выстрелив в воздух, помчался вдоль поезда. Среди мрака раздались путаные крики:

— Руки вверх! Караул! Караул!.. Стой, ни с места!..

Куча тел, тузя друг друга, каталась по земле.

Конторщик Бабкин, Варечкин жених, отбежав в сторону, кричал:

— Стойте, дьяволы!.. Ведь это мы, свои!.. Мы пломбы проверяем на вагонах. А вы нас... Тьфу!

Запыхавшись, примчалась с винтовками и казенная охрана.

Шли к вокзалу сконфуженные. Глупее всех чувствовал себя Мерзляков.

— Что ж ты, Мерзляков, неужто ослеп, своих бьешь,— весь дрожа, стал пенять ему жирный дорожный мастер Ватрушкин и сморкнулся кровью.

— Извиняюсь, Нил Данилыч,— сочувственно проговорил Мерзляков.— Как это ни прискорбно, но мы приняли вас за жуликов... Очень извиняюсь...

— От твоего извиненья у меня во всей башке звон идет. Этак садануть...

Мерзляков внезапно остановился:

— А где же этот, незнакомый-то?..

Меж тем незнакомый поспешно шагнул в ближайшую деревеньку, в которой вчера снял пустую избу старого бобыля.

Вскоре пришел к нему Иван Пузиков, деревенский Шерлок Холмс. За последнее время Пузиков появлялся у своего помощника Алехина на какой-нибудь час, всегда торопился и, сказав нужное, уходил с мешком под мышкой.

— Ну, как?— спросил он Алехина.

— Плохо,— виноватым голосом ответил тот и рассказал все подробно про недавний бой возле вагонов.

— Дурак,— мрачно и насмешливо произнес Пузиков. Нахмурился, покрутил льняного цвета волосы свои, потом расхохотался.— Здорово наклали?

— Не надо лучше,— улыбнулся Алехин.— Я какого-то раскоряку за машинку сгреб, так он на манер как заяц заверезжал. Пузиков сдвинул брови.

— А какой из себя Бабкин?— спросил он.

— Черноусый такой, в кожаной куртке. Он сватается за дочь лавочника.

— А, знаю,— сказал Пузиков.— Надо будет за ним последить. Алехин изумленно уставился в лицо товарища.

— Как, за конторщиком Бабкиным?

— Эх, щенячья лапа!— воскликнул Пузиков.— Неужто не понимаешь ничего?

— Нет,— откровенно сказал Алехин.— А в чем вопрос?

— Ну, ладно. По окончании поймешь.

Утром Мерзлякова подняли в конторе на смех. Особенно ядовито издевался помощник начальника станции Алексей Кузьмич Бревнов, рыжий вислоухий фрапт.

— Хотел выслужиться, любезнейший. Каждое дело ума требует. Ха-ха! Так накласть своим...

Мерзляков даже рассердился.

Но под конец занятий Алексей Кузьмич потрепал начальственно весовщика Мерзлякова по плечу:

— Не огорчайтесь, дружище... Уж такой язычок у меня дьявольский. Вот что: приходите-ка послезавтра ко мне на вечерок. Выпьем, понимаете... День рождения у меня...

Бабкин вечером пошел к невесте.

«Надо ж, черт возьми, купить девчонке хоть карамелек», — подумал он и зашел в еврейскую лавку. Когда входил, заметил прошагавшего человека в белом фартуке и еще тетку. Тетка остановилась и посмотрела ему вслед.

— А, товарищ Бабкин! — приветливо встретил его длинношей, с остренькой бородкой и красными губами еврей. — Ну, когда же ваша свадьба? Купили бы для Варвары Тихоновны часики... Хорошие у меня есть, серебряные, фирмы «Мозер»...

— Ей отец подарил золотые часы, — сказал Бабкин.

— Что вы говорите!.. Те часы темные. Я отлично знаю происхождение тех часов. Те часы, прямо скажу, краденые... Ой!..

— Каким образом?

— И очень просто. По секрету вам скажу: тут, у вас на станции, работает целая шайка. И представьте, носильщик Носков украдывает ящик с электрическими лампочками, то есть достался в порцию после дележа. И очень хорошо... И он идет и обменивает этот ящик на золотые часы у агента постройки. Так говорят. Я, конечно, не могу поручаться за то, что говорят. Не всякой вере давай слух, как говорится по-русски... Этот самый Носков золотые часы продал вашему будущему папаше, даже забрал у него вином и самогонкой.

Бабкин растерянно хлопал глазами и весь покраснел от раздражения. Черт знает, хоть от невесты отказывайся! Он ничего у еврея не купил и в самом мрачном настроении направился к тестю.

Был летний мглисто-серый вечер. В лужах квакали лягушки, поздние стрижи острокрыло чертили последний быстрый путь. Посреди улицы, рассуждая сам с собой, деловито шагал человек в белом фартуке. Тетка с замотанной шалью головой шла мужиковской походкой по пятам Бабкина.

— Тебе что надо, тетушка? — спросил он, остановившись у ворот тестя.

— Ох, кормилец, — загнула тетка. — Зубами маюсь, хотела какого-нибудь снадобья у торгового купить...

— Нет у него, — всматриваясь в теткино лицо, сказал Бабкин. — Иди в приемный покой на станцию. Там фельдшер даст.

Варя встретила его радостно, но вскоре же сказала:

— Какие вы, право, неласковые, Володичка. Что это с вами приключилось?

— Так,— ответил Бабкин.— Очень уж много подлости на свете, Варя. Ну да бросим об этом говорить. К Алексею Кузьмичу-то на танцульку собираетесь?

Пузиков не застал своего помощника Алехина в избе. Разжег на шестке теплинку и вскипятил чай. После третьего стакана вошла в избу тетка, та самая...

— Садись чай пить,— сказал Пузиков.— Где был?

— Бабкина следил,— проговорил Алехин, снимая сарафан.

— Тьфу!— плюнул Пузиков.— Экая башка у тебя свиньячья. Что ж мы — двое за одним человеком ходим?

— Как так?

— А вот и так... Мужика-то в белом фартуке заприметил? Ну, дак это я...

Алехин недовольно почесал за ухом, сказал:

— Бабкин у тестя, должно, и ночевать остался... Я ждал-ждал, жрать ужаси как захотелось...

— Ничего подобного. Он задним ходом вышел.

Ложась спать, Пузиков сказал:

— Слушай, Алехин. Я вынюхал, что послезавтра будет вечеринка у помощника начальника станции... Как его фамилия-то?

— Я знаю: Бревнов, звать Алексей Кузьмич,— с гордостью отрапортовал Алехин.

— На этот раз молодчага. Дак вот. Нам с тобой надо на эту вечеринку попасть. Может, там самую главную птицу схватим. Понял? Ты прямо войдешь и скажешь на ухо хозяину, что ты агент угрозы, что хочешь, мол, остаться на вечере под видом, ну, хоть... черт его знает... ну, хоть десятника по земляным работам. Понял? А я потом приду. А завтра подговори носильщика Носкова, передай ему вот эту бутылку коньяку,— он здорово вино жрет,— пусть выпьет и по сигналу явится на вечер и скажет вот какие слова... запиши. И адрес его запиши. Записал? Чтоб в точности. Он тоже замешан.

Чуть свет Пузиков исчез.

Алексей Кузьмич Бревнов жил широко, и вечер устроен на славу. Стол ломился закусками, пирогами, выпивкой. Среди гостей лица почетные: инженер-механик Свистунский, начальник станции Петров с супругой, священник. Конечно, был Бабкин с невестой Варечкой и будущим тестем,

Бабкин сегодня весел, прикладывался к рюмочке, играл на гитаре и рассыпался Варе в любезностях.

Хозяин, Алексей Кузьмич, сиял пуговицами на новенькой тужурке и тоже приухлестывал за Варей. Бабкин возбуждал в нем изрядное чувство ревности. Хозяин старался ему дерзить, но Бабкин отгрызался.

— Это из рук вон,— говорил раскатистым басом инженер Свистунский,— сегодня опять обнаружена кража из вагона с грузом мяса.

— Слышали, слышали,— подхватил кто-то.

— И что стража смотрит, ведь под самым носом вагон стоял. Отсюда из окна видать... Позор!

— Увы! Испортился народ наособицу,— воскликнул священник и откромсал добрый кусок пирога.

— Черт знает, Иван Пузиков не едет. А пообещал,— уныло промямлил Мерзляков, потянувшись к выпивке.

— Плюньте вы на этого Пузикова!— крикнул охмелевший Бабкин.— Черт ли понимает ваш Пузиков! Сами разберем... Мы уже опять ночью под вагон залезем. Товарищ Мерзляков, возьмите меня в свою компанию!

Все захохотали. А дорожный мастер Ватрушкин потер подбитый Мерзляковым нос.

В это время вошел молодой парень. Он что-то пошептал хозяину, тот деланно улыбнулся и сказал гостям:

— Это вновь командированный десятник земляных работ. Присаживайтесь с нами, товарищ.

Алехин смирно сел в угол, закурил папиросу и стал наблюдать, нахмутив лоб. Ему подали стакан чаю и кусок пирога.

Бабкин задирчиво кричал:

— Видали мы Пузиковых!! К черту их!

— Потихе,— осадил его хозяин, взглянув на Алехина.— В противном случае попрошу вас удалиться.

— И что ты ко мне вяжешься,— охмелевшим языком сказал Бабкин.— Может, к Варечке ревнуешь? А?

— Прошу меня не тыкать. Невежа! Без году неделя служит, а тоже позволяет себе...

— Ах, вот как... Что?!

Но в это время Алехин, взглянув на часы, распахнул окно. Из окна темнела ночь. По лестнице загрохотали грузные шаги, и в комнату ввалился пьяный носильщик Носков. Покачиваясь, он взглянул на подмигнувшего ему Алехина, помахал картузом и, глупо ухмыляясь, сказал:

— Честь имею поздравить с днем рождения!.. Честь имею объявить, что Иван Пузиков сейчас будут здесь. Хи-хи-хи... До

свиданьица,— он было повернул к выходу, но Алехин загородил ему дорогу:

— Товарищ Носков, сядьте и — ни с места!

Гости разинули рты. Хозяин ерошил волосы, пьяный Бабкин лез к нему:

— Плевать я хотел на этих дураков, на сыщиков!.. Нет, ты мне ответь... Ревнуешь? Может, Варечку поддедюлить хочешь? Бери! Бери!

— Убирайтесь к черту!

— Бери! Я отказываюсь. Сам отказываюсь... Чьи на ней часы? Краденые... Вот этот самый Носков, носильщик, восемнадцатого марта ящик с лампочками упер из вагона да агенту постройки на часы выменял, а часы будущему папаше всучил... Пожалуйста, сиди, Носков, не корчи рожи!.. И вы, папаша, не огорчайтесь.

— Безобразие! — кто-то кричал. — Ишь нализался... Выведите его вон!

— Кого? За что? — взывал Бабкин. — Меня-то, Бабкина-то? Что он правду-то говорит? А чьи сапоги-то на мне? Краденые, вот и клеймо казенное... Из вагона... Мне подарил их мой будущий папаша. Уж извини, папаша. Раз начистоту, так начистоту... Вот Пузикив придет, все ему открою... Я много кой-чего знаю. Где Пузикив?

Алехин заглядывал в окно, в ночь. Пузикив не появлялся. Гости были как в параличе. Варечка истерически повизгивала. Ее отец весь побагровел и, сжимая кулаки, надвигался на Бабкина. С Носкова сразу соскочил хмель. Бабкин колотил себя в грудь и, кривя рот, кричал сквозь слезы:

— Я за правду умру, сукины дети!.. Да! Умру!!

И вдруг трезвым, спокойным голосом:

— Ваше благородие, а где же пуговка-то у вас?

Алексей Кузьмич Бревнов, хозяин, быстро провел рукой по пуговицам, быстро скосил вниз глаза: блестящей пуговицы на тужурке не доставало.

— Вот она, — сказал Бабкин, протягивая пуговицу. — Я ее вчера в вагоне нашел, в том самом, откуда вы вот эту телятину украли.

Хозяин залился краской, побледнел, выхватил из рук Бабкина пуговицу и швырнул на пол.

— Стервец! — крикнул он и весь затрясся от злобы.

Бабкин поднял пуговицу, посмотрел на нее.

— Да, ошибся... Извиняюсь... — промямлил он. — Действительно, не та: топор и якорь на ней есть, а сукно серое, видите, кусочек болтается. У вас же сукно черное... Извиняюсь,

— Милицию сюда! Протокол! — колотил хозяин в стол кулаком.

— Стой! — крикнул Бабкин. — Милицию я и сам приглашу. Стой! Забыл совсем. Идемте в вагон... Эй, где Пузиков? Идемте в вагон. Иначе все под суд за укрывательство. Отвечаю головой... Мы и без Пузикова обнаружим.

Обрадованные скандальчиком гости повалили за Бабкиным.

При свете фонаря в вагоне на туше мяса лежала блестящая пуговица с клочком сукна, а вместо черноусого пьяного Бабкина, но в его одежде, пред ошалевшей и перепуганной компанией стоял бритый, совершенно трезвый, широколобый человек со строгими глазами и ртом.

— Конторщик Бабкин, которого вы три недели тому назад взяли на испытание, это я самый и есть, Иван Пузиков, деревенский Шерлок Холмс. Алехин, подай-ка пуговку сюда!

Он твердо подошел к Бревнову, примерил пуговку и твердо сказал:

— Ты, Бревнов, арестован. За компанию с тобой — Носков и торговец Решетников. А там распутаем весь клубок. Ну, Алехин, понял ли хоть теперь-то всю мою музыку? Эх ты, ежова голова. Покличь милицию!

Алехин, казалось, был ошарашен больше всех. Он высупулся из вагона и засвистал в свисток с горошинкой, как Соловей-разбойник,

ПОРТРЕТ

Было дело в голодный год. А сам я — мастер по церковному цеху, святых рисовал, то есть живописец. Как ударил голод, тут уже некогда угодников мазать, да и негде: даже попы нуждаться стали.

И вот пришла мне в голову идея:

— А поезжай-ка ты, Семушкин, по деревням, — внушаю сам себе, — будешь с богатых мужиков морды малевать.

В четырех селах ни хрена не вышло, в пятом — клюнуло. Кулачок замечательный там жил, бывший торгаш, страсть богатый, черт.

— Ладно, — говорит, — рисуй по очереди всех: меня, Матрону, Акульку, Мишку. Потому — по благородному желаю жить: чтобы все на стенках висели, форменно, да.

Стали торговаться. Я по пуду муки за портрет прошу и по три десятка яиц. Он говорит: пиши за харч, жрать будешь и — довольно.

— Это грабеж, — говорю ему, — вы, гражданин, искусство не цените. Вы, гражданин, не знаете, что знаменитый художник Репин по три тысячи золотом за портрет берет.

— Начхать мне на твоего Репина! Он — Репин, а я — Огурцов. А не хошь, как хошь. Забирай струмент и — дальше.

И стал я его, сукина сына, писать. Жарища стояла адова, то есть такая жара — шесть собак на деревне очумело. Я посадил его, подлеца, у ворот, на самый солнцепек и велел волчью шубу с шапкой надеть.

— Пошто! Рисуй в красной рубахе, при часах.

— Нет, — говорю, — в шубе солиднее, богаче. Все вельможи в шубах пишутся. Даже Никола-зимний на иконе и тот в рукавицах.



Он сидит, пот градом с него, а я, конечно, в холодок устроился. Разглядываю его, а он пыхтит: тучный, дьявол, жирный.

— Что же ты, живописец, не малюешь?

— Я физиономию вашу изучаю, очень величественная у вас физиономия, как у воеводы.

Он бороду огладил, приосанился. Я ему:

— Нет, Митрий Титыч, шевелиться нельзя.

— Ну?! Неужто нельзя?.. А меня клоп кусает.

— И разговаривать нельзя. И мигать нельзя: кривой будете, вроде уроды. Замрите, начинаю,— и стал подмалевывать.

А в это время муха ему на нос и уселась. Он глаза перекосил, носом дергает, а в душе, вижу, ругает муху, ну прямо живьем сожрал бы ее, а нельзя.

Я говорю:

— Пожалуйста, не обращайтесь на нее внимания: поползает, поползает да улетит. А то портрет испортите, снова придется.

Гляжу — он губы скривил чуть-чуть и подувает на муху с левого угла. А муха оказалась нежной, не любит ветерок, взяла да поползла на правый глаз. Мужик моргнул, да лапичей как хлопнет. Муха и душу богу отдала.

— Ну вот,— сказал я,— портрет испорчен. Снова.

— Господин живописец,— взмолился он,— нельзя ли в холодок? Шибко жарко, сомлел я весь, и глазам очень трудно на солнышко глядеть.

— Нет, нет,— сказал я,— замрите окончательно.

Часика через три я объявил перерыв. Мужик бегом к пруду, шапку на дороге бросил, шубу на дороге бросил.

— Мишка, подбирай!— и, не стыдясь баб, оголился да ну, как тюлень, нырять, ныряет да гогочет.

Как пришел он в чувство, за обед сел. Я ем да думаю: «Я те, анафеме, покажу, как сквалыжничать, ты у меня взвоешь».

— А много ли возьмешь, живописец, ежели без шапки?— спросил Огурцов.

— Два пуда, меньше не возьму. Снова писать придется.

— Да ведь ты пуд просил?

— Меньше двух пудов не могу. В шапке ежели — пуд. Не желаете, тогда до свиданья. Я художник самый знаменитый. Меня даже в Москве каждая собака знает.

— Патрет мне шибко нравится,— сказал Огурцов.— А я тебя не выпущу. Ежели сбежать надумаешь, на коне догоню, раз ты

знаменитый. Так и быть, рисуй простоволосым, без шапки.

После обеда хозяин выпил одиннадцать стаканов чаю, надел шубу, перекрестился и пошел.

— Идем, что ли, черт тебя задави совсем. Только ты не сердчай на меня, голубок...

Жара была еще сильнее. Хозяин шел к стулу, как к виселице. Я разрешил ему говорить за десяток яиц. Говорил он, говорил, болтал, болтал, а пот так и течет с него: шуба волчья, теплая, сам же он, повторяю, тучный.

— Вот до чего упарился... Аж в сапогах жмыхает.

— Ничего,— говорю,— терпите.

— Да долго ли терпеть-то?.. Аж пар из-за голенища валит... Аж дышать тяжело... фу-у-у...

Через час у него кровь из носу пошла. Через два часа он вдруг побелел, простонал:

— Кваску ба...— и упал.

Я только напизал одну голову. Сходство поразительное, даже сам я удивился. На другой день хозяин отлежался, говорит:

— Дюже правильно личность обозначил. Приятно. А сколько возьмешь, ежели без шубы? А то жарко очень..

— Дорого,— говорю,— пять пудов.

Он оцетинился весь, хотел ударить меня по уху, однако пошел, пошептался с хозяйкой, вышел, сказал:

— Рисуй, сволочь!

Я потребовал плату вперед, посадил брюхана в холодок — в красной рубахе он, при часах, с медалью — и стал со всем старанием писать.

Словом, окончилось все хорошо. Прожил я у кулака два месяца. Мучицы заработал и деньжат.

На прощанье кулак сказал:

— А ты все-таки — жулик... Ловко нагрел меня.

Я ответил:

— Другой раз не жадничайте... Вы — человек богатый.

Дома же обнаружил я, что он, проклятая сквалыга, в муку порядочно-таки песку подсыпал.

БАБКА

Солнце хватало горячими клещами без разбору всех и все: красных и белых, валявшуюся вверх копытами мертвую кобылу с развороченным боком, старух и мальчишат, пушки, патронные гильзы по дорогам, траву, букашек. Коровы с телятами стояли по горло в воде, лениво взмыкивая.

Нагретый воздух трепетал и колыхался, словно боясь ожечься о грудь земли, и вместе с ним колыхалось на зеленом пригорке село Ивашкино.

Разведка знала, что село до оврага занято красными, за оврагом же, там, где церковь,— белыми из армии Юденича. Политрук отряда, рабочий-путиловец Телегин, и два его товарища входили в село без страха: белые и красные в открытый бой пока не вступали, та и другая сторона ожидала подкреплений.

— Эх, пожрать бы чего-нибудь... Молочка бы с погреба,— изнемогая от жары, пересохшим голосом сказал Телегин. Пот грязными ручейками стекал по красному лицу в густую бороду, кожаная куртка его раскалилась, как железная печь, и ноги в сапогах — как в кипятке.

— Айда в избушку,— махнул рукой Петров, приземистый рыжеусый молодец.— Только, черти, пожалуй, не дадут: белые их поди распропагандировали.

— Даду-у-ут,— устало улыбнулся всем лицом и бородою товарищ Телегин.

— У них, у дьяволов, снегу зимой не выпросишь,— сухо сплюнув, проговорил Степка Галочкин, курносый парень.

— Да-а-дут,— опять улыбнулся Телегин.— Ежели умеючи, у мужика все выпросить можно. Вы, ребята, на меня посматривайте: что я буду делать, то и вы.

В кожаных новых картузах и куртках, в новых сапогах, оде-

тые так же чисто, как и белые, трое коммунистов вошли в избу. Пахло хлебами, жужжали мухи. У печки, с ухватом, старуха в сарафане и повойнике.

Телегин снял картуз, подмигнул товарищам, истово, по-мужиковски перегибаясь назад, усердно закрестился на иконы. А за ним и те двое.

— Здорово, хозяйюшка!— весело крикнул Телегин.— А нет ли у тебя чего покушать?

— Ох, кормильцы наши, ох, батюшки!— засуетилась у печки бабка.— Садитесь, ягодки мои, спаси вас бог, садитесь... Ужо я хлебца свеженького выну, ужо молочка...

Бабка принесла две крынки студеного молока, вытащила из печи хлеб, похлопала его — кажись, готов — и накромсала гору:

— Кушайте, родненькие мои, голубчики... Уж не взыщите. Кушайте во славу, не прогневайтесь...

Голос у нее ласковый, глаза ласковые, с подслеповатым старческим прищуром, морщинистые губы в рубчиках — ввалились. Она держала ухват, как посох, и умильно посматривала от печи на гостей. Кривой котенок сидел среди избы и умывал лапой гноящийся свой глаз.

Кожаные куртки с наслаждением глотали молоко, прикрывая.

— А где же те-то, окаянные-то?— спросила бабка скрипуче, со слезой.— Вы смотрите, детушки, с опаской... Они, раздуй их горой, в нашем краю вчера рыскали...

— Кто, хозяйюшка?

— Да красные-то эти самые, чтоб им!..— крикнула бабка, беззубо зажевав.

Кожаные куртки молча переглянулись, а Степка Галочкин прыснул молоком, как из лейки. Телегин улыбнулся в бороду, спросил:

— А ты, хозяйюшка, неужто красным ничего бы не дала?

— Красным?— подпрыгнула старуха.— Гори они огнем!— и стукнула в пол ухватом.— И хлеб-то весь в подпол побросала бы да карасином облила, и крынки-то с молоком об башки бы им расколотила... Тьфу!

Петров подавился хлебом и закашлялся, а голоусик Галочкин надул щеки и опять прыснул смехом в горсть.

— Ужо я вам, ангели мои, сметанки... ужо, ужо...

— За что же ты, бабушка, ненавидишь красных героев?— тенористо спросил Петров.

— Тьфу!— плюнула старуха и сухим кулачком утерла дряблый рот.— Да как же их любить-то, ангели мои господни... Эвот вчера нашего Гараську они, ироды, вытащили из колодца да

уволокли с собой... Гараська у нас, парень... Ну, знамо, билизацию он не принимает, воевать не любит, залез в колодец, вроде как схоронился там... Ох, и ревел Гараська, аж слезами весь изошел...

Бабка покарабкалась на полку за сметаной и, подпираясь ухватом, сутуло поплелась к столу.

— Ты, хозяйюшка, видимо, принимаешь нас за белых, может, за офицеров?— рыгнув, спросил Телегин.— А ведь мы не белые...

— А кто же вы?— влипла в пол старуха, и ухват в ее руке закачался.— Не красные же вы, раз богу помолились...

— Нет, не красные...

— А кто же?— глаза старухи прищурились, и ухват вопросительно застыл.

— Мы черные...

— Чево-о-о?— попятилась старуха.

— Черные...

— Это какие же такие еще черные?— И голова старухи сердито затряслась.— Кого же вы, ребята, бьете-то?

— Кого придется,— сдерживая улыбку, сказал Телегин.— Белые попадут — белых, красные — красных.

Бабка взмотнула локтями, и глаза ее запрыгали; она повернула от стола назад и через плечо бросала:

— Черти вы!.. Вот черти... Что надумали, а? Черные какие-то, а?! Направо-налево кровь льют, а?! Нате вам сметанки, нате,— издевательски улыбаясь, рывком совала она к столу крынку со сметаной и отдергивала назад.— На-те, окаянные... На-те...— Глаза ее горели яростью.— Ишь ты, черные, ни дна б вам, ни покрышки, подлецам... Замест сметаны-то в три шеи вас, дураков паршивых... Мы че-о-рные... Тьфу!..— И старуха, ударив в пол ухватом, зашоркала к печке.— Нет, ребята, это не по-божецки... Уж вы, ребята, одной стороны держитесь: либо белой, либо красной...— Голос ее стал мягче, и глаза глядели на пришельцев жалостливо.— Эх, ребята, ребята!.. Дуть вас надо, дураков...

— Хозяйюшка,— сказал Телегин,— мы хотим дальше идти, а ты разреши нам оставить у тебя кой-какие вещишки...

Но в этот миг открылась дверь, быстрым шагом вошел красноармеец и спросил:

— Палатки-то вносить, товарищ Телегин?

Слово «товарищ» ошарашило старуху как бревном: она вдруг стала маленькой, как девчонка, ухват дрябло заляскал в пол, и сарафан сзади гулко встряхнулся.

— Ой, ребята,— безголосо прошипела она и шлепнулась на лавку.— Ой, ребятушки, товаришши... Дак кто же вы?

Степка Галочкин — ноздри вверх и захохотал в потолок горошком, а Телегин серьезно:

— Красные, хозяйюшка, красные...

Старуха разинула рот, несколько мгновений лупоглазо смотрела в лица красноармейцев и вдруг сорвалась с места.

— Ребятунки, голубчики, товарищи наши! — заорала она осипшим басом как сумасшедшая. — Бейте их, окаянных, белых этих самых! — грохнула она ухватом в пол. — Бейте их хорошень!.. Бейте!.. — Бабка злобно поддела котенка ногой и едва устояла. — Они, подлецы, родного старика моего в баню заперли, хозяина... Вавилой звать... Пошел он вчерась к дочке, — дочка у нас в том конце замуж выдана. А его там и замели — ты, мол, красный, — да в баню на старости лет... Вот они, собаки, ваши белые-то, что делают... Давите их, подлецов, пожалуйста!!

Бабка — как ведьма: космы растрепались, повойник на затылок сполз, из беззубого рта летели слюни.

Красноармейцы хохотали. Галочкин уткнулся лбом в столешницу, крутил головой и заливисто визжал; подброшенный котенок лез с перепугу в валеный сапог; темным облаком под потолком шумели мухи.

РАЗВОД

Существовали на сей земле супруг с супругой, Иван да Марья Природовы, ткач и ткачиха. Десяток лет жили дружно; правда, случались малые скандалчики, но это уж обычно, это исстари идет, по всем законам: все в природе зуб за зуб, клык на клык, даже волки лютые грызутся, почему же людям в мире жить, раз они от обезьяны?

Только однажды, совсем недавно, случился грех, и в совершенно трезвом виде. Грех, к огорчению, кончился разводом.

Грех не сразу выпер в их жизни, он, как клубок, накручивался исподволь: сегодня нитка, завтра бечевка, послезавтра — аркан. И стиснул аркан их души.

Разрыв случился из-за двух вер. Одна вера в бога, другая в красном платочке, просто Вера, ткачиха тож. Марья по природной женской слабости была религиозна, Иван же вольнодумец. Марья на сходке, когда церковь постановили обратить в театр, полезла в драку; Иван, в отместку ей и согласно идеологии, снял дома все иконы, проворчав:

— Да ты Вере-то в подметки не годишься, ежели критически... И как я с тобой, с чертом, жил...

— Тьфу! — плюнула жена.

Остальное все понятно.

После развода они вошли в комнату как чужие. Муж принес колбаски фунт. Она — баранок и селедку. Пожевали молча, всяк в своем углу. Иван искал нож, не нашел, а спросить — самолюбие не позволяет. Отгрыз колбасу, подумал: «Вот и свободный я. Куда захочу, туда и пойду», — и с остервенением опять отгрыз.

Марья озабоченно уписывала селедку, записала чаем.

«Хорошо бы и мне чайку, — подумал Иван. — Не даст, пожалуй. Обозлившись».

Он почему-то на цыпочках подошел к водопроводу, напился и, как бы устыдившись малодушия, беспечно замурлыкал:

Выхо-ожу один я на доро-о-огу-у...

Марья зевнула, взглянула на стенные часы — десять — и сталаправлять кровать.

— Отвернись! — крикнула она Ивану, как нищему, который назойливо выпрашивает денег. — Теперича ты мне — тьфу. Я раздеваться стану. Можешь глаза пялить на Верку на свою.

Иван отвернулся. Марья разделась, перекрестила подушку и легла.

— Можно, что ли, оборачиваться? — спросил Иван. Но ответа не получил.

Где же лечь? Дивана нет. На стульях разве?

«Э, черт... лягу на полу».

Марья спала крепко, Иван тревожно. Утром опять пришлось Ивану отвернуться.

На работе Иван да Марья спрашивали у товарищей, нет ли, мол, на примете у кого хоть какой-нибудь комнатухи? Куда тут... Нет.

— Это раньше бывало: комнат — сколько хошь... А поди-ка разведись... наплачешься...

Подходила вторая ночь.

— Теперича моя очередь на кровати... Кровать не твоя, а общая, — сказал Иван.

— Отвернись, — сказала Марья, разделась и легла на пол. Иван спал крепко, Марья тревожно: все вертелась на полу — жестко.

Пришла третья ночь. Иван читал газету. Марья достала новую рубашку в кружевах, нарочно перед самым носом Ивана разложила ее на столе и стала продевать в проемы розовые ленточки. Иван покосился на рубашку, крякнул и никак не мог перелезть на другую строчку: голова вдруг отказалась понимать прочитанное, в голове замелькала женская рубашка, тело — бывшей жены или ткачихи Веры — все равно.

— Отвернись, передену рубашку, — сказала Марья.

Ивану показалось, что голос Марьи прозвучал не так, как раньше. Иван отвернулся к зеркалу и протер глаза. В небольшом квадрате зеркала отражалась часть кровати. Марья отпахнула одеяло, и рубашка скользнула с ее плеч. Сердце Ивана стукнуло, остановилось и — раз-раз-раз — пошло работать без узды. Чтоб не смотреть на отражение крепкого женского тела, Иван, согласно идеологии, зажмурился, но тотчас же открыл глаза.

Ложась на пол, он думал:

«Придется постельник сделать. Черт его знает, этот развод. Ничего не предусмотрено».

На пятую ночь, когда Ивану опять пришла очередь спать на полу, Иван сказал:

— Слушай. Без постельника немисливо на полу валяться. Если, так сказать, вдуматься категорично, мы можем, как тот, так и другой, спать вместе на кровати, ведя себя соответственно.

Марья подумала и сказала сердито:

— Ложись! Только чтоб спина к спине.

— Обязательно!— воскликнул Иван.— Соответственно... И тому подобное.

Ах, как приятно! В комнате восемь градусов, а до чего тепло спине. А все-таки надо идеологии держаться.

— Пожалуйста, не шевелись,— сказала Марья, засыпая.

— Я не шевелюсь... Я так, от нечего делать... Приятно очень. Днем, в воскресенье, у них был такой разговор.

— Когда же ты уберешься от меня, постылый?— сказала Марья.

— А куда же мне, ежели кругом такое уплотнение?

— К Верке к своей, вот куда!

Иван взглянул в глаза Марье: бешеные бесенята, огоньки.

— Она сама при муже,— угрюмо сказал он.— Мы с ней, ты думаешь, как? Мы с ней просто по-хорошему.

— По-хорошему?— закричала Марья.— А пошто мял-то ее на танцуйке. В коридоре-то?

— Мял-мял... Эка беда какая... Да ведь как вас, баб, не мять... Ежели вы такие... Ну, это самое... Всякий комбинат. Поневоле будешь мять...

— Поневоле?— еще звонче крикнула она. И сразу тихо, сквозь сдержанные вздохи: — А впрочем, сказать... Чего это я, дура... Теперича мне тьфу на тебя. Чужой ты мне, вот все равно как это полено. Мни, кого хошь, тешься.

— А ты?

Марья замигала и быстро в сенцы.

Легли опять спать спина к спине. Ивана подмывало повернуться. Марья, будто угадав, сказала сквозь зубы:

— Ты не вздумай облапить меня. Я тебе не девка гулящая.

— Ну, вот еще... Что я, маленький, что ли?

— Да ведь вы... О, чтоб вам сдохнуть!..

Иван огорченно улыбнулся тьме. И чтобы укротить себя, пытался направить мысли иным путем:

«Двенадцатый разряд... По какому праву? Да он, этот самый Лукин, без году неделю и служит-то... Неужто за то, что языком



трепать умет? А мне едва одиннадцатый дали... Обида или нет? Да, да... О-о-о-обида,— засыпая, думал Иван.— Чего? А хорошо бы поэтому... как его... ну вот этому в морду дать. А-а-а, Лукин, вот он-он... Держи его... двенадцатый разряд... А? Разряд? Хватай, бей!»

Иван занес руку, чтоб сгрести обидчика в охапку, и почувствовал, что его рука прикоснулась к чему-то мягкому, как крутое тесто. И вслед за этим обидчик крепко дернул его за бороду, крикнув:

— Пожалуйста, без объятий своих! Отъезжай на пол... Ежели руки распространяешь.

Иван очнулся и сказал:

— Извиняюсь... Затмение... Комбинат.

И вновь спины вместе, дружба врозь. Лежит Иван, хлопает во тьме глазами, не может разобрать — хнычет Марья или хихикает над ним. Лежали долго.

— Иван! — позвала Марья.

Иван притворился спящим и легонько захрапел.

— Ох, какая канитель мне с ним, — вздохнула Марья и, повернувшись к мужу грудью, опять тихонько позвала: — Иван!

Иван храпел. Тогда Марья слегка прикоснулась губами к Ивановой спине и чмокнула, сказав: — Ах, душка мой... Василь Василич...

— Извиняюсь!.. В чем дело? — быстро повернулся к ней Иван. — Какой это Василь Василич у тебя имеется?

— А тебе какое дело? — сказала Марья и повернулась к нему спиной.

— Мое дело, конечно, маленькое, — сказал Иван. — Эх, Маша, Маша!..

— Ты с Верками да бознат с кем путался, а мне зевать? Плевала бы я...

— Вовсе я даже ни с кем не путался... Как честный человек говорю... Ха! Променял бы я тебя на Верку. Даже смешно.

— А что? Скажешь, меня любил?

— Неужели нет? Эх, Маша... — Он горестно взмотнул головой, и кончик его носа зарылся в густую косу Марьи.

Марья быстро повернулась к нему грудью, крикнула:

— Ах ты, дурак паршивый, притворщик. Ишь ты, прикинулся, храпел, как конь... Сроду не знавала никого опричь тебя. А ты и уши распустил. Я просто испытать... Ха! Василь Василич какой-то, провались он.

— Маша! Изюминка!

— Ваня!

А перед утром Иван сказал:

— Просто непонятное бывает на свете. Ведь вот жили мы с тобой, скажем, десяток лет, и ничего такого... все как-то... Даже наскучили друг дружке. А тут, черт его знает то есть, как развелись, с того самого момента я прямо втюрился в тебя, как самый безнадежный влюбленный буржуй. То есть черт его... И с каждым моментом гораздо пропорциональнее... Ну, хоть на стену полезай или топись... Вот что значит психология... Развод придется онулировать... Ах, необдуманый комбинат какой... Идеологически паршиво вышло.

Марья вздохнула и сказала:

— А хорошо бы нам ребеночка.

— Не плохо бы,— сказал Иван.— А что касемо религиозной почвы, то ее как-нибудь урегулируем. И вдобавок, Маша, надо пружинный матрас купить.

«НАСТЮХА»

Приказано было в нашей деревне Крайней женотдел образовывать. Ну ясно, оборудовали. Председательша — Фекла Пахомова — чернушная, как цыганка с табора. И страсть какая злобная — перцем не корми. То есть так взъершила баб против мужиков, не надо лучше: поедом стали бабы мужнишек есть: «Ах вы, пьяницы! Ах вы, окаянные! Да мы вас, да вы нас...» Даже ежели, скажем, желательно допустить над собственной женой что-нибудь особенное, ну, вот это самое, дак и то она — пошел, говорит, к черту, думаешь, говорит, легко в тягостях-то нашей сестре ходить... А чуть вразумлять начнешь, она поровит ухватом по морде смазать, да с ревом в женотдел: «Караул, караул, убил!» А какое, к свиньям, убил, ежели сам стоишь у рукомоynика, нос замываешь, а из носу невинная, конечно, кровь...

Других мужиков председательша Фекла Пахомова, чтоб ей в неглубоком месте утонуть, в суд потянула, — дескать — увечат жен. И что ж? Разве наши суды — суды? Жены пришли на суд краснорожие, у мужьев под глазами фонари понатырканы, даже один хромает. И, невзирая на подобные приметы, мужиков присудили к штрафу да к отсидке.

— Разобьют рыло, а скажут, так и было, — ругали женщин мужики.

Один прибег домой — лица нет, аж зубами скрипит, а бабу колошматить воспрещено. Дак он что... Он от горькой злобы собственную собаку удавил, сгреб за шиворот и сразу в петлю:

— На, — говорит, — тебе, сучья тварь, на! Повиси заместь моей стервы — Машки... У-ух! — и заплакал. Сидит в хлеве, на навозе, сморкается на все стороны, плачет. Мужики очень смирные у нас, а бабы — бой.

Этот ужасный террор проистекал до осени. Феклу Пахомову

вытребовали в город служить, то есть к повышению. Она бо-
былка грамотная, собралась, уехала. Бабья часть провожала ее
с воем.

Мужики сказали на сходе:

— Ну, длиннохвостые, кончилась вам масленица. Кого хоти-
те в председательши? Становь кандидатуру, черт вас ешь!

Та не хочет, эта не желает, третья — боится. Так никого и не
избрали. А из волости приказ — избрать. Судили мы, рядили,
дай, думаем, выберем в председательши мужчину.

Сельсовет, мельник наш, сказал:

— Что же, братцы, деревня наша Крайняя, на самом краю,
дальше болото на сто верст, к нам никто дорого не возьмет и за-
глянуть-то из порядочных. Давайте, братцы, выберем Настасея.
Имя у него вроде бабье, а фамиль — сам поп не разберет — Ско-
ворода. Баба тоже может сковородой быть за всяко просто.

Тогда начал говорить сам Настасей:

— Я ничего, братцы, согласен, как говорится. И имя... тово...
действительно, чтобы... Даже маленького меня и звали-то «На-
стюхой». Только, братцы, как бы какого худа не было... Кроме
всего прочего, конечно, да.

— Хы! Худа. Эка штука гумагу раз в месяц подмахнуть.
Пиши фамиль само неразборчиво, чтоб гаже нет.

— Да мне разборчиво-то и не... А только... этого, как его...
чтобы... Сумленье у меня, да. Вдруг нагрянут. А человек я роб-
кий. Я такой человек, урони возле меня, скажем, ложку, я так
и подскочу до потолка. Человек я припадочный...

— А ты не скачи... Ты что, блоха, что ли?.. Соглашайся знай.
А мы тебе... Ребята, соберем Настасею пудишек пяток муки
в честь уважения. И четвертуху самогону первый сорт. Идет?

Стал с тех пор Настасей Сковорода председательшей жен-
отдела.

И стало мужикам вольготно, бабам худо.

А тут... Ну, так даже и не выдумать. Вдруг — фють! — здрав-
ствуйте — прикатил мимоездом какой-то заведующий член из
города, и прямо к председателю сельсовета, мельнику Вавиле
Четвергову. То да се, спросы да расспросы, ну как, дескать, дела,
почему нет избы-читальни, почему нет комсомола, работает ли
женотдел?

— Сделайте милость, ваша честь, чайку испить, — краской
залился Вавила. — Женотдел у нас справный. Председательшей
женщину мы избрали, Настасья Сковорода фамиль. Бабочка
толковая. Ведет линию парциально, согласуемо...

— Нельзя ли с ней переговорить?

— Даже невозможно! Они, кажись, больные,— похолодел Вавила.— Они, кажись, ребенка родили. Быдто мертвенький... царство ему небесное.

— Тогда я навещу. Где она?

У Вавилы сразу осел живот, и тугой поясок ослаб.

— Что вы, товарищ, господин, как вас... с непривыку... Она в отдаленности живет, на хуторе, в лесочке... Быдто, сказывают, волки бешеные там рыщут, волчица да волк, пара. Согласуемо... Спаси господь...

Приезжий прищурился по-хитрому из-под очков в лицо Вавилы.

— А все-таки мне надо с ней переговорить.

— Тогда вот какое дело, товарищ хороший, как вас... с непривыку... имя-отчество. Вы после чайку прилягте отдохнуть. Столько верст проехавши, болотина да буераки. А вечером я доставлю ее вам, на сон грядущий. Ведь вы заночуете? А куда же ваш путь принадлежит? Ах, в Павловское? Очень даже приятно нам, Павловское селенье подходящее. Народ — чистяк. Ах, какое село веселое... — повеселел наш пузан Вавила.

— Будь по-вашему,— сказал гость.— Только ко мне не пускайте пока никого: заниматься надо.

— Будьте вполне благонадежны,— вскричал Вавила.— То есть ни одна тварь не побеспокоит вашу честь.

— Карауль начальника,— сказал Вавила своей жене, а сам по деревне марш. Обежал все избы — хоть бы одна баба согласилась на полчаса председателшей побыть. Ах, ерш те в бок. Вот так штука...

Вавила к Настасею Сковороде и сразу заорал:

— Чтоб те сдохнуть, дурак паршивый! Пропадаем мы все. Член приехал! Требует! Ах, ах... Приделился, дьявол бородатый, в бабью должность, вот теперича иди!

— Ой, убегу я... В лес уеду,— взмолил, замотался Настасей.

— Убегу... Дура! Он книги требует. Он баб скличет. Хуже будет!

Настасей хлопнулся на лавку и по-сумасшедшему выпучил глаза.

— Стриги рыжую бороду свою проворней, черт ты, собаку, ешь! — крикнул мельник.— Бритва имеется? Ужо я писаря позову, он обкатает.

Через час Настасея перевернули на Настасью.

— Повойник мой на башку-то надень! — злобилась его баба.—

А поверх-то... Ужо-ко я шаль повяжу.— И не знала баба, хохотать иль плакать,— баба хохотала.

— Форменно. Сойдет,— окончательно развеселился мельник.— Член, кажись, подслеповат. А голосишка у тебя, слава богу, бабий... Сойдет. Эх, жаль, член самогона не употребляет. Слышь-ка, тетка Дарья!.. Напхай ему кудели вот в этом месте... Так... Убавь! Прибавь! Так, в плепорцию. Вот мужика и в красотку перевернули, хе-хе... Даже замуж можешь в этом сарафане выходить за какого ни то расстригу. Идем проворней. Не подгадь. Личность веселей держи, с игрой!

Председательша Настасья по записной книге давала объяснения проезжему гостю. Заикалась, голосишко дрожал, вилял, руки тряслись. И смех и грех, вот те Христос.

— Да вы, гражданка, не волнуйтесь. Говорите спокойно. У вас, кажется, все в порядке,— сказал член и глазами заморгал.

— В порядке, ваша милость, как вас...— сиял мельник именинником.— Бабочка она хорошая, толковая. Линию ведет, парци шально, согласуемо.

— Говорят, у вас несчастные роды были?

— Никак нет,— тонким голосом ответила Настасья и шаль натянула на глаза.— У нас... как его... все рожают, конечно, правильно, счастливо, да.

— Нет, нет. У вас лично,— поправил гость.

— Это, извините, я спутал,— выставил наш мельник бороду.— Та даже совсем другая женщина. Та действительно, черт ее знает, взяла да и... тово...

А гость — ну прямо как на грех — открыл на улицу окно, крикнул:

— Эй, тетушки! Шагайте обе в избу на пару слов.

Настасье показалось тут, будто юбка сама собой полезла вниз, будто из-под шали снова выставилась бородаща. В избу вошли тем временем две тетки под хмельком — после баньки хлопнули.

— Ну как, тетушки,— спросил гость и очками поблестел.— Председательшей женотдела довольны?

Настасья охнула от ужаса, сгреблась за край стола. Мельник боком-боком к теткам:

— Выручай, молодайки,— шепнул им и даже толстую малечку по заду приласкал.

— Председательша наша дюже хорошая,— перемигнулись тетки,— усатая, бородатая, женатая... Хи-хи-хи... А, чтоб вас... Камедь!..

Побелела Настасья, рученьками всплеснула, зашаталась.

Мельник крикнул:

— Пошли вон!.. Пьяные ваши рожи!.. Они — полудурки, товарищ дорогой, тово... с максимцем... Вон!!

У теток враз раздулись ноздри, а спина дугой, как у кошек перед собакой.

— Ах ты брюхан! — заорали обе вдруг. — Нам — тьфу, что ты сельсовет! А пошто же ты лишних по две копейки за помол берешь? Это порядки? Тьфу! Слушай, товарищ городской, мы тебе всю правду истинную... Он, нечистик, с чертом знается... Вот он какой сельсовет... Тьфу! Он, паскуда, нам в женотдел мужика рыжебородого всучил. Дуняха! Веди-ка сюда Настасея Сковороду...

— Как? — ополоумел гость. — Вот ваша председательша.

— Тьфу! — плюнули обе тетки. — Наш Настасей бородатый... Это он, брюхан, любовницу свою привел... У него их...

Настасья вскрикнула, хлопнулась врастяжку, захрипела.

— Обморок... Воды! — засуетился гость. — Кофту расстегните. Смочите грудь.

Тетки — к неизвестной бабе. Живо кофточку долой, вот так фунт — замест того-сего — ха-ха — куделя!

— Боже милосердный! — в страхе перекрестился мельник и попятился. — Кто же это? А?!

Тетки в хохот, в визг, понять не могут. Лежавшая вверх носом председательша шевельнула правой ручкой и чихнула.

А мельник плаксиво на колени перед гостем пал.

— Ваше скородие, как вас, с непривыку... Голубчик! Не губи... Действительно — мужик это... Только очень бритый... Враг попутал... То есть ах, боже... с перепугу все, согласуемо. Просто неисповедимо как... Ах, ах, ущерб какой... Вставай, рыжий черт!! — сдернул мельник шаль с плешивой головы Настасея. — Ишь развалился, быдтодохлый гусь... Кланяйся!.. Проси прощенья!..

Гость — брови вверх — протирал вспотевшие очки и взмыкивал, потом стал неудержимо хохотать. Настасей помаленьку приходил, слава богу, в чувство.

Через десять дней, приказом города, были перевыборы в сельсовет и женотдел.

УСЕКНОВЕНИЕ

В село Нетоскуй прибыл знаменитый, с двадцатью тремя медалями, фокусник. А село большое, на четыре улицы, и в каждой улице по настоящему кулаку сидело, богатею.

В самой же маленькой избенке, на краю села, Мишка Корень жил, парень головастый, хотя и рябой весь, но очень грамотный: чуть что, вроде кулацкого засилья, например, так в газете и прохватит, потому — селькор, а подпись — «Шило».

Кулакам Мишка Корень — как чирый на сиденье, кулаки искали случая стереть его с лица земли.

Вот тут-то фокусник и пригодился.

Объявил фокусник, что желающему из публики он будет топором голову срубить, потом опять приставит, человек снова оживет.

Неужто верно? Да, да, да, милости просим убедиться.

Посоветовались кулаки между собою, и лавочник Влас Львов пригласил фокусника к себе на угощение.

Вдвоем пили, взаперти.

— Да, гражданин фокусник, туго нашему брату и с богатством теперича,— печально помотал бородой Влас Львов.— И вот в чем суть... Ежели, допустим, коснувшись вашего ремесла, вы оттяпали человеку голову, что же, неужели он умирает тут?

— Без сомненья, умирает,— ответил фокусник, бритенький и юркий, во рту золотой зуб и важнецкая сигарочка торчит.

— Так, так... Кушайте во славу. Пожалуйста уточку... Ах, какая утка примечательная... Просим коньячку... По личности сразу видать, что вы очень умный, просто полюбил я вас совсем. Ну, так. А потом, ежели голову приставить, опять срастется? Ока-а-азия... До чего наука достигает... Страсть... Милай! Друг!

А позволь тебя, андель, спросить... Например, ежели оттяпаешь, а тут в тебе головокружение, захвораешь нечаянно и на пол, вроде обморока? Тогда как? Ведь не станет же человек без башки полчаса дышать, умрет. Правильно иль нет?

— Без сомнения, правильно,— фокусник потянул из стакана коньячок.— Тогда, без сомнения, умрет так ловко, что, хоть пять голов приставь, не воскреснет. Но я в обморок никогда не падаю.

— Жаль,— мрачно вздохнул хозяин.— Шибко жаль. Только со всяким несчастьем бывают. И по суду, ежели коснется, тебя завсегда оправдать должны... Ну что ж. Голову отрубил, скажем, парню, да и сам в обморок ляпнулся. Несчастный случай — да и все. А мы тебе... хе-хе-хе... сотняшку рубликов пожертвовали бы. Чуешь? Ну это — промежду прочим, к слову. С глазу на глаз мы. Великая тайна, значит.

Фокусник допил коньяк, ухмыльнулся и по-дьявольски хитро подмигнул хозяину:

— Понимаю... Идет. Какого цвета волосы?

— Хых ты, андель, херувим! — схватил хозяин гостя в охапку, целовал его в уши, в лоб, в глаза.— Ах, до чего догадлив ты! Лохмы светлые у паршивца, как лен. Такая гадюка, страсть... То есть ах... Одно слово, ухорез, пагуба для всего правильного хрестьянства. Вот тебе в задаток два червончика. Ну только чтобы верно. Понял? Вот, вот. Достальные — после окончанья. Прибавка будет. Озолотим.

А вечером кулацкий элемент предупреждал крестьян на сходе:

— Смотрите, братцы, своих парнишек не пущать башки оттяпывать. Боже упаси. Заезжему прощелыге с пьяных глаз — фокус, а человеку может приключиться смерть с непривычки,

Народный дом густо набит зеваками.

Фокусы были замечательные. Вырастали цветы в плосках на глазах у всех, исчезал из-под шляпы стакан с водой, фокусник изрыгал фонтаны пламени и дыма, в гроб клали девушку — помощницу, закрывали, открывали при свидетелях и — вместо девушки лежал скелет.

Зрители пыхтели, впадая в обалдение, старики и бабы отплевывались, крестились, призывая всех святых. Ребята широко открывали рты и не дышали.

После перерыва фокусник еще проделал много разных штук и в конце заявил ошалевшей толпе, что он хворает и поэтому отрубание головы отменяется. Народ вдруг взбунтовался, зашумел.

Громче всех, подзуживая зрителей, буянил кулацкий элемент:

— Ага, ишь ты! Руби, руби! — шумел народ. Толпа была возбуждена, раздувались ноздри.

— Идя навстречу желанию публики, — начал фокусник, — и благодаря угрозам, я, конечно, как будучи беззащитен против сотен зрителей, соглашаюсь. Но предупреждаю: операция может закончиться печально, потому что я утомлен и близок к обмороку.

Кулацкий элемент многозначительно переглянулся: «Клюнуло. Все как по маслу... Так».

— Согласны на таких условиях? Я всю ответственность переносу на вас.

— Жалаим!.. Просим! Сыпь!!

Кулацкий элемент радостно заерзал на скамейках.

— Желающие, пожалуйста на плаху! — озлобленно крикнул фокусник и покачал широким топором.

Никто не шел. Все оглядывались по сторонам, шептались, подбивая один другого. В углу уговаривали древнего старца — ведь это ж не взаправду, а ежели выйдет грех, деду все равно недолго жить. Старец тряс головой, плевался, а когда его подхватили под руки, загайкал на весь зал:

— Караул! Грабят!

И вот раздался голос, очень похожий на голос торговца Власа Львова:

— Пускай Мишка Корень выступает! Он — комсомол, не боится ничего.

Минуто было тихо. Потом, рассекая полумрак, взвились насмешливые крики, как бичи:

— Ага, Миша! Боишься?! Вот тебе и нету бога! Тут тебе, видно, не митинги твои... Ха-ха!.. Попался?!

Селькор Мишка Корень, сидевший на первой скамье, вдруг встал, весело швырнул слова, как горсть звонких бубенцов:

— Сделайте ваше одолжение, сейчас! — и быстро заскочил на эстраду.

— Не боитесь? — спросил фокусник громко, чтоб все слышали, и, скосив глаза, строго осмотрел жизнерадостного, в белых вихрах, юношу.

— А чего бояться? — так же громко ответил тот. — Без головы не уйду.

— Ну, смотрите... Чур, после не пенять. Давайте завяжу вам глаза, а то страшно будет.

В задних рядах девчонка, сестра Мишки, с ревом сорвалась с места и кинулась домой, предупредить отца:

— Мишку резать повели!

Фокусник завязал лицо юноши белым платком по самый рот и усадил его возле стола с плахой.

Юноша не знал, что заговорщики, затаив дыхание, ждут его конца, ему и в ум не приходило, что фокусник — продажная тварь, предатель, он не чувствовал сердцем, что его сейчас убьют, поэтому так доверчиво, с улыбкой он положил на плаху свою голову.

На сцене — полумрак. Фокусник засучил рукава и ухватился за топор. Весь зал с шумом поднялся на ноги, вытянул шеи, замер. Зал верил и не верил.

Сверкнул топор, зал ахнул, голова с хрястом отделилась от туловища, тело Миши сползло со стула на пол.

Фокусник взял в руки белокурую, с завязанным лицом, голову и показал народу. Из горла свисали жилы, струилась кровь.

С визгливым криком несколько женщин лишились чувств. Зал оцепенел. Мертвящей волной пронесся мгновенный холод. Зал копил взрыв гнева и тяжело, в сто грудей, передохнул.

Фокусника охватила жуть, он увидел звериные глаза толпы, побелел и зашатался.

«Сейчас упадет», — мелькнуло в сознании торгаша Власа Львова.

Толпа враз пришла в себя и с гвалтом, опрокидывая скамьи, топча упавших, зверем бросилась вперед:

— Убивец!! Подай Мишку!

Толпу охватило яростное пламя мести, крови:

— Ребята, бей!! Души!!

Но вдруг толпа с налету — стоп! — как в стену: из-под стола с хохотом поднялся казненный Мишка Корень и в гущу взъерошенных бород, перехваченных ревом глоток звонко закричал:

— Товарищи! Я жив и невредим!! Да здравствует советская власть! Урра!

Весь зал взорвался радостными криками: «Ура, браво, биц-биц-биц!»

— Товарищи! — надрывался фокусник. — Это же в моих руках голова куклы. Это же ловкость рук! Прошу занять места... Сейчас будут объяснены все фокусы!

Тут взыбил на скамьи весь кулацкий элемент. Очнувшийся Влас Львов громогласно заорал:

— Жулик ты! Обманщик!.. Тьфу твои паршивые фокусы!! — И озверевшим медведем стал продираться к выходу. — Хорошенькие времена пришли! Ни в ком правды нет... Ни в ком!!

Фокусник, юркий, бритенький, улыбнулся ему вслед. Во рту фокусника золотой зуб и важнецкая сигарочка торчит...

ПРИМЕЧАНИЯ

ХОЛОДНЫЙ КРАЙ

Впервые этот рассказ под названием «На Севере» был опубликован в газете «Сибирская жизнь» (1912, 4 ноября); в этом же году под тем же названием — в барнаульской газете «Жизнь Алтая» (15 ноября). Название «Холодный край» было дано рассказу при публикации в журнале «Красная нива» (1923, № 4). Под этим же названием с подзаголовком «Из дневника скитаний 1911 года» и посвящением «...Сенкиче, Гирманче — проводникам моим...» рассказ вошел в сборник Вяч. Шишкова «Страшный кам» (М., Недра, 1931).

О путешествии на Лену и Нижнюю Тунгуску в 1911 году Вяч. Шишков рассказывал неоднократно. Более поздние воспоминания об этом путешествии — в частности в «Автобиографии» — также поражают редкой предметностью, яркостью подробностей.

«Река то бешено мчала нас по неизвестному фарватеру, шитики со всего маху ударялись о подводные камни с риском проломить дно и затонуть, то вдруг от берега до берега поток воды преграждался огромной песчаной мелью... В туманных сумерках встретили грохочущий порог, в нем камни лежали, как киты, вода кипела. Нас втянуло туда насильно, и до сих пор не понимаю, как мы остались живы. Случайно увидели на берегу старого тунгуса, очень обрадовались, но он сказал: «Худой твой дело. Сдохнешь. Надо весна ждать, большой воды», — писал Вяч. Шишков. — Мы теряли мужество. 4 сентября выпал снег, вода у закрайков замерзла, шитики обледенели. А впереди полторы тысячи самых трудных верст»...

Это же путешествие легло в основу описаний трудного пути Прохора Громова и черкеса Ибрагима по фантастической «угрюм-реке», когда оба путника, замерзая в снегах, борются с невыносимым холодом, со смертельной тоской, надеются «поймать нить жизни, которую авось подбросит судьба»...

Во время этого путешествия Вяч. Шишков записал 87 старинных «проголосных» песен и былин, изданных в 1912 году Иркутским Географическим Обществом. И среди них песню, две строки из которой стали эпиграфом к роману «Угрюм-река»:

Уж ты, матушка Угрюм-река,
Государыня, мать свирепая,
Что про тебя-то идет слава добрая,
У тебя бережки посеребренны,
Крыты берега скатным жемчугом,
У тя донышко позолочено...

КРАЛЯ

Впервые об этом рассказе Вяч. Шишков упоминает в письме к А. М. Горькому из Томска от 30 декабря 1911 года, когда просит Горького просмотреть рассказ «Авдокея Ивановна». Это был, видимо, первоначальный вариант рассказа «Краля», опубликованного в журнале «Заветы» (1913, № 2) и входившего позднее под этим названием во многие сборники произведений писателя.

ЧУЙСКИЕ БЫЛИ

Материал для этой серии мелких рассказов, впервые опубликованных в «Ежемесячном журнале» (1914, № 2), был собран Вяч. Шишковым на Алтае в 1913—1914 гг. «С весны 1913 года я стал заведовать Чуйской партией... Партия была разбита на два отряда, по тридцать человек в каждом, и работала рабочие периоды 1913 и 14 гг. Мне все время приходилось поддерживать связь между отрядами, передвигаться по убийственным кручам верхом. Алтай поражает своей строгой величественной красотой. Увенчанные вечными снегами Чуйские Альпы и река Катунь — незабываемы; или Чуйская степь, где горы, отодвинутые от вас на полсотни верст, кажутся стоящими рядом с вами — до того чист, прозрачен воздух», — вспоминал писатель после революции. Но основная тема «Чуйских былей», как и путевых заметок «По Чуйскому тракту», — разоблачение хищничества купцов, торгашей, вторгшихся в эти края, использующих все средства, часто преступные, для наживы и обогащения.

ВАНЬКА ХЛЮСТ

Впервые опубликован в «Ежемесячном журнале» (1914, № 10). Позднее Вяч. Шишков так объяснит свое обращение к героям, подобным «праведному убийце», горемыке Ваньке Хлюсту: «Я видел всяческую жизнь, но судьба дала мне больше всего присмотреться к жизни простых людей. Я жил бок о бок с этими людьми, нередко ел из одного котла и спал под одной палаткой с ними. Перед моими глазами прошли многие сотни людей, — прошли не торопливо, не в случайных мимолетных встречах, а нередко в условиях, когда можно читать душу постороннего, как книгу» («Автобиография»). «Реальный» Ванька Хлюст был встречен писателем на пароходе, плывшем по Оби: это был нищий, кудрявый парень, у которого рука была замотана веревкой и вертелась в локтевом суставе на жилах... «Он зашел и в рубку первого класса, — вспоминал Вяч. Шишков. — Я заинтересовался им, он рассказал мне свою жизнь» (Из письма Вяч. Шишкова П. С. Богословскому от 17 марта 1926 года. — В кн.: В. Я. Шишков. Неопубликованные произведения. Воспоминания о В. Я. Шишкове. Письма. Л., 1956, с. 265).

КОЛДОВСКОЙ ЦВЕТOK

Уже первое опубликованное произведение Вяч. Шишкова — сказка «Кедр» (1908) — свидетельствовало о том, что ему близок был язык символов, аллегорий. В одной из рецензий на рассказ «Колдовский цветок», опубликованной в журнале «Отечество» (1915, № 8), отмечалась эта сторона таланта Вяч. Шишкова: «Красив образ отца... затосковавшего по чудесному, бросившего семью и погибшего в поисках колдовского цветка, с которым можно и под водой пройти и по небушку порхать» (Современный мир, 1917, № 2—3).

Вяч Шишков и позднее не раз защищал свое право рисовать полуфантастические события, душевные влечения в жизни героев, которые «вырастали из этой полусказочной чаши Сибири» (Коган Л. Р. Из воспоминаний о В. Я. Шишкове. — В кн.: В. Я. Шишков. Неопубликованные произведения. Воспоминания о

В. Я. Шишкове. Письма.). Он призывал видеть «колдовской цвет» в изменчивом облике «угрюм-реки»: «Угрюм-река не просто река,— нет такой. Угрюм-река — это жизнь» (см. в указ. изд. письма П. С. Богословскому, А. М. Горькому, март—апрель 1926 года).

ТА СТОРОНА, ЗОЛОТАЯ БЕДА, ЦАРСКАЯ ПТИЦА

Эти рассказы 1917—1923 гг. объединены общей темой несправедливого, угнетенного положения национальных меньшинств Сибири в условиях разгула стихийной стихии. Друг Вяч. Шишкова писатель Вл. Бахметьев писал о гуманистическом смысле заступничества автора «Чуйских былей», «Страшого кама», «Золотой беды» за «наивных детей природы»: «Читаешь о всех этих Борисках, Конго, Юсупах, Гнусках, Харлашках, Гирманчах и видишь, сколь безобразна русская жизнь: сверху донизу надо лопатами очищать ее, и веришь, что сделает это не кто иной, как тот самый жестокий и ласковый народ, который, подобно Оглашенному («Суд скорый»), из судьи унетаемых превратится в судью над угнетателями» (Сибирская жизнь, 1917, № 4).

Следует отметить глубокий интерес Вяч. Шишкова-художника к этнографии, к красочной и таинственной стороне быта, обычаев. «Рабочий период 1910 года я заведовал партией по исследованию р. Бия на Алтае, от истоков ее из Телецкого озера (Алтынкуль) до устья. Работа была чрезвычайно опасная — Бия бушевала в своих многочисленных порогах, но весь риск окупился впечатлениями: познакомился с бытом кержаков — староверов, теленгитов, калмыков, с культом шаманизма: шаманы (камы) во время моления в глухих горных ущельях приносили кровавые жертвы подземному богу Эрлику, жертвенной лошади привязывали к каждой ноге по аркану, и четыре группы алтайцев, вцепившись за концы арканов, раздирали ее живьем. Кам ударом ножа извлекал жертвенную кровь из ее живого сердца. Визг лошади, оранье толпы, громовой грохот аршинного бубна, игра ночных костров во тьме. Интересен национальный теленгитский праздник, где состязались три дня — три ночи народные певцы и сказители былины (рапсода)... — писал Шишков в 1928 году. И добавлял: — Мне удалось присутствовать (в 1913—1914 гг.) на калмыцком празднике «Той», и я перенесся во времена Тамерлана. Борьба, конские состязания, а к вечеру при мерцающих звездах, на берегу озера запылали костры, в невиданных котлах варились чуть ли не по целой лошади, голые по пояс калмыки огромными жердинами ворошили в котлах хлебово, время от времени ошарашивая этими жердями спящих тут же многочисленных собак» («Автобиография»).

ЖУРАВЛИ

Рассказ «Журавли» опубликован впервые в «Красном журнале для всех» (1924, № 1).

Рассказ создан на основе наблюдений над противоречиями деревни нэповской, причудливо сочетающей старое и ростки нового. В книге очерков «С котомкой» (появившейся в 1922 году после посещения ряда деревень Лужского уезда) Вяч Шишков в излюбленном своем духе обозначил это парадоксальное сочетание разнородных явлений в деревенском быту. «О совхозах. — Начинали строить. — Умный дурак. — Масляные фокусы. — Как он любит. —

Пьяная взятка.— Самогон» — таковы подзаголовки глав, фиксирующие все оттенки событий, бытовых драм и неурядиц.

В очерках «С котомкой», как и в рассказе «Журавли», Вяч. Шишков с особым вниманием исследует взаимоотношения поколений, подчеркивает важную роль крестьянской молодежи в деле преобразования деревни: «...как будто начинает въедаться в жизнь свежая струя... мужичья молодежь, потрепанная в вихре революции по широкому лицу России. У них и взгляд шире — народ бывалый, и к старому укладу отвращение, у них воля и тяга к новой, красивой жизни» (Шишков В. Я. С котомкой. Очерки. Пг., 1922 г.).

АЛЫЕ СУГРОБЫ

Рассказ впервые опубликован в журнале «Красная новь» (1926, № 10). При создании его Вяч. Шишков вновь опирался на достоверные факты, реальные события, по-своему «интерпретируя» их. «Алые сугробы» — в бытность мою в 1913 году на Чуйском тракте встретил вечером возле нашего изыскательского стада двух оборванцев, сидевших у костра. Оказалось — крестьяне (самоходы), искавшие за горами, в Сойотии, в Урянхайском крае хорошей земли. Земли нашли, теперь возвращаются домой, в свою российскую деревню, чтоб на будущий год скопом переселяться. В пути терпели невероятные лишения — вроде описанных мною», — писал Вяч. Шишков профессору П. С. Богословскому 17 марта 1926 года. (В. Я. Шишков. Неопубликованные произведения. Воспоминания о В. Я. Шишкове. Письма, с. 265).

Рассказ отразил — в своеобразной форме — суровые обстоятельства переселения миллионов крестьян из Центральной России в Сибирь. Переселенческое движение, как свидетельствуют историки, привело к тому, что «за 1896—1906 гг. переселилось 1,1 млн. человек, а за 1906—1914 — 3,0 млн., или в 2,7 раза больше... В 1907 г. среди крестьян центральных губерний страны было распространено 6,5 млн. экземпляров брошюр и листовок с призывами переселяться в азиатскую часть России» (История Сибири, т. 3. Л., Наука, 1968, с. 301, 307).

ТАЕЖНЫЙ ВОЛК

Под названием «Бакланов» впервые опубликован в журнале «Новый мир» (1926, № 1). Затем выходил под названием «Бакланов — таежный волк». В 1931 году в книге Вяч. Шишкова «Пурга» (М., Недра) получил название «Таежный волк».

ОТЕЦ МАКАРИЙ, АЛЧНОСТЬ

Первый рассказ под заглавием «Отец Макарий приبلудный поп» появился в журнале «Сибирь» (1926, № 3), второй — в сборнике Вяч. Шишкова «Пурга».

Писатель не раз говорил, что за годы работы в Сибири он многое «сложил в общую копилку памяти». Эти рассказы об уродующей силе стяжательства, о людях, которых в старой Сибири «вознесло золото на верх жизни», созданы одновременно с романом о «гении стяжательства» Прохоре Громе («Угрюм-река»). Приступы скупости купца Раскатилова, смертельный ужас его приказчи-

ка Григория, потерявшего хозяйские деньги, самоубийство мужика Никиты, «прозевавшего» момент присвоения золота, «вещие» сны об удачах и неудачах в деле наживы,— вся душевная жизнь людей в атмосфере стяжательства имеет, как у Прохора Громова, ложные координаты. «Они не совпадали и не могли совпасть с планом реальной действительности. Они, как основа болезни, пересекали вкривь и вкось бредовые сферы душевнобольного», — писал Вяч. Шишков в «Угрюм-реке» о состоянии Прохора Громова в канун самоубийства.

ШУТЕЙНЫЕ РАССКАЗЫ

Вяч. Шишков написал — в первой половине 20-х годов — около 120 юмористических рассказов, публиковавшихся в тогдашних сатирических журналах («Дрезина», «Красная панорама», «Красный ворон», «Смехач», «Бегемот» и др.), выходивших отдельными сборниками с характерными, тоже «шутейными», названиями: «На травку», «Кикимора», «Радиосатана», «Хреновинка», «Бисерная рожа» и др.

Старый деревенский быт — мир скрытых слез, неудач, молитв — на глазах у Вяч. Шишкова, совершавшего в начале 20-х годов длительные пешеходные путешествия по Тверской губернии, ломался, трещал, в нем являлись новые фигуры. История былой деревни — история русского долготерпения — кончалась, и Вяч. Шишков запечатлел множество смешных ситуаций, в которых свершалось это, отнюдь не «шутейное», расставание с прошлым.

«Шутейные рассказы» неоднократно — после первых публикаций в периодических изданиях — переиздавались. Они вошли и в первое прижизненное собрание сочинений Вячеслава Шишкова в десяти томах (ГИЗ, 1927), составив последние четыре тома, и в собрание сочинений в восьми томах (Гослитиздат, 1960).

СОДЕРЖАНИЕ

Виктор Чалмаев. Достоинство рас-
сказа 5

Р а с с к а з ы

Холодный край	22
Краля	33
Чуйские были	53
Ванька Хлюст	71
Колдовской цветок	94
Та сторона	103
Золотая беда	126
Царская птица	136
Журавли	142
Отец Макарий	154
Алые сугробы	161
Таежный волк	193
Алчность	222

Ш у т е й н ы е р а с с к а з ы

«На травку»	234
Экзамен	240
Смерть Тарелкина	246
Спектакль в селе Огрызове	256
Шерлок Холмс — Иван Пузилов	271
Портрет	292
Бабка	296
Развод	300
«Настюха»	306
Усекновение	311
Примечания	315

Вячеслав Яковлевич Шишков

РАССКАЗЫ

Редактор Э. С. Смирнова
Художественный редактор Г. В. Шотина
Технический редактор Л. А. Фирсова
Корректор Т. Б. Лысенко

ИБ № 2564

Отпечатано с готовых матриц. Подп. в печать 12.07.82. Формат 84×108¹/₃₂. Бумага
типогр. № 1. Гарнитура обыкновенная новая. Печать высокая. Усл. печ. л. 16,80.
Усл. кр.-отт. 17.01. Уч.-изд. л. 20,24. Тираж 400 000 экз. (2-ой завод 200 001—
400 000 экз.), Заказ 1228. Цена 1 р. 90 к. Изд. инд. ЛХ-322.

Издательство «Советская Россия» Государственного комитета РСФСР по делам
издательств, полиграфии и книжной торговли, 103012, Москва, проезд Сапу-
нова, 13/15.

Книжная фабрика № 1 Росглавполиграфпрома Государственного комитета
РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли, г. Электро-
сталь Московской области, ул. им. Тевосяна, 25.

ага
80.
1—

нам
пу-

ета
ро-



UNIVERSITY OF TORONTO
B.17.18